

Приокские зори

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



3

07

Приокские зори

ВЫХОДИТ ЧЕТЫРЕ
РАЗА В ГОД

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОСНОВАН В 2005 ГОДУ
2007 — 3(7)

СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Лев Толкалин. Наш одноклассник Юрий Гагарин (повесть).....3

ПОВЕСТЬ

Владимир Милов. Лешка-блаженный. Мухтар.....41

РАССКАЗЫ

Геннадий Маркин. Жили-были старик со старухой.....62

Владимир Сапожников. Прерванный ответ. Медузы. Целовальщики.....68

Ирина Склярова. Теория и практика рыбалки. Победа на Тереке

Бомжик Валька. Любовь — это все!.....73

Лариса Бурцева. Новеллы.....79

Сергей Барткевич. Амазонка. Насос. Винт.....94

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУЛЫ И ОБЛАСТИ

Плавское литобъединение «Светозарник»: Виктор Ревин, Алексей Корнеев,
Николай Невижин, Ирина Федотова, Анна Иконникова, Елена Романова,
Александр Демин, Татьяна Ревина, Виктор Русак, Виктор Кирюхин
(литературная память), Ирина Пархоменко, Валентина Большакова,
Екатерина Абрамычева, Александр Пархоменко.....103

ПОЭЗИЯ

Валерий Савостьянов. *Personalia*.....131

Александр Хадарцев.....143

Алексей Скарёдов.....148

Александр Вишневецкий.....151

У НАС В ГОСТЯХ

Рудольф Артамонов. Бабочка. Любовь женщины и мужчины.....159

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ

Алексей Третьяков. Потомок воевод и землепашцев.....179

ВОЙНА И НАША ПОБЕДА — ВЕЧНАЯ ТЕМА

Лея Мозес. Правда о штрафбате.....183

ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА

Василь Симоненко. Стихи.....186

Левон Абрамян. А ведь было. Горными тропами. Сельский фельдшер.....191

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАМЯТЬ

Владимир Суворов. Воспоминания о поэте. Стихи.....196

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

От редакции: вечные темы в литературном отображении.....207

Всеволод Иванов. Сизиф, сын Эола.....209

Алексей Яшин. Исцеление Сизифа: миражи судьбы.....221

ДОКУМЕНТЫ ЭПОХИ:

ВЛАСТЬ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС И КУЛЬТУРА

Н.И.Бухарин. Ленинизм и проблема культурной революции.....225

О НАС ПИШУТ.....242

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И АВТОРОВ ЖУРНАЛА.....244

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ.....245

Произведения публикуются преимущественно в авторской редакции; мнение «ПЗ» не всегда совпадает с мнением автора. Рукописи принимаются отпечатанными с приложением файла на дискете и публикуются с фотографиями авторов. Редакция присланные материалы не рецензирует, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее одного авторского листа не возвращаются. Требования к рукописям — см. на 4-й стр. обложки. Гонорары авторам и авторские экземпляры не предусмотрены

Вниманию читателей: журнал распространяется преимущественно в библиотечной сети.

Адрес: 300026, Тула, а/я 1842, А. А. Яшину; e-mail: niinmt@mednet.com

Главный редактор Алексей ЯШИН

Редколлегия:

Вячеслав БОТЬ
Виктор ГРЕКОВ (Белев)
Валентин КИРЕЕВ (Новомосковск)
Олег КОЧЕТКОВ (Коломна)
Валерий МАСЛОВ — координатор межрегиональных связей
Николай МИНАКОВ — зам. главного редактора (публицистика)
Ирина ПАРХОМЕНКО (Плавск)
Наталья ПАРЫГИНА
Виктор ПАХОМОВ — первый зам. главного редактора
Валерий САВОСТЬЯНОВ — зам. главного редактора (поэзия)
Владимир САПОЖНИКОВ
Константин СТРУКОВ — отв. секретарь
Александр ХАДАРЦЕВ
Леонид ХАНБЕКОВ (Москва), вице-президент Академии российской литературы
Наталья ХАНИНА

Технический редактор Марина БАЛАНЮК

Учредители:

Редколлегия журнала «Приокские зори»
Тульская писательская организация Союза писателей России
Тульский государственный университет

© «Приокские зори», 2007

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Лев Толкалин

НАШ ОДНОКЛАСНИК ЮРИЙ ГАГАРИН

(повесть, журнальный вариант)



***От автора*:** Небольшая повесть об эпизодах юности первого космонавта планеты — Гагарина Юрия Алексеевича, немного о себе и о том времени. Автору посчастливилось учиться с Юрой в школе, в одном классе, сидеть за одной партой, дружить и участвовать во многих проделках.*

Из жизни постепенно уходят его одноклассники, а с ними, и живая память о нем. Подрастает новая молодежь, смещаются ценности. Думаю, не помешает и этой молодежи немного больше знать о юном Юре Гагарине и о том времени. Повесть — не хроника, но в ее основе лежат реальные события, происходившие с участием юного Юры, одноклассников и автора.

Автор — не профессиональный писатель, а только одноклассник и старый человек другой эпохи. Он просит простить его за стиль, хронологические и фактические неточности и некоторые свои, субъективные оценки, которые невзначай и проскальзывают во второстепенном тексте. Их можно не читать, или относиться к ним критически.

Белорусский вокзал

Генка ездит быстро. Широкое бетонное шоссе на Москву еще в приличном состоянии, хотя местами изрядно побито и залатано. Шум мотора и дороги убаюкивает. Поначалу говорим, потом засыпаю.

— Приехали, пап! — трясет сын за плечо.

Старые кости занемели. С трудом вылезая из машины и вижу Белорусский вокзал.

— Быстро доехали!

— Да ты храпел всю дорогу, как сурок.

На улице уже достаточно тепло. Вовсю светит солнце. Через толпу пробираемся к расписанию. Электричка идет только в два часа сорок. Время еще есть. Покупаем

* Лев Николаевич Толкалин много лет проработал в оборонной промышленности, являлся заместителем директора НИИ. Сейчас руководит кафедрой радиоэлектроники Тульского госуниверситета, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (Прим. ред.).

билет, и я отпускаю Геннадия по его производственным делам. До отхода еще час. Решаю пока посидеть в зале и вспомнить прошлое.

Да, здесь, на этом вокзале, как-то встретили Юру Гагарина с его женой Валентиной. Я, со своей Алей, собрался в город Гжатск (теперь город Гагарин) навестить моих стариков. Когда же это было? То ли в 1959, то ли в 1960 году. Но точно до его космического полета. У нас билеты были уже на руках, но до отхода поезда оставалось еще время и мы слонялись по перрону, коротая время.

— Ле-е-в! — кто-то позвал из толпы.

— Вроде бы тебя зовут? — предположила супруга.

— Ле-е-вка, Толкушка, ты-ы или нет?

— Юрка-а! Дружище-е! Ты ли! Вот здорово!.. Не ожидал здесь тебя встретить...

Юра Гагарин стоял с Валею. Молодая, красивая пара! Подошли, обнялись. Представили своих благоверных.

— Валентина, — отрапортовала по-военному Валя.

— Аля.

— Ты что тут? — поинтересовался Юра.

— Да вот собрались домой, наших в Гжатске повидать.

— А мы только оттуда! Едем назад.

— Куда, на Север, опять служить?

— Да нет, до Чкаловской.

— А что ты там забыл.

— Как что? Меня перевели с Севера сюда, под Москву. Теперь здесь служу.

— Вот те на! А как, летаешь?

— Приходится, но не так часто, как раньше.

— А чем занят?

— Осваиваем и испытываем новую технику.

— Новые самолеты?

Юрка помялся. Подумал. Поковырял носком ботинка асфальт. Чувствовалось, что он что-то не договаривает.

— Почти... А ты что делаешь? Вроде бы ты в Туле был?

Лев тоже помялся.

— Да, в Туле, в конструкторском бюро работаю. Радиотехнические системы разрабатываем. Для гражданских и оборонных нужд.

— Может, и для нас что разрабатываете?

— Кое-что делаем для авиации и для... — Лев не договорил

Приятели все поняли. Значит, разрабатывают и испытывают такие системы, о которых в то время нельзя было говорить открыто. В те, пятидесятые-шестидесятые годы, грифы «секретно» довольно часто и не всегда обоснованно стояли на многих новых разработках. Вся страна напряженно трудилась. А темпы! Миллионы ученых, инженеров и высококвалифицированных рабочих создавали новые образцы техники, порой удивляя весь мир. Четко, как часы, функционировала вся сеть инфраструктуры: КБ, НИИ и заводы. Предприятия, серийно выпускающие электро- и радиоэлементы; изделия электрики, электроники, вакуумной техники, микроэлектроники, точной механики... Новое делалось под девизом «догнать и перегнать Америку». Где там Западной Европе! Тогда технически мы ее далеко обошли! Сами делали все: отличную радио- и телеаппаратуру, бытовую и военную технику, компьютеры, самолеты, ракеты. Даже наши телевизоры, магнитолы, радиоприемники, холодильники и другую технику вовсю закупали Англия, Германия, Италия, не говоря уже о восточной Европе, Африке, Китае. Да... Когда и почему мы откатились так далеко назад?

Посидев и потолковав, обменялись новыми адресами, телефонами. Потом жены «отрулили» в буфет. А друзья остались сидеть на лавочке. Юра о чем-то думал, меж-

ду делом потирая рукой вспотевшую шею. Левка вытянул ноги и расшнуровал ботинки. Поговорили еще. Вспомнили нашу школу, нашего преподавателя по военному делу и физкультуре Головкина. Это был уже немолодой, но еще крепкий мужчина с военной выправкой. Занимался с учениками военным делом. Учил, как надо обращаться с трехлинейной мосинской винтовкой, автоматом ППШ и пистолетом ТТ. Винтовки и автоматы с просверленными сбоку стволами свободно стояли в маленькой кладовке-каптерке под лестницей. Мальчишки с удовольствием бегали за оружием и с видом бывалых солдат раскладывали его на столах. Изучали устройство и назначение отдельных частей, их взаимодействие при выстреле. Ребята осваивали предмет быстро. Большинство из них имело оружие дома, разбирало его, смазывало, стреляло. Девочки должны были учиться тоже, хотя им удовольствие это не доставляло.

— Стольников, расскажи, как работает затвор винтовки, — требовал Головкин.

— Если потянуть затвор за вот эту штучку-пуговку, он отойдет и зацепится за этот крючочек. Потом надо подать железочку вперед. Тогда вот эта иголочка утоньшится...

— Стольников! В оружии нет никаких штучек и иголочек! «Иголочка» — это боек, а «крючочек» — это курок с шепталом!

Хохот ребят не так чтобы и смущал девчонок, но им было обидно, что с железками у них нелады. Зато шагали они в строю лучше, да и с командами «налее-во», «напраа-во», «фрр-няйсь» у них получалось лучше. В то послевоенное время все понимали, что надо быть готовым «к труду и обороне» уже со школы. Строевой занимались с настоящими винтовками с просверленными стволами.

— На-а-а пле-е-чо! — командовал Головкин, и тяжелые винтовки ложились на плечи парней и плечики девочек.

— К но-о-о-ге! — приклады стучали по земле, как будто рассыпался редкий чугунный горох, а часть его бросили с опозданием.

Девочки выполняли команды четко и изящно. У парней получалось похуже.

— Орешонков! Что ты обращаешься с оружием, как с поленом! Посмотри, как это делает Стольников! Заглядень! Гагарин, выйди и покажи всем, как надо!

Гагарин с винтовкой четко вышел из шеренги, чеканя шаг, подошел к командиру, приподнял оружие, сделал разворот на сто восемьдесят и стукнул прикладом у правого носка ботинка.

— Видели? Теперь выполняй команды.

Гагарин взял «на плечо», поставил «к ноге», выполнил «положить ружья».

К концу занятий уже меньше было опоздавших «горошин», и командир дал команду «разойдись!».

Головкин до войны был чемпионом области по лыжам, поэтому зимой на занятиях физкультуры лыжному спорту уделялось особое внимание.

— Наша школа должна быть спортивной! У вас в классе есть рослые крепкие ребята. Надо, чтобы они занялись лыжным спортом. Приходите после занятий на «круг», посмотрим, кто у вас чего стоит. Ну как, переростки?

Лыжным кругом называлась лыжня за школой в форме эллипса. Общей длиной она была порядка пятисот метров. По ней преподаватель гонял школьников на лыжах. Через несколько кругов становилось ясно, кто чего стоит.

Всем выдали лыжи — старые армейские «доски» — и тяжелые березовые палки. Хороших спортивных лыж было мало, и их выдавали только школьникам-спортсменам.

— А как на этих досках побежишь? — гудел Гагарин.

— Ничего, побежишь, а я посмотрю — как! Пойдешь прилично, дам и приличные лыжи.

Юрка посопел, но ничего не ответил и стал натягивать лыжные ремешки на свои сапоги.

Через полчаса класс был готов к экзекуции. Девчонки надели деревяшки, кто на что. Галка Комиссарова ныла. Ее меховые ботинки вихлялись в креплениях. Аня Круглова одолжила у подруги валенки и стояла улыбаясь. Толкалин все еще прилаживал к креплениям самодельные веревки, чтобы нога не выскочила на ходу. Когда Головкин дал старт, загремели лыжи и палки, и ребята побежали по кругу.

— Так нечестно! Я еще не готов,— скулил Левка.

— Шевелиться было надо! Ладно, зачту тебе круг. Валяй со второго,— согласился физрук.

После первого круга образовалась длинная цепочка. Послышалось кряхтение и сопение. Уже через минуту Юрка обогнал всех и шел первым. Невдалеке от него бежал спортивный Василий Левашов.

— Лев, давай за мной! — прокричал лидер.

Тот кинулся было за Гагариным, но замешкался, и его нагнал Василий Левашов.

— Хоп! — заорал он, как заправский лыжник.

— Чаво? — удивился Толкушка, пытаясь встать в колею.

— Хоп! Хоп! — зло повторил Леваш, требуя освободить лыжню.

Левка ничего не понял и стал старательно работать палками. Его лыжи вихлялись, то и дело выскакивая из лыжни. Широленные отцовские штанины развевались на ветру, а палки без колец проваливались в снег. Василий было попытался вразумить непутевого лыжника, но из этого ничего не получилось, и он начал обгонять его справа по насту. При этом зацепил Левкину штанину палкой. Раздался треск рвущейся ткани. На беду палка запуталась, и ее попытались выдернуть. Владелец штанов хрипло выдал «пару ласковых», но сразу прикусил язык: в тот же миг у него лопнул самодельный поясной ремешок. Штаны начали спадать на ноги и, вскоре, соскочили до самого снега. Левка запутался и упал. Следовавшие за ним Валентин Петров, Слава Нижник, Женя Васильев не удержались и устроили «кучу мала». В довершение всего на них наехала рослая Рая Стольникова.

— У-у-у! — вопил придавленный к снегу лыжник.— Задавили гады! Слезайте с меня, дышать уже не чем!

До следующего круга куча кое-как разобралась. Гагарин делал третий круг, когда пострадавшие привели себя в порядок и смогли продолжить бег. Левка без энтузиазма тащился по лыжне, придерживая рваную штанину, и все гудел и гудел в полголо-са, вспоминая всех чертей.

После пятого круга Головкин дал отмашку и собрал всех лыжников на разборку. Ребята сняли лыжи и стояли построившись. Физрук прохаживался у шеренги, посмеиваясь.

— Ну вот, все стало ясно! Из Гагарина, со временем, получится хороший лыжник. Ему я, так и быть, дам приличные спортивные лыжи. Пусть тренируется. Слышишь, Гагарин, чтоб три раза в неделю по двадцать кругов. Левашов, Петров и Васильев неплохо себя показали. У Виноградова и Нижника есть потенциал. Могут начинать работать над собой, но на своих домашних лыжах. Стольников — молодец, Толкалина не задавила, помиловала.

Шеренга зашевелилась и засмеялась, а Левка засмутился.

— Не красней, Толкалин. Ты тоже упорный. Продолжил соревнования с драной штаниной. Стольников, помоги зашить пострадавшему штаны, а то у него, чего доброго, из дыры что-нибудь вылетит.

Шеренга снова заулюлюкала, а пострадавший поплелся с Раей домой зашивать штанину. Благо, она жила рядом. А по дороге все что-то бурчал себе под нос...

Железная дорога

Шел, вероятно, 1947 год. После базовой четырехлетки попали вместе с Гагариным в пятый класс единственной в городе средней школы. Было еще тепло, а учителя нас пока не загрузили как следует. В классе мальчишки щеголяли перед девочками. На перемене, от нечего делать, Славка Нижник стучал по дверце печки дровяным поленом и пел старые «блатные» песни про пиратов, юношу Гарри и поножовщину.

— Спел бы лучше про Москву,— попросила Афанасенкова.

— А ты была в Москве?

— Нет.

— А что тогда петь.

— По случаю, стали выяснять, кто был в Москве и что там видел. Оказалось, что сообразительный и шустрый Нижник не раз ездил в Москву и видел, что такое метро, троллейбус и зоопарк.

— Эх, покататься бы в метро! — мечтательно пробубнил Толкалин.

Класс поутих и перестал дурачиться. В Москве почти никто еще не был. Представляли ее по фото и картинкам в разных журналах и книжках.

— Да уж,— поддержал Володя Попов,— а где же взять денежек на путешествие?

— Сколько стоит билет до Москвы? — спросил Гагарин у Славки.

— А я почему знаю.

— Как не знаешь?

— Да так, я езжу бесплатно, на крыше!

Одноклассники удивились и стали расспрашивать Славку. Юра задумчиво помял свой нос.

— Чего мнешь «шнобель»,— разозлился Нижник.— Поехали, сам увидишь!

После уроков Гагарин подошел к Левке.

— Не врет Славка, что на крыше до Москвы доезжает?

— Не, не врет. Его мама рассказывала, что они с его братом Адиком ездят к родственникам в Москву.

— Во! Может, попробуем махнуть?

— Можно, только у Славки надо поподробней узнать, что да как.

После уроков пошли к Нижникам. Парня нашли в огороде за домом. Он кормил свою козу свекольной ботвой. Коза мекала, а Славка ее передразнивал.

— «М-е-е-е». Можешь ты еще что-нибудь сказать, например, мя-а-у.

Прятели расхохотались, а Славка обиделся.

— Чего ржете? Я сам читал, что козу можно научить мяукать.

— Ладно, поучи свою козу мяукать позже, а нам скажи, как можно добраться до Москвы. Денег на билет все равно ни у меня, ни у Левки нет.

Славка немного подумал. Потом потащил друзей к большой поленице. Наколотые для печки дрова были аккуратно сложены в штабеля.

— Я вам, а вы мне! Тут живет злющая бабка Степанида. Чуть что, порет меня ремнем или крапивой.

— А за что? — поинтересовался Юра.

— Как за что? Да у нее шесть деревьев слив, четыре вишни, да восемь яблонь,— стал таинственно перечислять Слава,— так и смотрит, зараза, в три глаза. Возьмешь пару слив — бежит с ремнем или крапивой! Да еще матери жалуется!

— Ну и что? Не воруй!

— Да-а, а яблочка то, хо-о-ца.

— Не тяни, что мы должны делать?

— Помогите насверлить дыр в поленьях.

— Зачем?

— Потом скажу.

Делать нечего — Москва заворожилась.

Хозяин подавал полено, Юра держал его, а Левка сверлил коловоротом десяти-миллиметровые дыры, как приказал Нижник — не насквозь. С продырявленными поленьями Славка куда-то не надолго удалялся. Потом возвращался и, воровато оглядываясь, рассовывал их по боковой поленице, из которой брали дрова на текущую топку печки. Зачем все это мероприятие, он так и не сказал в этот раз.

Насверлив дыры, пошли передохнуть. По пути стали договариваться в субботу «сорваться» с последнего урока и идти на вокзал.

День ушел на подготовку поддельных ключей, которыми можно было открывать двери вагонов. Для этого Толкушка брал стальные трубки и забивал в них треугольный напильник. Затем молотком охаживал их и напильник вынимал. Обратную сторону трубки загибали. Получался вагонный ключ.

Получив самодельные ключи, приятели стали договариваться, как надуть родителей. Юра и Славка сказали, что идут к Левке делать гербарий для школы. Много работы, будут работать всю ночь напролет. Там и заночуют. А тот наврал своим, что идет к Гагариным на выходные с ночевкой. А ночевал он там нередко.

Славка сбежал с уроков пораньше и пропал. Остальные с трудом дождались предпоследнего урока и подались к Нижнику. Он был дома и уписывал за столом картошку с хлебом и зеленым луком, запивая чаем из сахарной свеклы.

— Нате, подкрепитесь, дорога дальняя, — шепотом промычал он.

Подкрепившись, пацаны вышли во двор. Завидев ребят, Славина мама вынесла по стакану козьего молока. Трапеза была уже на исходе, когда в дальней части дома послышались взрывы. Из дома выскочила бабка со здоровой толстой палкой.

— Где этот стервец Славка?! Печку мне взорвал, сукин сын. Ну, я до него доберусь!

Размахивая увесистой палкой Степанида неукротимо приближалась к «сукину сыну». Нижник, завидев оружие древних, порядком трухнул и съехался. Но, когда до Степаниды оставалось метра три, и она уже размахнулась, чтобы взгреть негодяя, к нему вернулось самообладание и прыть. Он перемахнул через довольно высокий забор и был таков.

— А вы что тут болтаетесь?! Приятели? Ну, я вам сейчас покажу, приятели.

Бабка еще раз размахнулась. Юра быстро открыл калитку и вытащил замешкавшегося Левку. Стук палки о забор привел его в чувства. И друзья быстро ретировались, прихватив свои узлы с припасами.

Славку нагнали через минуту.

— Во, говорил, что бабка злющая, как ведьма!

— А что ты там натворил? — поинтересовался Толкалин.

— Как что? Вы сверлили дырки, а я туда черного пороха и пистон накладывал!

— Накла-а-дывал! Тебе, Книжник, наложить самому за это не грех! Зачем бабке печку взорвал?

— Да не могла печка взорваться от пороха! Так, бабку напугало и все. Вот она и завопила.

— Завопила, — недовольно, но уже весело засмеялся Гагарин, — могла и дрыном тебе заехать.

— Да, могла, — согласился Славка, а потом громко подумал, — мы ведь поленьев двадцать заминировали! Опять грохот будет. Да-а-а... Перебор!

Через пятнадцать минут были на вокзале. Подошел товарный поезд, потом, через полчаса, поезд «Смоленск — Москва» с довоенными старомодными вагонами. В каждом вагоне открылось по двери. Начинаясь высадка и посадка. Приятели быстро перебрались на противоположную сторону поезда к закрытым дверям. Пока проводница занималась пассажирами, самодельными ключами открыли двери противоположного тамбура и заскочили вовнутрь.

— В туалет, мигом! — скомандовал опытный Слава.

Тем же способом открыли двери в тесный туалет, забежали и затаились. Через несколько минут поезд тронулся.

— В добрый путь,— прошептал Нижник-Книжник.

А в туалете прилично воняло. Славка полез на унитаз и оттуда дотянулся до ручки вентиляции. Дышать стало легче. Ехали стоя. Садиться на грязную крышку унитаза было неохота. Опытный Книжник стал искать тряпки, а потом нашел швабру и начал уборку помещения. После некоторой разборки, можно было уже сидеть на унитазе, подложив на крышку сухую ветошь, которую предусмотрительный Нижник прихватил с собой из дома. Рядом, в вагоне, топилась печка водогрейной установки, и в туалете было сравнительно тепло. Славка чувствовал себя, как дома, чего нельзя было сказать про приятелей.

— Никогда не думал, что придется ехать в сортире,— бурчал Юра,— пока доедешь, весь говном провоняешь!

— А чего тут плохого? Подумаешь, немного пахнет. Зато писать и какать можно.

— Да писать и какать захотят и пассажиры! Что будем делать?

— Захотят, пойдут в другой вагон. А мы будем имитировать неисправность.

При этом Книжник воткнул самодельный ключ в замок и подкрепил ручку шваброй.

Десяток минут переговаривались вполголоса. Говорили о Москве, куда кто пойдет.

Юра хотел увидеть выставку трофейного оружия, московский зоопарк. Левка мечтал сходить в Политехнический музей, о котором слышал от физика Льва Михайловича.

Слава рассказывал о вкуснейших московском мороженом и квасе. О вагонном сортире как-то стали уже забывать.

А между тем пассажиры действительно захотели в туалет. Кто-то раз-другой подергал за ручку. Туалетные жильцы притихли. Минут через десять началось нашествие. Уже орали:

— Безобразия, вечно туалет не работает. Куда смотрит проводник?

Проводница пришла, начала дергать за ручку и открывать ключом дверь.

— Кажется, сломалась. Пойду к бригадиру.

Славка погладил подбородок.

— Помоему, надо выбирать. Подождем, пока стихнет!

Подождали, прислушиваясь. Вроде бы поутихло. Стали потихоньку открывать дверь. Она скрипнула и отворилась. А в тамбуре стояла модная дамочка с золотыми серьгами в ушах и многочисленными перстнями на пальчиках. Она курила сигарету. Парни вывалились из туалета, когда она поправляла чулки, задрав платье. От неожиданности сигарета выпала изо рта. Глаза испуганно расширились.

— Караул! Грабят!

— Сюда,— ломанулся Славка в соседний вагон.

Приятель добежал почти до конца вагона, когда их увидел бригадир поезда, шедший разбираться с туалетом.

— Куда? Где ваши билеты?

Толкушка перепугался не на шутку и прогнул спину. Гагарин обреченно, но спокойно стоял навывтяжку и молчал.

— Мы к маме, пустите в соседний вагон,— заскулил невысокий Слава, пригнувшись, чтобы казаться еще меньше.

— А чего шлетеесь? А у этих молодцов, где билеты?

— Мы братья, хотим к маме, пропустите,— не сдавался Книжник, желая выручить приятелей.

— Сколько же у вашей мамы братьев?

— Еще два брата и две сестры!

— Что, мама, героиня, что ли? — неуверенно и со смехом спросил бригадир.

— Ну да, — подыграл очнувшийся Левка, тоже приседая на полусогнутых ногах.

— Валяйте, но я проверю! В каком вагоне?

Прятели сразу не нашлись, что ответить. Но тут опять выручил находчивый Нижник.

— Во втором.

Бригадиру было некогда разбираться с пацанами, и он пропустил их и отправился чинить туалет. А парни пробежали еще вагона три и на переходной площадке стали обсуждать, что делать дальше.

— Больше я с таким позором не поеду! — вслух решил Гагарин.

— Прокатишься раз, два, три — привыкнешь, — парировал заводила.

Посоветовавшись, решили, что с бригадиром шутки плохи. Теперь ему дама скажет, как ее «грабили».

— На крышу надо лезть, — задумчиво пробормотал Славка.

— Крыша, так крыша, — согласился Юра.

— Как это на крышу? — с опаской спросил Толкушка.

— Очень просто, заберемся, и будем пережидать, когда все утихнет.

— Свалимся, — снова зашептал «зверь» Лев.

— Не свалимся. Вагон старомодный, и на крыше вентиляционные трубы. За них запросто можно держаться. Я не первый раз. Да и народ так часто ездит.

По прикладной лестнице полезли на крышу. В те времена от Гжатска и до ближнего Подмосковья не было электричек и контактной сети. Вагоны тянул паровоз. Ехать на крыше было можно. Старые вагоны вентилировались через трубы, которые, как и в домах с печным отоплением, торчали на крыше. Мешочники, блатной народ, да и просто бедный люд сидел там, добираясь, кто куда. Проезд с билетами по тем временам стоил дорого. А на остановках любителей такой езды нещадно гоняли. Но те перебежали с крыши на крышу. На ходу же, чтобы избежать несчастных случаев, милиции и бригаде гонять ездоков запрещалось. Этим и пользовались «зайцы».

Первым полез с прибаутками Славка, за ним молча — Гагарин. У Левки дрожали колени, и он судорожно цеплялся сперва за лестницу, потом — за все, что попадалось под руку. На крыше свистел ветер. Споткнувшись, схватил мертвой хваткой чью-то ногу. Нога больно лягнула новичка в живот. Хозяин живота ойкнул.

— Чо, бздишь? — оскалил желтые зубы незнакомый парень. Он жевал что-то, доставая из мешка залежалые продукты. — Садись около трубы, ногами обнимай ее. Вот так. Теперь и спать можно до остановки. Чо, первый раз?

— Первый.

— Главное здесь — не бздеть! Сиди и жуй. Чо у тебя в узле?

Толкушка развязал узел и стал показывать черный хлеб, картошку, лук да молоко в бутылке.

— Дай-ка молочка хлебну, — попросил парень.

Левка достал оббитую и погнутую эмалированную кружку.

— Бери у меня репы. Мозги прочищает, пока жуешь.

— Тот нехотя взял репу и стал молча жевать.

— До самой Москвы? — поинтересовался новый приятель.

— До самой.

— Тогда знакомимся, Федя-Ведя.

— Левка.

— А это твои братки?

— Б-б-ратки.

— А я с паханом разъехался. Брали мы один чапок. Я на стреме стоял. Да менты наехали, пришлось лиять.

Левка поежился. Значит, он уже тоже «братан». Гагарин и Нижник сидели рядом. Разговора за свистом ветра они не слышали. Поодаль, на ржавой крыше, сидели мешочники. В здоровых баулах они везли в Москву на продажу кто что. Сырую картошку, связки лука и чеснока, вареных раков...

За час до Москвы с той стороны, где сидел Слава, на крыше появились двое блатных парней. Они по очереди обирали мешочников. Их интересовали деньги — «капуста». Нижник жестами показал, что надо прятать деньги и засунул единственную десятку в носок. Юрка смотрел в сторону и не видел манипуляций. А между тем блатные подошли к Славке.

— Капуста есть? — рыгая перегаром, спросил рыжий.

— Откуда?.. — ответил тот и вывернул карманы.

— А у тебя? — толкнул Юрку

— Что надо?

— Капуста есть?

— В огороде.

Рыжий насупился.

— Базаришь? По «перу» соскучился?

Между делом извлек из кармана финку и стал вертеть ее в руках. Гагарин, видно знал, что такое «капуста» и «перо» и не на шутку разозлился.

— Давай смеряемся, если хочешь, или лияй отсюда, — ответил Юра и полез в свой узел. В руках у него появился здоровенный и остро отточенный кухонный нож.

— Чаво примотался к братанам? Они пустые, — возник теперь уже Федя-Ведя.

Левка не на шутку перепугался и по инерции полез за пазуху, хотя там ничего не было. Нижник напряженно ждал. Руку держал в кармане. А блатные осмотрелись и, видимо, решили, что перевес не на их стороне.

— Лады, в Москве свидимся, — отступил рыжий, встал во весь рост и морской походкой пошел на другой вагон. Второй, сивый, потрусил за ним. На повороте вагон качнуло, и рыжий рухнул на крышу. Но успел схватиться за трубу. Матерясь, блатные слезли и растворились.

— Все в порядке. Им сейчас не до нас. Набрали «капусты» и теперь нажгутся водки в вагоне-ресторане, — пояснил Нижник.

— Откуда у тебя такой тесак, — удивился Лев.

— Да мама дала ветки и листья резать. Сказала, хорошо наточи. Я и наточил. Мы же с вами «гербарий делаем» для школы. А что касается этих «орлов», то видел я таких. С ними только так и можно разговаривать.

— Ну а если они бы пошли на тебя? — не унимался приятель.

— Так бы просто я им не дался! Да и нож тоже пустил бы в ход. А вы что, отсиживаться бы на крыше стали?

Толкушка поежился. Но подумал, что с перепугу и он тоже стал бы воевать, как смог. Выхода же не было.

...И теперь тут маленький уютный вокзальчик. А по обе стороны от дороги — леса. В лесу раньше было много посадок орешника. Возможно, они есть и сейчас. Сюда-то и ездили осенью ребятишками из города Гжатска за орехами. Собиралась приличная компания: старший и младший братья Юра и Борис Гагарины, Валя Петров, Женя Васильев, Павел Дешин, Лев Толкалин. Обычно накапливались на вокзале. Поезда шли с паровозной тягой. У вокзала стояли водозаборные колонки для паровозов. Сразу у железнодорожного полотна были насыпаны горы каменного угля. По ленточным транспортерам уголь загружали в паровозные тендеры. Котельный шлак из топок ссыпали в специальные ямы. Он догорал и дымился сутками, изда-

вая неприятный серный запах. Станция была большим и сложным паровозным цехом. Здесь останавливались почти все поезда на дозаправку. Мелькали платформы, цистерны, товарные и пассажирские вагоны. Можно было подсесть на подножку любого вагона и спокойно ехать до Батюшкова. Там, на подъеме, поезд снижал скорость или приостанавливался. Тогда ватага соскакивала на насыпь и удалялась в лес за орехами. Набив рюкзаки еще зелеными полуспелыми орехами, на станции опять ждали подходящего момента, чтобы на ходу вскочить на подножку и доехать обратно.

На гжатском вокзале собрались метрах в ста от перрона. Здесь меньше гоняли. Лев сидел на песке на развернутой газете. Гагарины стояли, переминаясь с ноги на ногу. Васильев и Дешин трепались, от нечего делать, на разные темы. Прошел состав открытых платформ, почему-то без остановки. Подождали еще. Поездов, как назло, не было. Отъезд задерживался.

— Поедем на любом! — посоветовал Борис Гагарин.

— Мал еще советовать! — задернул козырек фуражки брату на глаза старший. — А впрочем, другого выхода нет.

Минут через десять показался состав цистерн и остановился на заправку. Паровоз подъехал к колонке и стал заправляться водой. Тем временем Дешин приметил хорошую цистерну с большими переходными площадками с обеих сторон. На противоположной от вокзала стороне стали выжидать, когда состав тронется, чтобы незамеченными вскочить на подножки, а оттуда перебраться на площадку. Ждать пришлось не долго. Машинисты не стали брать уголь. Налили воды и дали гудок. Поезд стал медленно набирать обороты. Пора! Ребята сорвались с места, начали запрыгивать на подножки и перебираться на переднюю переходную площадку большой цистерны. Наконец, все были в сборе. Поезд уже вовсю стучал колесами, а паровоз выдавал из трубы клубы черного дыма. Незаконные пассажиры, бездельничая, глазели по сторонам.

— Смотрите: из здорового крана что-то жидкое капает, — проорал Пашка, заглушая грохот поезда.

— Вода, наверное, — так же громко и вслух предположил Толкалин.

— А на хрена воду в цистернах возить? — усомнился Валентин и принялся. — Вроде бы водкой пахнет?

На площадке валялась длинная обшарпанная палка. Петров примотал на конец палки свой грязный платок, дотянулся до крана и стал смачивать. Потом подтянул платок к носу и понюхал.

— Спирт или водка!

— Дай-ка мне, — взял палку Юра Гагарин и тоже стал нюхать, а потом пожевал краешек платка.

— Не водка, а спирт! Вот это номер!

А спирт, между прочим, прилично подтекал. Это был маленький тонкий ручеек, который дробился во все стороны под порывами встречного ветра.

Стали думать, как набрать и во что — для доброй пробы. Дешин полез в свой рюкзак и достал литровую бутылку с водой. Воду вылил, взял у Вальки палку и стал прилаживать посуду, привязывая ее лоскутом порванной тряпки из своего рюкзака. Но это сделать оказалось непросто. Круглая стеклянная бутылка норовила выскочить, упасть и разбиться.

— Хватит попусту мудрить, — проорал Гагарин старший, — надо лезть под кран.

Нахлобучил поглубже блатную кепку и ползком полез по балкам, к крану, цепляясь за стальные уголки каркаса. Ветер трепал полы старого пиджака и штанины. Наконец удалось пристроиться у крана, усевшись на стальную перекладину и расставив ноги в нижний срез цистерны.

— Возвращайся назад, упадешь! — помахал рукой Борис.

Но тот отмахнулся и поманил к себе Васильева. Васильев все понял и полез к крану тоже. Гагарин показал рукой на стальную лестницу, которая тянулась наверх, к люку цистерны. Женька пристроился к ней и тоже уперся ногами. А под ними грохотали колеса на стыках рельсов, и свистел ветер, поднимая песок и пыль.

— Давайте посуду! — закричал Гагарин.

Ребята только теперь сообразили, какой план реализуют товарищи и стали рыться в рюкзаках. Они были самодельными из небольших мешков. В углы мешков запихивали по луковице или картошке, а потом обвязывали веревками. Получался рюкзак. Для похода брали еду и воду. Борис развязал мешки свой и брата и вытащил оттуда две немецких трофейных фляжки литра по полтора. Одну передал сидящему недалеко Женьке, а тот переправил Гагарину старшему. Юра стал приспособливать одну из фляжек у крана, пока спирт не потек в горловину.

Подъехали к станции Колесники, что в десяти километрах от города. Работа была еще в самом разгаре. На перроне стоял железнодорожник с выцветшим желто-зеленым флажком. Увидев, что целая свора ребят облепила цистерну, стал торопливо менять желто-зеленый флажок на красный и что-то дудеть в свою дудку. Но машинисты уже не заметили подмены, и поезд пошел дальше. А ребята торопились наполнить посуду до следующей станции. Вскоре все было готово. Лить было уже некуда.

— Валь, попробуй спиртик! — кричал Гагарин со своего места. — Может, ненормальный какой.

Петров взял гагаринскую фляжку и налил из нее немного в ржавую стограммовую кружку. Сделал вдох и глотнул. Потом долго морщился и дышал открытым ртом. Запить было нечем, так как всю воду вылили. Через минуту полез в свой рюкзак за соленым огурцом.

— Порядок, во! — показал он большой палец вверх.

— Все что ли, некуда лить?

Стали передавать кружки и стаканы, что были с собой. То, что удалось не расплескать, ставили на швеллер у площадки, который был приварен на уровне глаз.

Гагарин и Васильев слезли и, измазанные грязью и техническим маслом, стояли вместе со всеми. Наполненную посуду хорошо заткнули и уложили в рюкзаки. Потом стали думать, что делать со спиртом в кружках и стаканах.

— Как что? Не выливать же спирт за борт, — удивился Петров. — Я с батарей спирт пил. Ничего, сразу не пьянеешь сильно. Только с утра, когда опохмеляться надо, выпьешь простую воду — и опять бухой!

— Ты что, пьешь? — удивленно спросил Левка.

— Да нет, всего раз довелось, когда батю демобилизовали из армии. Надрался он тогда на радостях до полусмерти. Ну и со мной захотел выпить. Пришлось. С тех пор и помню... Кто еще пробовал?

— Мне приходилось раза два, — припомнил Юра. — Старший брат Валентин как-то приносил с Пречистинского спиртзавода. Решил надо мной подшутить. Ну, я выпил вместо воды спирта немного, закашлялся. А брат гоготал.

Толкушка призадумался. Водку приходилось пробовать. Поддатый отец раз или два наливал с четверть стакана: «Когда ты, сын, наконец, вырастешь?! Выпить бы с тобой как следует, пока жив!»

— На, приятель, пробуй. Надо же когда-то это сделать. Все в России пьют. Только не вдыхай, а наоборот, выдыхай.

Валька подал Левке кружку и кусок огурца.

— Давай, зверь Лев, не подведи!

«Зверь» набрал полные легкие, заткнул нос и глотнул. Рот и горло обожгло как огнем. Сперло дыхание. Левка с ревом срыгнул все назад на свой рюкзак и конвуль-

сивно закашлялся. Женя Васильев стучал ему по спине кулаком. Остальные покатывались со смеху, с трудом держась за поручни. Через минуту «зверь» пришел в себя и попросил хлебушка. Пожевав и отдышавшись, потребовал еще. Как-никак, позорный смех и подтрунивание его разозлили. Налили поменьше. Толкушка чертыхнулся и выпил, морщась и кривя рожу. Гагарин тоже выпил немного. Но при этом отвернулся, чтобы никто не видел его гримас, и пил без лишнего шума. Борька ныл, чтобы дали и ему. Но старший не позволил. Мал еще.

Пора было подъезжать к месту назначения. В головах немного шумело от выпитого спирта. По шумной жестикуляции можно было предположить, что «дети» податые. Но немного, до того момента, когда наступает веселость и небольшой подъем настроения. Хотя и выпили всего граммов по пятьдесят, в кружках и стаканах еще было полно жидкости. Но пить уже не хотелось. Да и до любителей выпить команда еще не доросла и не созрела.

— Выливайте это зелье,— подал команду Юра.— Спирт домой мы набрали. Угостим отцов, у кого они есть. Да и в хозяйстве пригодится, на компрессы, банки.

Оставшийся спирт вылили без сожаления, а посуду попрятали в мешки.

— А как же цистерна? Спирт-то выльется! — спросил Борька у брата.

— Ни черта не выльется. В цистерне тонн пятьдесят. Что там капельки из крана! А вообще надо бы посмотреть. Наверняка проводник из Колесников дозвонился и сообщил, что на цистерне непорядок. Отремонтируют, если надо.

Между тем поезд стал притормаживать, а потом совсем сбавил скорость. Ребята соскочили и, прячась за придорожными кустами, подались к перрону. Поезд уже стоял, когда они поравнялись со своей цистерной. Возле нее копались мазаные, как трубочисты, машинисты с паровоза и дежурный с флажками.

— Во, уже ремонтируют. Быстро отреагировали! — удивился Левка.

Гагарин присмотрелся. Машинисты подставляли под кран котелки, а дежурный с флажками стоял с пустой полуторалитровой бутылкой и ждал.

— Да-а, точно, ремонтируют. Сейчас они так наремонтируются, что состав до Москвы не доведут,— пошутил Юра.

Праздник в городе

С утра под домом гудит базар. Разбудит без будильника. Подкрепившись, иду к зданию администрации. Оно на другой стороне реки. Прохожу площадь. Вот слева памятник юному Гагарину. Справа — Казанская церковь петровских времен. Уже при Петре Первом здесь была небольшая церквушка и сюда ходили прихожане. Потом до 1743 года ее перестраивали и достраивали. С 1888 года здесь стоял целый церковный комплекс с колокольной, звонницей и приходской. После революции 1917 г. в приходской стояла городская электростанция, а церковь не функционировала, но все здания были целы. Колокольню взорвали в Великую Отечественную. Не любили колоколен ни наши, ни немцы, если на них сидели корректировщики огня. Теперь осталась только часть от большого собора: памятник архитектуры 1743 года.

На площади пару домов дореволюционной постройки. Все, что до конца не спалили и не взорвали фашисты. Чтобы попасть на место сбора, надо идти по улице Ленина через мост. До революции это была улица Мостовая, застроенная без зазора добротными кирпичными купеческими домами. Они стояли и после революции. А в 1943-м здесь громоздились полуразрушенные стены без перекрытий с пустыми глазницами окон. Восстановить удалось лишь несколько домов. Развалины постепенно снесли. Все не на что было восстанавливать. Трудные были времена!

У реки справа, на месте большого треугольного дома разбили скверик. Тот, где школьником сажал молодые деревца Юра Гагарин, а потом юношей ходил на свидан

ния. Теперь деревья разрослись. Вот они, те, гагаринские! С удовольствием отмечаю, что скверик поддерживается в хорошем состоянии. Деревья подстрижены, асфальтовые дорожки подметены.

Вспоминаю, как с Вовкой Поповым («Попом») решили проследить за Юрой. Был вечер, а мы шли, спотыкаясь о камни разбитой бульжной мостовой, когда Поп резко «притормозил».

— Гляди, Юрка с Аидой Лукиной!

Пара неторопливо прогуливалась по скверику и вполголоса разговаривала. Вовка засопел, присел за кустик и потянул Левку.

— Ты чего? — возмутился Толкушка.

— Давай посмотрим, что будет, — шепотом и таинственно предложил Поп.

— Нехорошо подсматривать, — начал было вполголоса Лев, но Вовка закрыл ему рот ладонью.

— Тсс. Мы только немножко! Интересно же.

Левка хотел что-то ответить, но тут парочка присела на скамеечку, и Гагарин обнял Аиду, а та прижалась к его щеке. Кавалер же опустил руку на талию.

У Попа пропал дар речи, и он замер в позе статуи с острова Пасхи. Вовка был не равнодушен к девушке и тайно надеялся на взаимность, а этот эпизод был для него как нож в сердце. Пытаясь что-то проговорить, он побелел и, как рыба на берегу, глотал ртом воздух. Из оцепенения вывел Юркин голос и веселый смех Аиды. Парочка громко и весело хохотала.

— Выходите из кустов, шпионы!

Вовка поднялся во весь рост и стал топтаться на месте, не зная, что делать. Стало действительно неудобно, особенно перед девушкой. Но тут снова выручил Юрка.

— Мы вас давно заметили и решили подшутить. Подходите ближе, обсудим одно, нужное для школы дело.

Приятели понуро поплелись на разговор. Левка двинул Попа кулаком под бок, а тот лягнул его ногой. А разговаривать было о чем. В классе надо было организовать стенгазету. Гагарин предложил в редколлегию себя, Аиду, Левку и Володю Попова. Юра был неплохим организатором, Толкушка рисовал, а Поп здорово выполнял столярные работы. Аида красиво писала и оформляла заметки.

На другой день собрались после уроков. Володька притащил фанеру и дранки и стал набивать их на прямоугольный кусок фанеры. Верхнее окно, обрамленное дранками, предназначалась для заголовка. Левая и правая стороны — для портретов Ленина и Сталина. Ниже шли шесть колонок для заметок. Две левых — для классной жизни, две средних — для заметок о выдающихся ученых и писателей, одна правая — для критики двоечников и разгильдяев. Последняя — для самодельных кроссвордов, шарад и задач.

Заголовки придумали быстро. «Луч», «Прожектор». Мыслилось, что если будет много написано об ученых, то это будет «луч», освещающий науку или литературу. Если много критики, то это «прожектор», высвечивающий двоечников и разгильдяев.

Материал нашелся сразу. Только Орешонков только что получил пару по математике. Толкалин изобразил его сидящим за столом в форме двойки. Колька Ерофеев и Пашка Дешин подрались в классе. Они были изображены в виде бомжей, таскающих друг друга за длинные волосы.

Был и еще достойный эпизод: Левка уснул на уроке литературы. Это заметили, когда раздался богатырский храп.

— Как будешь себя изображать? — ехидненько спросил Гагарин.

Приятель долго вертелся и говорил, что себя нарисовать не сможет, не сумеет, не умеет...

— Не хорошо, как других рисовать, то можешь, а как себя — то нет!?

— Рисуй,— со смехом поддержал Поп.

Пока редколлегия препиралась, Юрий без шума удалился с акварельными красками и листом бумаги и через минут десять вернулся. Давясь от смеха, бросил на стол рисунок. Аляписто, но смешно акварелью был нарисован лохматый пацан с волосатыми руками и косматой головой на столе. Из рта надувался пузырь с надписью: «Х-р-р». Под рисунком стоял вопрос: «Угадайте, кто это?»

— Совсем не похож,— пробубнил Левка.

Поп и Аида покатались со смеху, и Вовка тут же вклеил рисунок в колонку. Но Толкушка пригрозил, что рисунок все равно выкинет, а из редколлегии выйдет.

— Ты еще и критику не любишь? — удивилась Аида.— А я была о тебе лучшего мнения!

Реплика девочки немного уразумила Толкалина, но он затаил обиду и стал тайно организовывать группировку из раскритикованных двоечников и разгильдяев.

Газету прибили на стену. С утра у нее уже толпились ученики. Гоготали до упаду, показывая пальцами на Левку, Толю Ореха и Ерофея с Пашкой. Группировка делала вид, что ничего не случилось, что они тут ни при чем, не похожи. Хотя делать было нечего, приходилось кисло улыбаться.

После уроков обиженные критикой собрались во дворе и стали думать, что делать.

— Снять надо газету и разломать,— предложил Орех.

— Нельзя ломать, мы же ее сами делали,— возразил Левка.

— Тогда надо снять и спрятать, будут знать, как пасквили лепить! — настоял Ерофей.

Идея всем понравилась. Стали думать, как снять стенгазету. Школа на ночь закрывалась на замок.

— Залезем через окно,— решили заговорщики.

Собрались, когда стемнело. Ерофей прихватил из дома стамеску и стал ею приподнимать внешнюю раму. Она оказалась незакрытой и со скрипом отворилась. Внутренняя рама была без нижнего стекла, и отворить ее не составило труда. Заговорщики, подсаживая друг друга, быстро залезли в класс. Живо сняли газету и с нею ретировались во двор. Последним лез Толкушка. Он был не из ловких; зацепился широкой штаниной за гвоздь на подоконнике и оторвал кусок брючины, которая успешно зависла на гвозде. На беду воров их унюхала очень старая дворовая собака и решила немного развлечься. С глухим хриплым лаем она бросилась на члена редколлегии, хватая его за каблук старых ботинок. Левка шел последним и держал стенгазету сзади. Руки были заняты, поэтому он отбивался ногами, что еще больше раззадорило пса, который уже подбирался к щиколоткам.

— Бобик! Шарик! Черныш! Рыжик! — пытался угадать кличку Лев.

Последняя, вероятно, понравилась псу и он отстал. Старость — не молодость. А парни, спотыкаясь потащили газету с школьного двора и стали думать, куда ее деть.

— Засунем деревяшку за дрова,— посоветовал Ерофей.

Так и сделали. У школьного двора была сложена большая поленница для топki печей. Ребята засунули туда стенную печать и подались по домам.

С утра в класс начали собираться ученики. Первым пропажу заметил Слава Нижник.

— А газета-то, тю-тю!

— Как тю-тю? — не понял Гагарин.

— А вот так, и окно открыто. Сперли!

Юра подошел к открытому окну и потрогал рамы.

— Может, вчера закрыть забыли?

— Ни фиги, техничка всегда проверяет.

Ребята столпились у подоконника.

— Во, кто-то штаны разодрал! — заметил Валентин Петров.

Гагарин снял ткань и стал рассматривать. А в это время в класс вошел Толкач. Юра подумал, почесал в затылке и посмотрел на Левкины штаны. А штаны внизу были неумело, через край заштопаны. Все тоже посмотрели на злополучные порточины.

— Иди-ка сюда, — приказал Гагарин и стал сравнивать ткани на Левкиных штанах и лоскуте. — Понятно...

Началось расследование. «Пинкертоны» строили разные версии о том, как и кто мог упереть стенгазету.

— Левка не мог утащить один, — предположил Юра. — Кого мы пропесочили в газете? Так, Толкалин, Орешонков, Дешин и Ерофеев. Идите-ка сюда, молодцы. Как же вы обложились? Улики оставили. Воровать не умеете и не беритесь!

Воры молчали. Только Ерофей пытался отвести от себя подозрение.

— Не-е, это не я.

Левка молчал. Улики были налицо.

— Где стенгазета? — спросил у Толкача Гагарин, смотря ему прямо в глаза.

Тот уставился в пол.

— Где газета? — начали пытаться остальных. Но те тоже молчали, как партизаны.

— Вот что, чтоб сегодня вечером газета висела на месте!

На другой день газеты опять не было. Юра собрал активистов и мошенников.

— Что будем с ними делать?

— Надрать жулью уши, — предложил Женья Васильев, — а газету сделать другую, с висячим замком!

— Пожаловаться классному руководителю, — дала совет Стольников.

— Да нет, жаловаться на них учителям нехорошо, все же товарищи, — ответил Гагарин.

Между тем прозвенел звонок, и начались занятия. В класс вошел Марьяхин и удивился.

— А где же стенгазета?

— Решили подремонтировать, — соврал Юра, — одна дранка отвалилась.

— Не затягивайте с ремонтом. Завтра завуч придет посмотреть ваше творчество.

После уроков Гагарин снова собрал воров.

— Вы слышали Натана Вульфовича? Завтра придет завуч.

Компания молчала, но не хотела отступать без повода. Ботинок Гагарина начал стучать по полу. Явный признак раздражения и скорой расправы.

— Левку выгнать из редколлегии, если не вернет газету! — с яростью высказалась Аида Лукина. — Подумаешь, художник фиговый! Другого найдем. Пусть хуже, но не вор!

— Выгнать всех из школы, пусть на улице воруют! — нарочито рассвирепел Васильев и стукнул кулаком по столу так, что поехали чернильницы-невылешки и покатались ручки.

Юра чувствовал, что провинившиеся вот-вот сломаются. Ситуация накалилась до предела. Жаловаться учителям, а тем более выгонять товарищей ему не хотелось, и он придумал азиатскую хитрость.

— Вижу, вы стойкий народ. Парни, давайте устроим соревнование, кто кому положит руку. Если я — тут же возвращаю газету на место. Тогда не будет жалоб на вас и наказаний.

— Да-а, вон ты какой бугай, как же я положу твою руку? — засомневался Толкалин. Но было видно, что он уже пошел на переговоры.

— А давайте так: вы в две руки — твоя и Ерофея. А у меня — одна.

Левка обрадовался. Колька Ерофеев был плотным малым и не раз пытался противостоять Юрию. Посовещавшись, они сели по одну сторону стола и сложили две своих ладони. На противоположную сторону сел один Гагарин, аккуратно поставил локоть на стол и расправил ладонь.

— Я буду судить,— вызвался Петров.

Локти были поставлены поближе, три ладони сжаты.

— Старт,— скомандовал Валентин.

Парни закричали, пытаясь положить руку противника на стол. Гагарин напрягся и покраснел от натуги. Вначале казалось, победа будет на стороне жуликов. Две руки начали медленно гнуть одну гагаринскую ладонь. Видя надвигающуюся победу, Левка расслабился, и тогда Юра сделал рывок и сбросил руки противников на стол.

— Победа Гагарина — отрапортовал судья.

Побежденные начали было оспаривать. Ерофей с укоризной взглянул на Левкины руки.

— Ну и слабак же ты, Толкач!

— А сам-то кто?

— Тащите сюда в класс газету, жулики! — крикнула Рая.

Левка и Николай нехотя отправились во двор за поленницу и через пять минут повесили стенгазету на место. В класс заглянули Марьяхин и завуч и подошли к газете. Посмеялись и, кажется, остались довольны. На радостях оставили редколлегию в старом составе, а Левка обещал, что к критике относиться будет терпеливей.

Посмеявшись про себя по поводу стенгазеты, иду дальше. Вот и мост через реку. Современный, на бетонных опорах. Прежний город унаследовал то же имя, что и река. При Петре Первом мост был деревянным и стоял на высоких дубовых сваях, связанных толстыми пеньковыми веревками. До революции построили красивый металлический мост. Он висел на чугунных антресолях, поражая своим изяществом. Ажурная конструкция была взорвана во время войны.

А во времена нашей школьной юности на месте взорванного стального моста саперы спешно построили хлипкий деревянный. В весенний паводок, чтобы не снесло конструкцию, непрерывно рвали толлом метровый лед, что напирал на сваи. Летом же, когда речка мелела, под мостом из реки торчали искореженные металлические конструкции, да древние дубовые пни прежних строений. Но это не мешало ребятишкам здесь купаться, лихо лавируя между остатками свай и железак. Особо смелым ребятам удавалось прыгать с нижних строений моста, но так, чтобы не врезаться в стальную балку или пень. Бесшабашным и безрассудно смелым считался прыжок с боковой, пешеходной части моста. Редко кто осмеливался это сделать. Прыгали только два, почти взрослых парня, которые во время войны были в партизанском отряде. Считалось, что они прошли огни и воды, были смелы и могли идти на самопожертвование. Мальчишки из нашего пятого класса, бывало, тоже купались здесь. Но даже наши переростки прыгать с пешеходной части побаивались, предпочитая другие места на Гжати или реке Олешне.

Был конец мая, а стояла уже жара. После уроков часть ребят пошла к Гагариным. Там, недалеко от дома, было приличное непашаное поле, где нередко играли в футбол улица на улицу или класс на класс. Проходя по мосту, остановились. Внизу, прыгая с торчащих свай, купались мальчишки всех возрастов.

— Эх, искупаться, что ли? — мечтательно проговорил Василий Левашов.

— А что, можно,— поддержал Юра.

Но по мосту передвигалась шайка известного в городе хулигана и заводилы Хромого с улицы Бельской. Это были нахальные ребятишки старше нашего возраста. Имелись там и парни почти совсем взрослые. Кличка Хромой приклеилась к начальнику тогда, когда он сломал ногу, свалившись с чердака, где воровал подвешенный к

потолку элитный турецкий табак. Нога срослась, но еще немного прихрамывала. Шайка по ночам болталась по городу и тащила все, что попадало под руку.

— Чаво, глазеете? — осклабился Хромой, глядя на Гагарина. Он знал, что плотный и спокойный Юрка считался у нас «главным».

— Да так, смотрим, как купаются.

— Слабо прыгнуть с моста?

— Зачем?

— А-а-а, што-о, кишка тонка?

— Шайка загудела.

— Спорим на бутылку, что прыгну! — не унимался Хромой.

— Да мне, как-то это и не надо. И бутылки у меня нет.

— Ага, душонка — в жопу ушла! Небось и ноги подкашиваются. А бутылка-то у твоего тяти, точно есть.

Наши молчали. Соотношение сил наших и Хромого было примерно равно. Поэтому тот не лез задиаться сразу, а только шантажировал. Но Гагарин уже напрягся.

— Валил бы ты по своим делам.

— Ладно, пошли искупаемся,— уже демонстративно миролюбиво предложил Хромой.

— Нет возражений.

По опыту знали, что Хромой коварен, просто так не отвяжется, а будет ждать момента. Все разделись до трусов и полезли в воду. А старшой из банды разделся догола.

— Прикрыл бы пенис,— пристыдил его Юра.— Женщины и дети по мосту ходят.

— А пущай любуются, меня это не колышет. Черный, Халявый, снимайте трусы.

Порезвившись, плохие ребята стали задиаться. От старших из них разило перегаром.

— Шнапс в речке быстро уходит! — доверительно шепелявил Левке Халявый.

Хромой подплыл к Гагарину и стал ухмыляться. Но Юрка вполголоса, кажется, послал его далеко.

— Во-о, теперь по-нашему! — отреагировал тот с хохотом.— Пшли прыгнем с моста. Ты, тощий,— обратился он к Толкачу,— айда с нами. Может, от воды переломишься.

Делать было нечего. Юрка вылез из реки и вместе с Хромым пошел под мост, к основанию. Но банда Хромого не поддержала. Вышла на отмель и стала наблюдать, что будет.

— Хромой, ты чо, охренел? — проорал Черный.

— Щас он себя, придуток, замочит,— сквозь зубы процедил Халявый.

— Ничего, может мозги себе подправит, а то какой-то дурной стал.

А между тем, смельчаки уже карабкались снизу по деревянным конструкциям моста вверх.

— Юрка, давай назад! — наконец вышел из себя Васильев.— Не будь дураком, зачем тебе этот «подвиг».

Но Гагарин только махнул рукой. Вот они уже залезли, стоят на пешеходной дорожке моста и ищут, откуда прыгнуть. Хромой, на удивление, все же застеснялся своего вида и одной рукой стал прикрывать свое обнаженное «хозяйство». Наконец нашли подходящее место для прыжка. Надо было рассчитать прыжок так, чтобы перелететь через балку, торчащую из воды, и попасть на глубокое место.

— Черный, промерь-ка здесь глубину да пощупай ногами дно,— приказал Хромой.

Тот подплыл и пошел ко дну ногами вниз, вытянув вверх руки. Руки скрылись в глубине. Через несколько секунд вынырнул, отфыркиваясь.

— Нормальная глубина,— подтвердил он.— И дно ровное, без хлама.

Хромой примерился несколько раз, разбежался и прыгнул «солдатиком» вниз. Но точно не рассчитал. В прыжке руку пришлось отнять от «хозяйства». Солдатик повернулся животом и прыгун плашмя, брюхом саданулся по поверхности воды. Большие фонтаны брызг полетели из-под ныряльщика во все стороны, а он скрылся под водой. Через пару секунд вынырнул с жутким воем. Голосил так, как будто его резали. На мосту собрались зеваки.

— А-а-а ... твою мать!.. Отбил все!.. Тону!.... Черный!

Семиэтажный мат, который изрыгал старшой, разносился далеко по реке. А ребята, и плохие и хорошие, бросились спасать Хромого. Кое-как вынесли на берег. Тот кашлял, брызгал изо рта водой, соплями и матерился, держа двумя руками свой отбитый об воду «прибор».

— Пусть теперь он попробует! — ревел, показывая на стоящего на мосту Гагарина.

— У-у-у, будь, что будет,— прогудел Гагарин и разбежался.

К воде пошел вниз головой. Перелетел ржавую балку и угодил в то же место, что и Хромой. Вошел в воду удачно. Уже через пару секунд вынырнул без особых проблем. Хромой наблюдал за этим, держа двумя руками свой пенис и еще корчась от боли. Подельники пытались натянуть ему рубашу и портки.

— Теперь ты давай, Тощий! — зло прохрипел начальник, указывая головой на Левку.

Тот помялся немного и поплелся под мост. Не прыгать в такой обстановке было уже не ловко. Но его хватило ненадолго. Забравшись на первый, невысокий ряд стропил под мостом, он выбрал место в речке, где не было свай и железяк и прыгнул оттуда тоже «солдатиком», предварительно повисев на руках, чтобы быть ближе к воде, не перевернуться в воздухе и не шлепнуться пузом. Прыжок получился удачным, хотя и неэффективным. Ныряние «солдатиком» с нижних стропил считалось мало достойным.

— Молодец, Дурила,— то ли с похвалой, то ли с укором сказал Черный, приклеив Тощему новую кликуху.

Левка вылез на берег и увидел, что на него уже не смотрят. Банда была занята Хромым, а наши ребята почти все оделись.

— На черта тебе было прыгать? — спросил у Юрки Женя Васильев. — Разбиться мог!

— Да уже не прыгать было нельзя! Что обо мне подумали бы? Трус. Нет, трусом я никогда не был и не буду.

Толкушка выжал за кустом трусы, натянул на мокрое тело рубашку и штаны, и вся компания пошла играть в футбол.

Оторвавшись от воспоминаний, обнаруживаю, что дошел до здания администрации города. Народ уже толпится у входа: хозяева и гости. Здесь губернатор Смоленской области Прохоров, президент республики Якутии «Саха» — Николаев, московские, смоленские и местные чиновники, космонавты и конструкторы ракет и космических кораблей. Толпа негромко гудит. Кругом операторы телекомпаний с видеокамерами.

Приглашают в зал. Там должна пройти научно-практическая конференция «Город Гагарин, настоящее и будущее». Прохожу в зал, и тоже начинаю снимать камерой.

На трибунах выступают смоленские и московские мужи. Говорят о том, что город ждет значительное развитие. Будут строить, развивать, озеленять, укреплять. Но не очень вериться в этот, декларируемый оптимизм. Сегодня чиновники не те, не послевоенные. Теперешние, по большей части, своих обещаний не держат. Да и по делу не стараются. Больше думают о том, как использовать свое служебное положение в личных целях. Поэтому за последние десять лет здесь мало что изменилось. А

до того в городе первого космонавта велась большая работа. Город был комсомольской ударной стройкой. Работал мощный строительный трест. Сюда из всех советских республик приезжали сотни парней в студенческие строительные отряды. Здесь же обосновался военный строительный батальон. Кипела работа. Возводились дома, заводы. И то, что не успели достроить или не запустили, стоит мертвым грузом по сей день. Конечно, надежда умирает последней. Говорят, сейчас уже что-то делается, да и студенческое движение, хотя и робко, но возрождается.

После торжественного заседания объявляется перерыв. Организаторы предлагают посадить символические деревья недалеко от берега реки. Идем всем скопом на берег и сажаем деревья. Выносят и раздают лопаты. Саженцы и лунки в земле уже приготовлены

— Чего бездельничаешь? — говорит мне летчик-космонавт Афанасьев Виктор. — Бери лопату.

Сажаем молодняк, присыпаем его грунтом и слегка притаптываем. Здесь же работают руководитель полетов центра управления Соловьев Володя, известные космонавты.

— Слушай, Виктор, дай мне автограф на нашей с Юрой фотокарточке, — обращаюсь я к Афанасьеву.

— Давай.

Фотокарточка ему знакома по ранним публикациям. Там мы с Юрой сидим вместе с нашей учительницей — Раевской Ольгой Степановной. Виктор неторопливо пишет внизу на бумаге.

— А кто вас снял?

— Да сами и снимались.

— Что, с автоспуска?

— Да нет, автоспуска тогда не было. Просто привинтили аппарат на треногу, привязали к затвору фотоаппарата ниточку, выставили метраж, взвели затвор, потом расселись и потянули нитку, пока не сработало.

— Изобретатели! Узнаю Гагарина. Да, есть тебе что вспомнить!

Уже через полгода, космонавт Афанасьев полетит на международную космическую станцию — МКС — вместе с обаятельной француженкой из состава французского экипажа. Великие люди — космонавты. Сколько риска, сколько мужества! Какое трудолюбие, упорство!

После разминки с лопатами идем посмотреть весенний паводок. Речка разлилась и выглядит внушительно. Вот в такой разлив везли на барках гжатские купцы хлеб в Петербург, не раз спасая столичных горожан от голода. Летом уровень воды падает, и река становится не судоходной. Сейчас же в городской черте вода стоит лишь до уровня, который обеспечивается плотиной. К счастью, администрация не забывает следить за состоянием плотины. А речка сохраняет свой живописный вид. Да и патриоты города стараются сделать все возможное. Только, к большому сожалению, без Юрия Алексеевича возможностей осталось не так много.

За рекой вдалеке видны церквушки XIX века. Местная епархия не стала брать их на баланс, и там сейчас музейный комплекс: краеведческий музей, художественная галерея, музей первого полета человека в космос.

При содействии объединения имени Хруничева создается новый музей первого полета. По приглашению хозяев гости идут посмотреть первые экспозиции. Музей еще не оформлен полностью, но уже интересно. Со вкусом созданные панно, в зале размещены пульта управления космическим аппаратом, кресло космонавта.

Дальше, по расписанию — открытие памятника маме Ю. А. Гагарина — Анне Тимофеевне. Этот памятник изваян на средства республики Якутии — Саха. Год назад теперь уже бывший президент Якутии — Михаил Николаев проехался по гага-

ринским местам. Ему понравилось. Удивился, почему нет памятника матери, вырастившей такого замечательного и известного всему миру человека. У якутов мать — начало всех начал. Уже через год памятник был готов.

В новом музее выступает директор музейного комплекса — энергичная симпатичная женщина. Говорят речи представители объединения имени Хруничева, космонавты. Хорошо говорит руководитель полетов ЦУПа — космонавт Владимир Соловьев.

Вот уже людской поток вытекает из музея и движется в сторону улицы Гагарина, к старому домику Гагариных в Гжатске. Теперь это музей. Здесь когда-то жила большая семья Гагариных: отец Алексей Иванович, старший брат Валентин, средний — Юра, младший Борис и сестра Зоя.

По пути останавливаемся у прекрасного памятника юному Юре Гагарину. Почтить его своим присутствием, сфотографироваться на память. Я попутно снимаю видеоклипы для будущего любительского фильма для себя, детей и внуков, да тульского регионального телевидения. Идем дальше.

Вот он, домик Гагариных. Неказистый провинциальный дом с огородом, сенями, горницей, печным отоплением и маленькими комнатками. Таких в России — тысячи. Во дворе стоит прикрытый белой тканью предмет. Гости, да и просто зеваки с соседних домов, забили до отказа небольшой дворик. Гремит музыка. Снуют корреспонденты газет, кинооператоры. Выступают губернатор, президент Якутии, космонавты. Мы с Владимиром Соловьевым и его начальником стоим у терраски дома. Пока идет официальная часть, потихоньку толкуем о космонавтике да о российском высшем образовании. Володя преподает в Бауманском и хорошо знает специфику московских вузов. Спрашиваю, как общий фон в отечественной космонавтике.

— Да так, ничего, — отвечает с грустью. — Пока держимся.

— А как правительство? Поддерживает?

— Да на словах поддерживает. А по делу могло бы помогать и лучше.

— А как в Бауманском?

— Может, чуть лучше, чем у вас в провинции. Но в целом, высшее образование везде переживает далеко не лучшие времена.

Снимают белое полотно. Открывается прекрасный, лиричный памятник Анне Тимофеевне. Она, бронзовая, сидит во дворе на лавочке и ждет сына. У ног старый верный пес. Как и было в жизни. Публика на мгновение затихла. К монументу кладут живые цветы. Море цветов! Да, Анна Тимофеевна была великой матерью! Любила она детей. Да и друзей Юры принимала, как своих. Всегда интересовалась, хорошо ли у них, какие проблемы. Бывало подскажет, а если надо — и обласкает. Никто из друзей Юры ни разу не ушел от Гагариных незамеченным или голодным.

Впереди еще было открытие гранильной мастерской, заключительный концерт и закрытие праздника. Уезжал с чувством удовлетворения. О подвиге Юрия Алексеевича еще помнят и в наше нелегкое и противоречивое время! Увозил я и видеоклип о празднике для своих студентов, преподавателей и туляков. Им должно быть интересно. Мало кто из них бывал в городе Гагарине, ходил по музеям.

Юркины грибы

Широкое Минское шоссе — «минка» убаюкивает. Трясу головой, чтобы прогнать сон. Показалась мачта высоковольтной вышки. 173-й километр. Справа — еще сохранившийся березняк. Сколько там было грибов! В грибное время здесь бывал Юра Гагарин. Любил покататься по «минке» на велике. У него был отличный трофейный велосипед с похожей на женскую рамой и удивительно легким ходом. Кое у кого тоже были велосипеды. Больше старые, собранные из разного хлама от всяких немецких, австрийских, итальянских и российских запчастей.

Обычно собирались у Юркиного дома, чаще Василий Левашов, Женя Васильев, Паша Дешин, Левка Толкалин, Слава Нижник. Увязывался и младший брат Юры — Борька. Юрина мама Анна Тимофеевна хлопотала на дворе. Старший брат сидел на коньке крыши и орудовал плотницким топором. На крыльцо вышел заспанный Алексей Иванович — отец семейства. Потянулся, размялся, зевнул.

— Куда собрались, парни?

— Да вот, покататься на «минку».

— Валяйте, только осторожно! Да, кстати, посмотрите там грибов. И засветло чтоб быть дома! День нонче длинный, успеете.

На всех велосипедов не хватало. Борька был полегче, и его сажал на раму Василий. Лучший друг Пашка просился к Юрке. Остальные «безлошадные» надеялись на случай.

Гагарин проверил велосипеды.

— Вась, ты чего это на ободах катаешься? У тебя же новый французский «Диамант».

— Насос кто-то спер. А что?

— Так, ничего. Я щас.

Вынес из сарая автомобильный насос и плоскогубцы и дал команду подкачать шины. Василий Леваш сунул широкий шланг на тонкий ниппель и стал накачивать. Но воздух шел мимо: пши, пши, фюить. Юрка покачал головой и кликнул Левку.

— Лев, помоги Ваське. А то он, похоже, никогда такого насоса не видел.

— На фига мне Толкушка. Сам справлюсь!

Но попыхтев еще немного, Василий сдался. Стало удобней, когда Левка зажал пассатижами шланг, и дела пошли на лад. Подкачали велосипедные шины остальные и тронулись.

Выезжали не спеша через железнодорожный переезд до села Колоколья. Дорога была грунтовой и выбитой «до нельзя» еще немецкими машинами. В сухое время по колдобинам ехать было можно, маневрируя между ямами. Навстречу и по пути, изредка попадались полуторки и телеги. Машины клаксонили растянущимися велосипедистам.

С собой взяли по ведру под грибы. И вся кавалькада, гремя ведрами и улюлюкая, резво передвигалась. Километра два до села Колоколья проходила булыжная мостовая. Это был кусок старой, еще дореволюционной «графской» дороги с большими плакучими березами. Ехать быстро было нельзя, так как сильно трясло на булыжниках и подбрасывало. Пашка Дешин сидел на толстой палке, которую привязали на женскую раму Юркиного велосипеда. Его изрядно мотало и он надоедливо ныл:

— Нельзя ли потише. Всю задницу отбил!

— Потерпи, скоро булыжник кончится.

— Дай лучше я поеду.

Юра усаживался на палку, а Пашка вез. Ездить он толком не умел. Велосипед бросало от края до края дороги. Юрке это надоедало:

— Слушай, с тобой не только задницу отобьешь, но и все остальное.

— Не отобьешь, у тебя они луженые.

— А ты видел?

— Не видел. Борька рассказывал.

— Слезай, хватит! Сейчас я этому Борьке и тебе накостыляю!

Всех трясло от хохота. Дальше ехать было нельзя. Дали перекур. Посидели на травке у обочины. Покалякали о том о сем. Потом снова поехали и через полчаса добирались до шоссе. В народе оно называлось «трасса». Какая это была трасса! Уже к концу войны ее расширяли и ремонтировали пленные немцы. А уж они понимали толк в «автобанах». Основу бетонировали, потом укладывали рубероид, затем — ас-

фальт. Сверху на дорогу набрасывали какого-то мелкого красноватого щебня. По виду — жженная глина или битый кирпич. Под лучами фар шоссе ночью светилось красноватым светом. Были отчетливо видны и дорога, и ее обочины. Это не теперешний черный асфальт: едешь и не знаешь, где ты находишься.

Гоняли по трассе, что было сил, от поворота на Колокольню и до 173-го километра. Движение автомобилей тогда было слабым, и мы никому не мешали. Наездившись до боли в ногах, по обыкновению шли отдохнуть в лес, посмотреть грибов. На 173-й редко, кто ходил. Грибов было много и рядом с Гжатском. Поэтому это место было грибным раем. За час набирали по ведру молоденьких белых. Борис жадничал. Сняв рубаху и завязав рукава, усердно набивал ее грибами. А Васька Левашов кипел:

— Кончай скорыжничать! Не повезу назад, так и знай. Куда я тебя посажу, на шею?

— Да ладно, как-нибудь Юрка поможет.

— Будь-не будь, а пойдешь пешком, — парировал Юра.

Борькину рубашку развязали, старые грибы выбросили, а молодые рассовали по ведрам. Тот поныл еще немного и успокоился. Класть грибы было некуда, поэтому стали лазать по окопам. Окопы немецкие. Вырыты с педантичностью, обустроены. В них частенько находили неоткрытые консервы, эрзац-хлеб. Любопытен этот хлеб. Он в целлофане и герметичной алюминиевой банке. Вскрыл банку, слегка намочил и разогрел на огне. Через десять минут можно есть. Не ахти, но можно, если голоден. Здорово был экипирован немецкий солдат. У каждого ранец, обшитый оленьей шкурой. Там — все: жратва и принадлежности, включая маленькую раскладную алюминиевую печку, в виде игрушечной кровати, и запас таблеток сухого спирта. Пакетик суррогатного кофе в металлической баночке. Хочешь кофе — разложи кровать — печку, на нее поставь котелок. Под печку сунь пару таблеток сухого спирта. Через 5 минут — горячий кофе. Сколько находили таких ранцев в блиндажах и окопах! А лес перерыт начисто. Окопы, колючая проволока, вскрытые банки из-под консервов, вывороченные бревна, стреляные и снаряженные патроны и всякий металлический хлам.

Женька кричит ура: на дне окопа, в грязи, нашел проржавевший ручной пулемет. Торжественно тащит грязную, всю в иле ржавую железяку.

— «Машин гевер» MG, — определяет Юра.

Уж он-то разобрался в трофейном оружии. Еще при немцах настропалился.

— Жень, выкинь его. На него ничего не обменяешь, да и везти далеко. Такого барахла и возле города полно. Был бы «Дегтярев», так сдали б в военкомат и получили благодарность для школы.

— Где нашел? — засуетился Борис.

— Да вон в том окопе.

— Пошли еще посмотрим.

Подшли к обрушившемуся блиндажу. Рядом — здоровенная воронка от авиабомбы. Наполовину заполнена позеленевшей водой. У края запрыгали лягушки. Женька стегал их веткой.

— Наши попали, — оценил Славка Нижник и, выломав жердь, стал шуровать в воронке.

Пашка полез в разрушенный блиндаж. Остальные стали копать поблизости в окопах. Но ничего больше не нашли, кроме погнутой винтовки без затвора да немецкой каски. Отмыли находки в мутной воде. Славка стряхнул воду с каски, примерил ее и стал изображать фашиста, корчав рожи и стреляя языком из палки: «та-та-та».

— Жуть какая тяжелая зараза, эта каска.

— Кончай дурачиться, — отрезал Юрка, — на что она тебе?

— А у нас такая же во дворе, — ответил Слава. — Мы из нее кур поим. Будет две.

Стали обсуждать достоинства и недостатки русской и немецкой касок. Немецкая каска хорошо сохранилась. Толстый стальной литой таз из брони, покрытый не краской, как наша, а зеленой кастрюльной эмалью. Сверху стальные приливы, похожие на маленькие рожки и стилизованные буквы «SS». К «рожкам» немцы крепили маскировочные сетки. И вся эта конструкция была сделана с отменным, как сегодня рекламируют товары, немецкими качеством.

— Эту эсэсовскую каску из нашего автомата «ППШ» не возьмешь, — отметил Юра. — Брат Валентин рассказывал. Только из винтовки или пулемета в лоб.

— А что, нашу возьмешь? — спросил Женька.

— Наша — штамповка. Из любого немецкого оружия пробивается. Так, если в бок попадет, то отприкошетит. Да и от приклада по башке спасет.

— Зато эту немецкую кастрюлю на зимнюю шапку не оденешь.

— Факт! — подтвердил Паша Дешин. — Я пробовал зимой, голова в шапке не влезит.

— Обязательно постреляю в этот гадкий шлем, — решил он. У него на чердаке припрятаны и винтовки, и автомат «ППШ» с диском, полным патроном.

Оружие было у всех. Немецкие и русские винтовки не были в цене. Этого дерьма было вдоволь. Наша длинная трехлинейка с дурацким, допотопным четырехгранным штыком мало кого интересовала. Немецкая винтовка была не лучше. Но к ней придавался удобный нож-тесак. Тесак немцы обычно носили в чехле, на ремне у живота. Тесаком можно было рубить хворост для костра, резать хлеб, открывать консервы, а когда надо — примыкать к стволу. Найденные немецкие винтовки обычно выбрасывали, предварительно вытащив и забросив затвор, а тесаки оставляли дома, для хозяйства. Не пользовались спросом немецкие автоматы «Шмайсеры» и наши «ППШ». Другое дело пистолеты. Были и офицерские «Парабеллумы», и «Вальтеры», и даже маленькие генеральские браунинги. В русских окопах находили наганы и пистолеты «ТТ». Оружием менялись по принципу: махнем не глядя. Обмененное оружие принято было чистить, смазывать и доводить до кондиции. Ржавые стволы оттирали до блеска, а потом воронили примитивным способом, разогревая в смеси льняного масла с углем. На этом частенько и попадались родителям. Они драли за оружие нещадно. Но это мало помогало. Прятали от родителей и милиционеров с одной целью: в нужное время пострелять. Юра, если видел новую систему, обязательно обменивался. Умел заряжать и стрелять из любого исправного образца, а неисправный — ремонтировал. За домом, в огороде, был крытый окоп, где прятались запчасти, патроны, инструменты. Там Юрку частенько и заставал отец Алексей Иванович и, бывало, журил, да так, что тот с полчаса незаметно почесывал свою заднюю часть.

Набегавшись и наговорившись, наконец, отправились домой. Шли тяжело. Кто ехал, кто шел, повесив ведра на руль. Женька все еще нес пулемет пока не одервенеела рука. Потом без сожаления выбросил в придорожную канаву. Каска сидела на Славиной голове. Она уже просохла, побурела и не выглядела так злое. А Славка с засученными рукавами и ведром напоминал отступающего немца. Теперь говорили больше про грибы. Юрка рассказывал, что недавно снял белый с большую сковороду, крепкий и совершенно не червивый! За разговорами часа через два были еще за светлом дома. Пошли к Алексею Ивановичу докладывать. Но его дома не оказалось. Вышла Анна Тимофеевна. Посмотрела на ребят и покачала головой.

— Да вы, грибники, ели ноги волочите! Посидите на крылечке, я сейчас.

— Вынесла всем по краюхе хлеба и кружке молока. Подкрепитесь. Никого не пришлось уговаривать. Причмокивая молоко, Борька гнусаво докладывал матери, как он мог бы принести еще рубашу грибов. Но злодеи у него грибы отобрали и хотели надавать.

— Да будет тебе, — остановила его Анна Тимофеевна, — и так мне с вашими грибами работы до ночи.

Базовая четырехлетка

В 1945 году открыли наконец педагогическое училище. Нужны были профессиональные учителя для городских и сельских школ. Предполагалось, что в педучилище будет свой начальный класс для тренировки будущих преподавателей.

К началу учебного года, кое-как собрали один третий класс. Начались занятия. Ученики сидели за грубо сколоченными и покрашенными столами на «семейных» скамейках. Юра Гагарин в выглаженной сатиновой рубашке с пионерским галстуком уселся на первый стол рядом с Колей Ерофеевым. Оказалось, что классной руководительницей была старшая сестра Коли. Она пыталась делать из него «человека». Но он частенько выводил ее из себя и получал родственную затрещину.

Трудным был класс! Баловники и непослушники редко выдерживали до звонка. То тут, то там на уроке возникали стычки. На перемене неистово бегали по коридору и устраивали коллективные потасовки.

Левка Толкалин сидел непосредственно за Гагариным, рядом с переростком — Валец Цыцыревым — Цыцырем, ядовитым и непоседливым пацаном, который непрерывно издавал непонятные звуки и дергал за уши Ерофеева. Тот оборачивался и отвечал щелбанцами по лбу. Заканчивалось обычно тем, что старшая сестричка выводила за ухо младшего братца в угол. Но и там Ерофей предательски корчил рожи и смешил весь класс, пока его не выдворяли за дверь. Цыцырю было не с кем развлекаться, и он начинал приставать то к Юрке, то к Левке. На перемене придрался к Левке и поднес ему кулак к носу. Но тот дал ему подножку, и Цыцырь грохнулся на пол. Молча встал и отошел в сторону, вытирая рукавом нос. Левка потерял бдительность и сразу был наказан. Враг подкрался, засветил ему в глаз и стал молотить кулаками по чем придется. Левка было взвыл и закрыл ладонями лицо, чтобы не получить в другой глаз, но тумачков не последовало. Он раскрылся и увидел Гагарина, который захватом держал руки его врага. Воспользовавшись ситуацией, Толкач оттянулся пару раз Цыцырю по физиономии. Но Юрка остановил.

— Хватит дурака валять! Из школы выгонят!

Это, кажется, подействовало. Левка и Цыцырь вернулись за стол и продолжили выяснять отношения там, пиная друг друга ногами и локтями.

В класс вошли двое: директор училища и девушка-стажерка, которой надо было провести показательный урок.

— Вот это класс! — удивилась директор, глядя на три черных подбитых глаза: один Левкин и два Цыцыревских. Тут не стажер нужен, а милиционер.

В конце урока к директору вызвали всех троих: Толкалина, Цыцырева и Гагарина. На допросе все трое молчали, уставившись в пол. Поскольку зачинщиков не удалось выявить, всех предупредили, что если еще раз увидят, то из школы выгонят. Левке стало неудобно, и он сознался, что Гагарин тут ни при чем. Это они с Цыцырем затеяли, а Юра хотел разнять.

— Ладно, то, что было сказано, к Гагарину не относится, а только к вам, — закончила директор, и погладила Юрку по голове: — Иди на место, справедливый.

В тот же день на педсовете обсуждали дела в классе. Решили, что класс переполнен и слишком хулиганист. Решили, что хулиганов надо разбавить хорошими учениками и сделать два смешанных класса. Классы разместили в том же уцелевшем трехэтажном доме дореволюционного купца Церевитинова.

Дом изображен на фото Гжатска 1943 года. Какое это было здание! Большие, частично застекленные окна, высоченные потолки, паркетные полы. Все это отдавало давней, вековой постройкой. Конечно, пол и потолки изрядно потерты и закопчены. Но в наших глазах это был настоящий дворец! Такого в городке еще не видел ни Юрка Гагарин, ни я. Теперь учились в параллельных классах. Лишь потом судьба сведет нас опять в один, пятый.

Осенью и в начале лета играли, кто во что горазд. Во дворе школы любили гонять мяч. Это была кожаная покрывка, набитая тряпками. Играли класс на класс. Нашим капитаном был Коля Ерофеев по прозвищу «Ерофей» — плотный шустрый крепыш. Противниками «капитанил» Юра Гагарин. Обычно игра начиналась с жеребьевки. Выбирали, у кого будут какие ворота: по солнцу или против. Юра подбрасывал полуметровую палку, а Николай ухватывал ее рукой. Затем перебирались кулак к кулаку до верха. Кто покроет палку после этой процедуры сверху ладошкой — тот и хозяин. Коля всегда хитрил и юлил, пытаясь надуть. Юра, напротив, всегда был честен, хотя и часто проигрывал начало. Но потом он «заводил» свою команду на выигрыш, проявлял роль лидера и «души» коллектива.

Играли с азартом и издавали много шума. Капитаны нередко схватывались один на один. Работящий Юра был сильнее. Покряхтев и повозившись, Колька сдавался и шел на мировую. Игра возобновлялась. Особый спор разгорался по поводу забитых мячей.

Ворота обозначались учебными сумками или камнями, и со стороны было трудно определить, как прошел мяч: через ворота или сбоку. На большой перемене или на уроках физкультуры успевали сыграть в лапту. Команды — в том же составе. Тот же метод жеребьевки. Проигравшая команда водила. Ее игроки расставлялись по игровому полю между «началом» и «границей», с тем чтобы поймать мяч или быстро схватить его на земле. В начале поля в шеренгу выстраивались игроки играющей (выигравшей) команды. Каждый из них по очереди бил по мячу, который подбрасывал капитан водившей команды. Если очередной «била» промахивался, его место занимал следующий. Если попадал по мячу и мяч летел, вся играющая команда «нарывалась» — бежала от «начала» к «границе», пока летел мяч. Нужно было добежать до «границы» и успеть вернуться. Иначе некому было бы бить по мячу. При возвращении игроков, их «салили» противники подобранным с земли мячом. «Засаленные» выбывали из игры до следующего тайма. Нужно было изворачиваться и быстро перемещаться, чтобы тебя не засалили. Если кто-то из игроков водившей команды ловил мяч, то вся его команда побеждала. Самым крутым мазилой по мячу слыл Левка Толкалин, которого тогда уже звали просто Толкач, или Толкушка. Именно ему нередко доставалось от капитанов.

Конечно, все дети любили играть в детские игры. Но это было нечасто. Чаше были более интересные и далеко не детские забавы.

Проигрывая в лапту, Ерофей обычно злился.

— Гагара, давай еще. Так нечестно оставлять нас в проигрыше.

— Хватит, — отвечал Юрка. — Мне еще дома играть со стамеской. Отец поручил конопатить левую стену. Да еще дрова надо сложить в поленницу. Вчера с кубометр напилили и нарубили. Вам все бы бездельничать, а мне вот не в лапту, а с Толкачом интересней. Он хотя и мазил, но всегда какие-нибудь забавные самоделки делает.

На том и расходились. Юра помогал по дому, а уроки делал вечером. В многодетной трудовой семье все работали от мала. Строились, расстраивались, подстраивали двор.

Времени на развлечения оставалось мало.

Зимние игры

Зимой развлечений было меньше; занятия в школе — в самом разгаре. В выходные Юра Гагарин помогал дома по хозяйству: пилил и колол дрова для печки, расчищал снег во дворе. Но оставалось время и для отдыха. Лыжи и коньки были неплохим дополнением. У многих лыжи имелись, в основном, военные: наши и трофейные немецкие. Особым спросом пользовались немецкие. Обшитые по краям тонким алю-

миниевым кантиком, они хорошо держали прыжки с трамплинов и падения: не трескались и не ломались. В семье Гагариных такие лыжи были, и катались на них по очереди всей семьей. У Левки лыж не было, и он шлялся по оставленным немцами блиндажам и сараям в надежде найти что-то подобное. Но ему не везло, и он часто таскался пешком вместе с другом, семеня рядом с лыжней. Иногда ему перепало прокатиться с небольшой горки. Когда же лыжи были свободны, брал у Юры на денек-другой.

— Не сломай,— предупреждали его,— других нет!

Левка спускаться с крутых горок боялся. Катался, обычно, на пологом склоне реки Гжати. Там, в разных местах, были накатаны лыжни. Он выбирал склон поположе, с неразбитой лыжней и, не торопясь, съезжал, помня о том, что чужие лыжи надо беречь.

Склоны сразу у городского моста были очень крутыми и с них съезжали те, кто крепко стоял на ногах. Смелчаки на этих склонах часто устраивали трамплины. Толкалин не раз с завистью смотрел, как Юрий со свистом съезжает с крутого склона и летит с трамплина метров шесть-семь по воздуху. Его же попытки прыгнуть даже с маленького трамплина на метр всегда кончались брюхом об снег. Но «черти» иногда подмывали еще и еще раз прыгать. Результат был всегда один — болело отбитое брюхо.

В этот выходной на заснеженном берегу собралась ватага: Гагарин, Левашов, Ерофеев, Блинов и Толкалин. Юрий подправил трамплин, и начались соревнования. Гагарин и Леваш пару раз съехали нормально. Гагарин подпрыгивал на трамплине и летел по воздуху дальше всех. Николай Ерофеев и Юрка Блинов с трудом съехали по разу, тормозя палками. Во второй — оба крепко приложились. Ерофей долго тер ногу и прихрамывал. Блин зажимал платком кровоточащий нос. У Левки лыж не было, и он наблюдал. В конце концов, на трудной трассе остался один Юра. Левашов ушел по каким-то делам, Ерофей и Блин нашли спуск поположе и катались там. Юра решил передохнуть и отдал лыжи поддержать Толкачу. Тот от нечего делать натянул ремешки лыж на свои валенки, закрепил их веревками и взял в руки палки. Как хотелось ему съехать оттуда же. Он стал в лыжню и посмотрел вниз. Там он увидел жутко крутой спуск и трамплин. Сердце екнуло, а ноги свела судорога. На грех по берегу шли девчонки — одноклассницы. Анка Круглова решила, что Толкач изготовился, и решила ему помочь. Не ожидая подвоха, Левка вдруг почувствовал, что его разгоняют по лыжне. Вот уже засвистело в ушах, а уши ушанки вздыбились вверх. Он машинально присел от страха, а потом подумал, что надо все-таки встать. Это ему удалось как раз над трамплином, и он вдруг ощутил, что летит, летит... От страха он пождал ноги и, наконец, бац!.. Сугроб, треск ломающихся палок и темное снежное молоко. Очнувшись, Левка сообразил, что его откапывают и тянут за голые ноги. Потом услышал голоса девчонок и Юркин.

— Пощупайте ноги, руки! Кости целы?

Его шупали, дергали за ноги и руки, и констатировали, что тот не орет, значит, кости целы и переломов нет. Потом долго искали валенки. А они улетели вместе с лыжами на склон противоположного берега. Валенки были большими отцовскими и слетели вместе с лыжами, пока Толкач летел по воздуху и поджимал ноги. Их нашли, вытряхнули из них снег и стали натягивать на красные голые пятки. Остатки невыбитого снега стали таять, а Левка наконец-то заморгал глазами и что-то из себя хрипло выдавил. Потом поднялся и увидел вокруг себя Гагарина, Ерофея, Блина, девчонок и целую компанию незнакомых зевак. Через десяток секунд в ушах появился звук, и Толкач услышал обидное гоготание.

— Молодец! Поставил новый рекорд по дальности полета! — смеясь во все горло, заявил Гагарин.

— Точно! — подтвердил Ерофеев. — Я уже замерил: двенадцать шагов от трамплина до сугроба и ямы от пилота!

Левка недели две не катался на лыжах. Воспоминания бросали его в дрожь, и обида подступала к горлу. Но раз, на перемене, Юра подошел к приятелю.

— Помню, у тебя коньки есть. А у меня «гаги». Может, покатаемся, как-нибудь?

Гагами назывались хорошие коньки с узким прямым стальным полозом снизу, слегка загнутым спереди. Они хорошо держали молодой лед и застарелые катки глухой зимой. Возможно, это была голландская модель, придуманная в европейском городе Гааге. Коньки считались «профессиональными». Были в ходу и довоенные советские «снегурочки». Широкий полоз, загнутый крючком — вензелем вверх спереди не позволяли кататься на молодом льду, так как ноги срывались. Но на застарелом топком катке на них кататься было можно, не спотыкаясь.

— Да так, но снегурочки, — ответил Толкушка, стесняясь.

— Слушай, ребята говорят, что здорово кататься за машинами. Скорость под сорок-пятьдесят! Может, попробуем?

На другой день после уроков договорились встретиться. Дома Толкалин сообщал, как привинтить снегурочки на совершенно новые валенки, которые купил ему отец после рассказа о том, как улетели большие отцовские после прыжка с трамплина. «Технология» привинчивания к валенкам была давно уже отработана мальчишками. На заднюю и переднюю площадки коньков привязывались пеньковые петли. Петля задника одевалась на подъем валенка и закручивалась сзади так, чтобы задник конька оказался у пятки. Затем с натягом конек пристраивался у пятки валенка, чтобы не выхлялся. Передняя же площадка конька приворачивалась второй петлей на носок валенка. Под петлю подсовывалась палка, и петля закручивалась так, чтобы конек крепко держался, а после нескольких оборотов палку можно было закрепить за голенище. Если валенок был новым, твердым, то конек хорошо держался на ноге.

Привинтив коньки к совсем новым валенкам, Левка отправился на улицу. Зимняя гжатская городская дорога тех времен напоминала укатанный снежный проселок. По улицам сновали трофейные грузовики «МАН», а так же «Студебекеры», «Форды», «Шевроле», «Доджи» — остатки американской помощи. Иногда с небольшой скоростью тащились и наши полуторки и трехтонки. В колхозных санях трусили лошадки, оставляя за собой кучи навоза. Все это было присыпано снегом и укатано до блеска.

Прокатившись до Первой Советской, Толкач увидел Гагарина, лихо мчащегося на своих гагах за санями. Он стоял рядом с бегущей лошадью и держался за оглоблю.

— Давай, на другую сторону.

В санях сидел брат Юры Валентин. Он тоже помахал рукой. Левка заехал на другую сторону и схватился за вторую оглоблю. Катиться было весело. Под ногами дребезжали неровности и остатки замерзшего навоза. Разлетались воробьи с навозных куч. Лошадка весело семенила. Доехав до конюшни, парни отцепились и вернулись на Смоленскую улицу. Здесь машины ходили чаще, а лошади — реже. Вот показалась неспешно едущая полуторка. За ней — ватага ребят на коньках. Зацепив за борт крюк с длинной проволокой, несколько мальчишек лихо катились по дороге. Заметив ребят, шофер остановился и разогнал хулиганов.

— Разобьетесь, черти, а мне отвечать!

Ватага ретировалась, но как только машина поехала, крюк снова ухватился за борт и ватага помчалась дальше.

— Давай и мы, — проорал Левка и кинулся за ребятами.

Гагарин нехотя поехал за всеми и тоже ухватился за длинную проволоку. А шоферу, видимо, надоело разгонять ребят, он прибавил газу и съехал к обочине. Зима была снежной, и у обочины образовались высокие валки сугробы. Задрезжали

коньки, заходили ходуном ноги. Нарастала вибрация. Казалось, что ноги уже ничего не чувствуют; полная виброанестезия!

— Отцепляемся,— приказал Юрка,— и отъехал на большой скорости от грузовика.

Услышав команду, стали отцепляться и другие ребята. Кто благополучно, а кто — носом в придорожный сугроб. Но Левка побоялся. Перебирая руками проволоку, добрался до борта кузова и уцепился. Уже ничто не могло его отодрать от бортовых досок. Ноги продолжали вибрировать, а тело болтаться. Но вот грузовик въехал на территорию гаража и остановился. А Толкач все еще держался за борт; конвульсия в руках и страх сделали его невменяемым.

Вылез шофер и подергал висящее тело. Подошли еще двое и отодрали несчастного от борта. Но идти он не смог, и его отнесли в каптерку и положили на грязную лавку пузом вниз. Пришел начальник гаража, выслушал историю и начал снимать ремень.

После второй плетки Левка понял, что ноги начали работать. Он соскочил с лавки и кинулся к двери. Спотыкнувшись об порог, свалился во двор, вскочил и дал стрекача к открытым воротам. Ноги и коньки работали исправно. На выходе он увидел Гагарина, который с удивлением смотрел на Левкин спринт.

— Ну ты прямо спринтер! Во как бегаешь на коньках! А притворялся, что не умеешь!

— А ну тебя!

Придя домой, Токушка снял валенки и бросил их у порога. Проснулся отец и увидел брошенную обувь. Посмотрел на сына, покачал головой и начал отвязывать коньки.

— Ни черта себе! Только утром валенки были совсем новыми и без дыр на пятках! Что же ты, сынок, грыз, что ли, их? — недовольно и мрачно проворчал отец и начал вынимать ремень из брюк.

— Кажется, это уже второй раз за день,— подумал сынок и тиканул к соседу Витьке.

Попытка — не пытка

Зима прошла незаметно, в трудах и развлечениях. Весной было некогда. В то время сдавали экзамены каждый год, начиная с четвертого класса. Советская образовательная система! Потом пролетело и лето. А в начале сентября ученики четвертых классов базовой школы педучилища снова были перемешаны и разбавлены ребятами и девочками из сел. Занятия продолжились уже в единственной в городе средней школе. Гагарин и Толкалин попали в один пятый класс.

Была уже школьная сентябрьская осень. Начались занятия. А стояла теплынь. В выходные Юрка нередко уходил в деревню Горлово. Там можно было подкормиться у родственников деревенским провиантом и отдохнуть. В деревне были у него и знакомые девчонки. Деревенские хохотушки относились к нему с завистью и уважением. Как же, ладный городской парень. Зато местные мальчишки нередко поджидали, чтобы надавать. Как-никак, конкурент. А Гагарин из-за пустяков не дрался. Но если уж припирали, то давал сдачу.

— Лев, что ты делаешь в воскресенье? — как-то спросил Гагарин на переменке.

— Да так, болтаться, наверное, буду. На огороде — чисто, мать занята стиркой, а отец уехал ненадолго.

— Тогда пошли в Горлово. Там хороший пруд с карасями. Наши приглашали, а отцу некогда. Брат Борька уже там торчит.

Левка почесал прыщик на шее и стал думать. Действительно особых дел не предвиделось. Он вытер нос рукавом и согласился.

— Ладно, приду с утра.

— Давай к восьми. И не опаздывай.

Вечером Толкушка решил лечь пораньше. Будильника в доме не было. И чтобы не проспать, повесил довоенные часы-ходики над головой. Часы Лев нашел в полусгоревшем доме и отремонтировал. Раньше они заводились гирькой в форме морковки. Гирьку подвешивали на цепочке и подтягивали кверху. Под весом гири цепочка постепенно разматывалась, и часы шли, шелкая маятником. Но «родная» гирька давно потерялась. Вместо нее на цепочке висела алюминиевая кружка с водой. Доливая и отливая воду, мастерской Лев добился более-менее точного хода.

В доме была всего одна железная кровать, где спали мать с отцом. Сын спал на старом сундуке, на который стелили матрац с сеном, а под ноги подставляли табурет.

Застелив сундук, Левка заснул. Но ночью, часа в три, явился поддатый отец. «Лыка» он не «вязал», поэтому на собственную кровать его не пустили. А так как соображал он еще туго, то не придумал ничего лучше, как улечься с сыном на сундуке. Растолкав его со словами: «Пусти к стенке», — улегся под часами и захрапел. Сын долго вертелся и, наконец, тоже заснул. Часа в четыре утра кружка с водой опустилась до уровня гвоздя, вбитого в стену, зацепилась и стала поливать. Укладываясь в спешке, Лев почему-то про гвоздь, который вбил днем в стену, забыл.

— Кто тут мочится? — загудел еще не протрезвевший отец и дал сыну подзатыльник.

Тот скатился на пол и завопил. А отец уже снова храпел, сладко растянувшись во весь сундук.

— Поспать не дают, черти! — проворчала сонным голосом мать.

Спать было негде, да уже и не хотелось после затрешины. Толкушка потихому собрался и вышел из дому. На улице еще холодало. Он вернулся, на цыпочках прошел к вешалке и нащупал старый ватник. Что делать? А делать было нечего, как идти к Гагариным. Там, у них на сеновале, можно было и доспать. Идти пришлось недалеко, и через минут десять пострадавший был уже у калитки. Но здесь ему опять не повезло. Старый пес Полкан не признал спросонья и начал брехать, норовя схватить за штаны.

— Чего, старый хрен, не признал, что ли?

Полкан принюхался и стал вилять хвостом. А на шум вышел заспанный старший брат Юры — Валентин.

— Кто тут?

— Это я, Левка! — поспешил ночной шатун.

— Левка — не Левка, а взгрею сейчас, будешь знать, как шляться по ночам!

— Да так получилось.

— Получи-и-лось! Ладно, дуй на сеновал, там постелено. Утром разберемся.

Уже светило солнышко, когда сонный Толкалин услышал Юркин голос.

— Вставай, соня! Завтракать пора.

Гость слез с сеновала и увидел Гагариных, завтракающих за столом во дворе.

— Проходи, не стесняйся, — пригласила к столу хозяйка, Анна Тимофеевна, — чего это ты ночью болтался? Выгнали, что ли, за какую провинность?

Левка отмолчался.

Подкрепившись, пешком потопали в Горлово. Там Юрку уже ждали.

— Вот хорошо, что вас двое. Поможете солону перевезти с поля, а то рук не хватает.

Во дворе стояли две лошади, запряженные в телеги. Одна из них с двухмесячным жеребенком. На первой телеге поехали взрослые, на второй, с жеребенком, гости.

Лошадка резво трусила по дороге, присматривая за своим «ребенком». Ребенок бежал рядом, но иногда отвлекался. Тогда «мать» выражала крайнее беспокойство и ржала.

Наконец подъехали к полуразвалившемуся стогу соломы.

— Давай ты снизу подавай мне вилами солому, а я буду навивать воз,— предложил Гагарин.

— Да я не умею.

— Попытка — не пытка!

Гагарин стал на телегу, а приятель пытался вилами собирать солому с поля и подавать. Вначале получалось плохо. Потом Толкушка приспособился. Через минут двадцать Юрка стоял высоко на возу, а его друг уже не доставал вилами до верха.

— Хоро-ош!

Воз сверху придавили длинной оглоблей, завязали за телегу, и седок поехал отвозить.

Рядом работали другие крестьяне. Левка от нечего делать стал рассматривать работающих и заметил там стайку девчонок. Они ловко управлялись с соломой. Вилы так и мелькали у них в руках. Дневное солнце и работа разогрели и девчонки были полураздеты, как на пляже. Видны были загорелые руки и бедра выше колен.

«Во дают,— подумал Толкушка,— как в кино».

А девочки навили все возы и уселись отдохнуть. Потом увидели соседа и стали звать.

— Юрий, иди к нам, поцелуемся!

Левка не ожидал такого «нахальства» и спрятался за стожок.

— Да это не Юрка! — сказала самая шустрая, черненькая.— Юра крепкий малый, а этот какой-то длинный заморыш. Наверное, не кормят.

Девчонки весело хохотнули.

— Пошли посмотрим, что за фрукт.

Девочки поднялись и направились к стожку. Левка не знал, что делать и спрятался за стожок. Но в этот момент показалась Гагаринская телега.

— Ну, чего к парню пристаёте?

— А вот и Юрка! — не унималась черненькая.— Кто это с тобой, такой тощий?

— Это Левка. Хороший малый, мастеровой!

— Эй, мастеровой, а у тебя фотоаппарата нет? А то давно хотим сфотографироваться, да не знаем где.

— Не.

— А вообще у тебя хоть что-нибудь приличное есть?

Опять хохот.

— Давайте вам поможем, а то нам уже делать нечего.

Тем временем подошла вторая телега. Пришлось и Левке встать на воз. Работающие девчонки быстро подавали. Вскоре он уже стоял высоко на возу. Но заждавшийся жеребенок стал хулиганить. Прыгнул в сторону раз, два, и помчался к чужой лошадке знакомиться. «Мамаша» не выдержала и ринулась за ним. Воз перевернулся на глазах у всех и накрыл свалившегося работника. Под всеобщий смех несчастного откапали.

— Герой! — сказала шустрая чернявая и чмокнула Левку в синяк под глазом.

— Эх, нет фотоаппарата! — еще раз пожалел Гагарин.

Надули

После уроков решили прогуляться на городскую электростанцию. Она была почти напротив Гагаринского дома. Поэтому на Смоленскую улицу пошли с Гагариным вместе. По пути поддавали пустую консервную банку. Она с грохотом каталась от одного к другому. Наконец, Юрке она надоела, и он отправил ее в придорожную канаву. Левка не успокоился и ковырнул драным ботинком лежавшую на дороге деревяшку.

— Лови, Гагара!

Но Гагара не поддержал.

— Ты что, ботинки совсем хочешь разгрохать? — удивился он. — Лучше бы зашил, а то они у тебя «каши просят».

Толкалин посмотрел на носок ботинка. У носка подметка давно отвалилась, и от туда выглядывал кончик грязного пальца.

— Да я не умею, — просопел он, снял ботинки и пошел босиком.

— Не уме-ею! — передразнил Гагарин. — Наука-то не сложная. Пошли, я тебе подметку гвоздями подправлю. У нас все инструменты есть. И железная «нога», и шило, и сапожный молоток, и гвозди.

Но Левке ремонтировать ботинки было лень. Он знал, что отец подметку подправит.

— Юр, пойдем, зайдем на электростанцию.

— Давай, только не надолго.

На электростанции ремонтировали большой дизель. Высотой он был метра три. Четыре рабочих цилиндра величиной с высокого человека каждый и пятый цилиндр воздушного компрессора. Машинисты стояли на трехметровой высоте на металлических подмостках и копались с механизмами. У Юры расширились глаза.

— Здоровенный какой! А что написано на немецком? «Зульцер, 1905 год».

— Правильно, — подтвердил механик дядя Володя Панов. — Немецкий судовой дизель «Зульцер». Работает в России с 1905 года. Нашли в Смоленске на свалке. Теперь восстанавливаем. Другого нам все равно не дадут. Этот имеет целых 400 лошадиных сил.

— Так мало?

— Почему мало? Осветим почти весь городок.

— Да брат Валентин говорил, что у танка дизель тоже 400 сил! А он меньше этого раз в двадцать.

— Но твой танковый не сможет сорок лет проработать. А этот еще, будем надеяться, проработает лет десять-пятнадцать. Тут только один маховик две тонны, да и крутится всего оборотов 400 в минуту. Как тебе объяснить? Ты спортсмен?

— Да вроде бы.

— Так вот, твой танковый дизель-спринтер. Рванул, пробежал и сдох. А этот стайер. Бежит себе потихоньку, но долго и далеко.

— Это что, он работает с 1905 года?

— Точно, — сказал утвердительно подошедший электрик — дядя Женья Александров. — Благодаря нашим умельцам и фанатам-механикам. В Германии такие давно выбросили. А мы еще работаем. А вообще вы нам здорово мешаете!

Александров отошел к машинистам и стал советовать, показывая в нашу сторону. Потом подошел с затаенной улыбкой и спросил:

— Вы, ребята, рыбаки?

— Да не очень, — ответил Левка, — но иногда приходится.

— Не о-чень, — передернул Толкача дядя Женья. — Вот какое вам предложение. Там, во дворе, пруд. Неглубокий, вам по грудь. У берега есть лодка. Покатайтесь на ней да половите карасей. Ты, Юрка, живешь рядом. Дуй за удочками. А ты Лев, дай-ка ботинок, я подметку «приварю». Нечего по цементу босиком шлепать. Отец увидит, тебе врежет.

Александров, ворча, ушел с рваным ботинком, а Гагарин нехотя отправился домой и через полчаса явился с двумя гнутыми самодельными удочками. Пошли на пруд. Пруд был большой. До войны здесь функционировал городской парк с лодочной станцией и даже парашютной вышкой. Но деревья немцы спилили. Остались запущенные и зацветшие пруды. Сели в лодку и для начала покатались на веслах.

— Дай я,— завопил Толкушка.

— Да не ори, всю рыбу распугаешь! И гребни ровнее, вон лодка как виляет.

Левка закричал на веслах, и зеленая ряска зашуршала по килю. Но лодка шла медленно и криво.

— Дай я, что-то у тебя не очень.

У Гагарина получилось лучше. Лодка шла быстрее и ровнее.

— Понял, как надо? Давай гребни.

Левка посмотрел на свои руки и увидел пару водяных мозолей.

— Не, с непривычки мозоли натер.

— Лопатой надо работать на огороде почаще, тогда и мозолей не будет.

Размотали удочки, забросили снасть и стали ждать. Вполголоса «травили»: сперва про двигатели и генераторы, а потом про девчонок, ребят и прочее.

Ждали час-другой. Но рыба не клевала. Лодка была новой, не текла, а на дне был настил, а на нем лежала большая куча свежей соломы. Рыбаки растянулись на мягкой соломе и незаметно вздремнули.

Проснулись от хохота. Кто-то хором громко смеялся. Рыбаки поднялись и увидели Александрова с механиками. Те «ржали» от души.

— Сматываем удочки,— сказал Юра.— Никаких тут карасей нет. Мешали мы им, вот нас и «надули».

Механики

Юра Гагарин еще подростком любил ходить на центральную электростанцию. Жил он почти напротив. Дежурные машинисты давно приметили любознательного парнишку.

— Ну давай, подежурь за меня,— приглашал главный механик Толкалин Николай Алексеевич.— В каком ты классе учишься? В четвертом, говоришь. Вот и я закончил четыре класса церковно-приходской школы. А двигатели внутреннего сгорания освоил самостоятельно. Вот так. Я их хорошо «нутром чувствую».

Дальше механик брал в руки отшлифованную деревянную палочку с раструбом на конце, очень похожую на большую трубочку довоенного врача, и начинал прослушивать подшипники, цилиндры, поршни. При этом приговаривал: «Этот еще ничего, а вот этот, коренной, давно надо подтянуть».

— Вась, Терешкин, займись-ка после дежурства первым коренным подшипником,— обращался он к дежурному дизелисту.

— Дайте и мне послушать, Николай Алексеевич,— просил Юрка, брал импровизированный стетоскоп и с умным видом прислонял его к корпусу работающей машины.

— Ну как, где еще дефект? — спрашивал главный механик и хитро улыбался.— Давай, осваивай технику, может, в жизни пригодится. Ты, я вижу,мышленый.

— Дядя Коля, вот тут что-то громко звякает, наверное, отвернулся болт.

Дядя Коля брал палку, слушал и говорил дежурному машинисту.

— Вась, Терешкин, вот тут Юрка еще нашел неисправность, посмотри,— обращался механик и подмаргивал. — Ща, посмотрим, что там.

Василий улыбался с пониманием. Какие в то время были мастеровые люди! Педагоги-самоучки. К ним тянулись ребята всех возрастов. И не бесполезно. Многие стали классными специалистами и осваивали сложную технику. В то время послевоенные городки не имели ни единой энергосистемы, ни мощных электростанций. Каждый поселок выживал сам. Деревни жили с керосиновыми лампами или освещались коптилками. Коптилки делали из всего. Самыми яркими были коптилки из больших снарядных гильз. Умельцы брали ненужную ветошь и вырезали из нее широкий фитиль. Его вставляли в гильзу, а верх расплющивали молотком.

Сбоку просверливали дырочку для керосина и затыкали ее пробочкой. Такая самодельная лампа горела ярко, хотя и коптила. Отсюда и название — «коптилка». За состоянием коптилки внимательно следили, и, чтобы не возникло пожара, при ней всегда кто-то дежурил с мокрым полотенцем. Керосин в то время был некачественный, и нередко коптилка вспыхивала. Но на жертвы шли, потому что у большой коптилки зимой можно было делать уроки и даже выполнять домашние хозяйственные работы.

Поселки покрупней и мелкие фабрики имели свои маленькие электростанции. Здесь работали движки на сырой нефти. Это были машины с калильным зажиганием. Вначале моторист большой паяльной лампой разогревал до красна шар на цилиндре. Напротив шара была встроена форсунка. Дальше моторист становился ногами на спицы большого маховика и начинал раскачивать его своим весом. Маховик прокручивался, поршень доходил до форсунки, а та впрыскивала в огненный шар нефтяной туман. Он взрывался, поршень отходил назад, маховик крутился, вращая генератор или шкив.

Как-то пришел Толкалин-старший и сказал:

— Сын, хватит играть в детские игры. Приходи, помоги мне с двигателем. В артели «Трудовик» сломалась «нефтянка», просили починить. Да прихвати Юрку, может, из вас что и получится. На конфеты точно заработаете, а я на бутылку.

В школе Левка нашел Юру. Вот есть такое предложение.

— Не знаю, как отец, отпустит ли. Дома работы много.

После школы Толкушка побежал в «Трудовик». Отыскал сбитый из теса сарайчик с выхлопной трубой. Юрка был уже там. Сидел на скамеечке в чужом замасленном ватнике и мыл в керосине медные трубки. Лицо излучало явное удовольствие и гордость.

— Чего задержался? — спросил дядя Коля.— Вот Юрка мне все патрубки уже промыл.

Поработали еще часа полтора. Николай Алексеевич отпустил.

— Хватит ребята. Вам еще надо уроки успеть сделать. Если понравилось, приходите через денек.

Пришли через денек. Двигатель уже работал, попыхивая в выхлопную трубу темным дымом.

— Чего нас не дождались? — обиженно спросил Юра.

— Не беспокойтесь, еще не поздно.

Двигатель остановили. Стали регулировать. Затем взрослые немного передохнули.

— Юр, бери лампу и грей запальник, — предложил дядя Коля.

— Какую лампу? — удивился Юрка.

— Паяльную, что, не понял, какую?

Взяли лампу, налили под змеевик керосин, подожгли. Через минуту послышалось гудение. Пламя рывками выбивалось из жерла здоровенной самодельной паяльной лампы.

— Как большой примус, — сказал Гагарин, заморожено глядя на пламя.— Давай прочистим капсюль иголкой.

На верстаке рядом лежала длинная полоска металла с зажатой на конце тонкой стальной проволокой. Гагарин взял ее и начал втыкать проволоку в капсюль.

Прочистили отверстие, и огромная лампа уже ревела ровно. Минут через пять нагрели запальный шар до темно-красного цвета. Мужики принялись раскачивать маховик. Движок затарахтел, а Юра продолжал любоваться голубым языком пламени.

— Знаешь, на что это похоже? — спросил Николай Алексеевич.

— На большой примус.

— Не только. Еще на реактивный двигатель. В войну однажды пришлось слу-

жить на аэродроме. Там пригнали самолет без пропеллера. Под крыльями были установлены две реактивных сигары. Самолет экспериментальный. Его ненадолго поднимал в воздух летчик с какой-то грузинской фамилией. Забыл какая.

— Как это без винта? — удивился Юра. — А за счет чего же он летает?

— А как летает снаряд от «Катюши»? Знаешь, что такое «Катюша»?

— Слышал, брат Валентин рассказывал.

— То-то. За счет реактивной тяги сходит снаряд с направляющих. Горит в цилиндре порох, пламя вылетает из сопла на хвосте. Возникает реактивная тяга. Учись хорошо, все узнаешь.

Юрий не надолго задумался.

— А почему паяльная лампа не летит?

— Даже у этой, большой лампы, слабовата мощность, — улыбнулся механик. — Можете попробовать привязать лампу к проволоке, только меня дождитесь. Помогу.

Старший Толкалин пришел домой, когда приятели во дворе уже смастерили из досок подобие самолета и прикрутили проволокой снизу небольшую паяльную лампу. Дядя Коля посмотрел и покачал головой.

— Не полетит. Я же говорил, «моща» слабовата у этого реактивного. Я пока перекушу, а вы натяните более тонкую стальную проволоку от забора к столбу. Да и лампу прикрутите пониже, а то ваш самолет сгорит.

Николай Алексеевич вышел не сразу. Поел да сделал какие-то дела и наконец появился на крыльце. В руках он держал изящный ролик с подшипником от небольшого полиспаста. А ровная проволока была уже достаточно сильно натянута.

— Вешайте ваш реактивный на проволоку за ролик, — обратился он к ребятам.

Самолет повесили — проволока прогнулась. Но конструкция стояла на месте. Разожгли лампу, и Юрка «дал газу», накачав насосом воздух до отказа. Лампа жутко загудела, и самолет медленно поехал вниз по проволоке. Ура! «Долетев» до середины и проскочив еще немного по инерции, самолет подался назад и остановился.

— «Мощи» не хватило, — сказал Левка.

А Юра смотрел во все глаза и все ждал, не свершится ли чудо. Но чуда не было. Подошел дядя Коля, пригасил лампу и снял самолет с проволоки.

— На сегодня хватит. А вы попробуйте укрепить лампу на плотик, да пустите в пруду. Только осторожно, не обгорите. И без меня чтоб ни-ни. Завтра вечером посмотрим.

После обеда Лев был у Гагариных во дворе. Юра из доски уже сделал кораблик. Снизу был прибит киль из рейки. В центре стояла семейная паяльная лампа. Мимо прошел старший брат Валентин.

— Чего опять надумали, сорванцы?

Объяснили. Тот выслушал и почесал в затылке.

— Вы мне лампу не утопите. Выдеру.

Ждать до вечера никто не хотел. Залили керосин, взяли немецкую зажигалку отца и пошли на электростанцию. Там, во дворе, подошли к пруду. Пока никто не заметил эксперимента, быстро разожгли паяльную лампу, накачали воздуха в баллон и поставили на корабль. Доска основательно подтопилась и с трудом держала груз.

— Ура! Пошел! — завопили приятели.

А кораблик, покачиваясь, медленно шел к другому берегу. На середине пруда лампа засорилась, запыхтела, выпустила облако беловатого дыма и погасла. Доска остановилась.

— Что будем делать? — спросил Гагарин. — Может, сплаваем?

— Ты что, холодно. Давай попробуем камнями.

Стали бросать камни в воду. Левка попал в лампу. Корабль перевернулся, лампа зашипела и пошла ко дну.

— Эх, Толкушкин,— огорчился Юрка.— Как хорошо начали! Предупреждал же Валентин. Теперь взгреет. Да ладно, как-нибудь, откручусь.

Молча поплелись к Гагариным во двор. Валентин посмотрел на приятелей и все понял: утопили лампу.

— Кто постарался?

— Да вот, она сама потонула,— попытался объяснить Гагарин-младший.

— Это я утопил,— сознался Левка.— У отца есть еще одна. Он отдаст.

— Отдаст, чтобы вы еще одну утопили,— отрезал Валентин и ушел в дом.

— Пошли к моему отцу,— предложил приятель.

Быть фотографом непросто

Николая Алексеевича нашли дома. Левкина мать полоскала белье во дворе.

— Идите в сарай, там он что-то мастерит.

Вошли в сарай. Дядя Коля держал в руках небольшой фотоаппарат. Протирал его и смазывал движущиеся детали. Объяснили, что случилось.

— Я же просил, без меня ничего не делать! — возмутился он.

— Да вот, так получилось,— юлил сын.

— Получилось! — передразнил механик.— Ладно, лампу я Юрке дам. Есть у меня в запасе. Но с этими экспериментами кончайте! Поняли? Вот, я Левке другое занятие придумаю. Держи... фотоаппарат. И чтобы мне за неделю научились с Юркой фотodelу.

Приятели с любопытством взяли предмет в руки. О таком они давно мечтали. Это был немецкий трофейный аппарат массового производства известной фирмы «Agfa». Ничего особенного. Нажмешь кнопку сбоку — откинется металлическая досочка с салазками. Нажав одновременно две кнопки изнутри, на салазках можно было выдвинуть панель с затвором и объективом. Панель соединялась с корпусом маленькой кожаной гармошкой. Фотоаппарат складывался обратным порядком. Заряжался фотопленкой, шириной 6 сантиметров. Фотокарточки 6 x 9 сантиметров делались контактным способом.

Недели через две стали получаться терпимые фотокарточки. Проявляли у Юры или у Толкалиных дома. Родители не мешали, а наоборот, поощряли. Левка смастерил импровизированную фотолабораторию. На крохотной кухне, метрах в полутора от пола рейкой к стене был прибит полог из брезента. С боков спускались две наклонных рейки, закрытые тем же брезентом. Внутри, у стены, стоял маленький столик с двумя табуретками, бутыл с речной водой и ведро. На столике размещались проявочный бачок, три больших суповых тарелки с проявителем, водой и закрепителем для фотокарточек, проявитель и закрепитель для пленки, а также самодельный фонарь из красной материи. Заряжали фотобачок в темноте. Проявляли, промывали и закрепляли пленку, а затем выносили на просушку. Чтобы залезть в «лабораторию», поднимали полог и договаривались не портить воздух. Потом уже, закрывшись так, чтобы не проникал посторонний свет, печатали фотокарточки, для чего фотобумагу вскрывали при красном свете, зажимали между стекол пленку и фотобумагу и засвечивали ее большим аккумуляторным фонарем Гагарина. Обычно возились долго. Под пологом было душно и жарко. Полог здорово мешал родителям, и они не раз грозили закрыть «лавочку», если слышали перебранку и возню внутри. Обычно не сдерживался Левка и орал на весь дом.

— Какого хрена ты не додержал фотку в проявителе?

На что Гагарин спокойно возражал.

— Да ты пересветил ее! Видишь, уже чернеть стала! Зачем ее там дальше держать!

Иногда дело доходило до дружеских потасовок. Тогда Юра придерживал друга за локоть.

— Успокойся, Толкушка, а то воздух испортишь! Придется вылезать.

— Ни хрена! Сам испортишь!

— Кто это все про хрен вспоминает?— ворчала Левкина мама и нащупывала под брезентом головы.

Затылок своего сыночка она определяла безошибочно и давала увесистый подзатыльник. Получив, к тому же, еще и осязательный щелбан, сынок не надолго замолкал и хрена больше не вспоминал.

Вторая лаборатория размещалась у Гагарина в кладовке. Она была толково организована. Да и в гостях Левка вел себя скромнее. Но вскоре карточки 6 x 9 перестали удовлетворять приятелей.

— Давай сделаем фотоувеличитель,— предложил хозяин.

— А как? — удивился Толкалин.

Пошли к Гагариным и стали лазать по полкам и чердаку. В хламе нашли старый довоенный фотоаппарат «Фотокор» — творение довоенной отечественной фотоиндустрии. Объектив был на месте, но затвор уже не работал, поэтому из аппарата решили сделать фотоувеличитель. Долго мудрили, как сделать, чтобы не была видна нить лампочки подсветки, как пристроить кадр 6 x 9 к окну кассеты 9 x 12, как ликвидировать щели у фонаря? Наконец к вечеру, еще до полной темноты, Гагарин успел приладить сзади к корпусу аппарата деревянную коробку с двумя лампочками по 60 ватт и картонную проставку под пленку шириной 6 сантиметров. Все было готово для эксперимента с фотоувеличением. Простую белую бумагу размещали у объектива так, чтобы проекция негатива занимала кадр 9 x 12, а иногда и больше. Затем на бумагу кнопками прикрепляли уже фотобумагу. Но негатив просвечивался плохо, и приходилось ждать минуты по две-три. У Левки терпения не хватало, и он злился.

— Сделал не проектор, а драндулет! Пока проектируется, выспаться можно!

— А ты, в самом деле, поспи, пока я все сделаю. Все равно от тебя пока толку мало.

— Как это мало? А кто воздух портить и хрен вспоминать будет?

— Ну и шуточки у тебя! Приготовь-ка пока лучше проявитель и прочую химию.

Через неделю приятели принесли в класс фотоувеличитель и фотокарточки 9 x 12 и даже 24 x 18. Не очень четкие и контрастные, но все-таки большие. Одноклассники обступили фотографов и стали расспрашивать, как им это удалось. Левка ходил с видом профессора и давал пояснения. Когда надо было рассказывать про то, что делал Юрка, он умалчивал, а о том, что делал сам, рассказывал долго и длинно.

— Ну ты и гусь! — возмутилась Рая Стольникова.— Увеличитель-то почти весь деревянный! Тебе век ничего из дерева не сделать! Ты все с железками, да с железками. Наверняка все Гагарин сделал. Он ведь и столяр, и плотник, и на все руки работник!

После этих слов «гусь» приумолк, а Юра скромно заметил:

— Да мы все вместе делали и не разделяли, кто что. Так, Лев?

После уроков пошли к Левкиному дому. Во дворе у сарая возился отец с охотничьим ружьем, то заглядывая в стволы, то проталкивая тряпки через ствол шомполом, протирая пороховой налет. Увидев друзей, показал взглядом на стену сарая. Там, на гвоздике, висел какой-то предмет, очень похожий на большой фотоаппарат. Детишки с любопытством разглядывали предмет издали.

— Как думаете, что это за вещь?

— Думаю, фотоаппарат,— предположил Юрка.

— Точно! А чей он будет?

— Конечно, Левкин,— ответил гость.

— Ну, это еще мы посмотрим. Что у меня в руках?

— Ружжо! — пошутил сын.

— Правильно. Я его только что отремонтировал, поэтому не грех и испытать. А как надо из него целиться по деревяшке, если ее бросить в лет от охотника?

— Дать упреждение книзу на полдлины деревяшки, — поторопился Гагарин.

— Неправильно, — ответил охотник, — надо поводить стволами вверх-вниз, чтобы дробь рассыпалась по вертикали! Тогда точно попадете.

— Как, как? — не понял Левка.

— А как надо стрелять, если палку бросить со стороны и чтобы она летела поперек? — спросил уже у сына.

Сын же опять не понял шуточного вопроса и сказал, что надо дать упреждение примерно на срез ствола вперед.

— Поводить стволами горизонтально, чтобы дробь рассыпалась поперек, — смеясь, ответил на шутку Юра.

Левка опять не понял. Но приятель пояснил, что Николай Алексеевич шутит. До сына с трудом, но все же дошло, и он заржал, как молодой жеребец.

— Как же так дробь и рассыплется по вертикали!? Не успеет. Как вылетела, так и полетит!

— Ладно, так как никто из вас не ответил сразу правильно, все решит дуэль! Вот вам по четыре патрона. Я буду бросать палку от вас и поперек вас. Кто попадет, тот и будет работать с фотоаппаратом.

Пошли в огород. Провели жеребьевку. Первый выстрел остался за Гагариным. Гость зарядил ружье первым патроном и изготовился. Палка полетела от охотника. Гагарин вскинул ружье и выстрелил. Палка благополучно шлепнулась на грядки. Стрелок побежал смотреть результат. Дробинок в палке не было. Промах. Левке бросили поперек. Он очень долго целился, сопровождая стволами летящую палку, пока она не перелетела из своего на соседний огород и стала падать вниз. Ему надо было бы остановиться, но он потерял контроль над собой и нажал на курок. Грохнул выстрел. На соседском заборе вдребезги разлетелись молочные глиняные крынки, что сушили на кольях. Во дворе забрехала собака, и истошно замыкал кот, который с испугу скатился с крыши стоящего рядом сарая, рухнул в кусты и дал стрекача через дорогу.

— Ну, иди же за палкой, смотри, попал, или нет, — приказал хозяин ружья.

Стрелок перелез через плетень, пролез в соседский огород, поднял палку и, рассматривая ее, медленно пошел к себе назад. По пути не заметил яму и спотыкнулся. Но вовремя схватился за бельевую веревку, повисшую под руку. На грех там висело стирание белье, которое тут же попадало в грязь. Левка стал было его поднимать и развешивать назад, но из сеней выкатилась старуха-соседка, с бранью налетела на хулигана и принялась охаживать его клюкой.

— Я те покажу, как белье мне марасть! Я те покажу, как по чужим крынкам бахать!

Клюка ходила по спине, по заднице, по ляжкам. Тот отмахивался только что поднятой палкой и, пятясь, пытался ретироваться к своему двору. Но попал в межу и завалился. Тут уж бабка дала волю рукам!

— Фулюган окаянный! Я те дам, как по чужим огородам шастать!

Пострадавший вертелся на грядке, уворачиваясь от клюки. Но бабкой дело не ограничилось. Недалеко гулял очень драчливый белый петух. Он не понял причины поднятой суматохи и налетел на лежавшего, так, на всякий случай. А тот, наконец, вскочил на ноги и уже панически бежал с поля боя, бросив палку, и, перепрыгивая кочки и плетни, оказался у своего дома. Николай Алексеевич и Юрка покатывались со смеху, держась, кто за что придется. С минуту они истерически «грохотали» и никак не могли успокоиться.

— Ну-у и стрее-ло-ок! — никак не мог отойти от смеха Николай Алексеевич. — Где же палка с дробинами? Может, опять сходишь за ней?

Левка с подозрением посмотрел на соседний огород. Там все еще топталась бабка, бранилась и махала клюкой, собирая черепки от разбитых крынок.

— А ты, Ляксеич, лысый греховодник, куды смотришь? Распустил своих беспризорников! Был один, теперь — два безобразничают! Вот пойду, нажалуюсь уличному!

— Ладно, пойдем подальше в огород, — приказал Николай Алексеевич, — а то и мне и впрямь достанется за вас.

Стрелки пошли подальше. Остановились у небольшого пруда, из которого брали воду на полив огородов. Теперь уже бросали незаряженную немецкую гранату с длинной ручкой. Со второго раза Юра попал. Причем так, что отбило деревянную ручку, а железки упали в воду. Попадание было очевидным, чего никак нельзя было сказать про Левкины выстрелы. Бросали мокрую палку, выловленную из пруда. Правда, после четвертого выстрела она завертелась как-то необычно и шмякнулся в воду. Команда решила, что попадание все же могло быть. Но лезть за палкой в воду никому не хотелось.

— Будет, — сказал Толкалин-старший, — стрелки вы почти равнозначные. Правда Левка лучше по чужим крынкам бьет.

Николай Алексеевич и Гагарин снова «залились» обидным смехом, вспоминая крынки, кота, петуха и бабку. Лев насупился, а отец примирительно сказал:

— Валяйте, фотографируйте вместе, а с аппаратом обращайтесь аккуратно.

Парни дунули к сараю и сняли с гвоздя фотоаппарат. Он был похож на отечественный «Фотокор», но изящней и функциональней. Кнопкой откидывалась площадочка, и по маленьким рельсам выкатывался затвор с объективом. При этом разворачивалась кожаная гармошка. Внизу, между рельсов, виднелась большая хромированная надпись «GOERZ». Затвор имел большой диапазон выдержек от 0,01 до 2 секунд. Заряжался аппарат кассетами с фотопластинками 9 x 12. Кассет было всего три. Три снимка и все. Далее надо было в темноте перезаряжать кассеты новыми пластинками, что было крайне не удобно. Поэтому обычно с собой носили ф/а «Agfa», а для ответственных снимков брали «Goerz».

Уже в наше время фотоаппарат «Agfa», совсем очень «зрелый» Лев Николаевич, передал центральному музею Гагарина в городе Гагарине. Там он и хранится сегодня.

(Окончание в следующем номере)

ПОВЕСТЬ

Владимир Милов



ЛЕШКА-БЛАЖЕННЫЙ

Лешка Ершов — деревенский дурак. Всего в деревне два дурака: он и Яшка Чумной. Но Яшка, скорее debil, мрачный и злобный жлоб, он мстителен, расчетлив и хитер в меру своего скудоумия; способный на всевозможные пакости. Чумной даже лежал в Петельно, о чем имеет соответствующую справку, на основании которой ему выдали «белый билет» в военкомате. Получив эту бумажку, Яшка настолько уверовал в свою безнаказанность, которая, как известно, порождает хамство, что от него в округе и вовсе не стало житья. Однажды он ночью подпилит столбы деревянного мосточка, с которого бабы полоскали в пруду белье. А на следующий день с него в воду навернулась бабка Груня и, запутавшись в своих многочисленных юбках, пошла ко дну и наверняка бы утонула, не оказись поблизости мужиков. Затем Яшка спутал лошади ноги стальной проволокой и не просто заплел ее в форме косички, а умудрился, подлец, сделать так, чтобы на каждой ноге проволока заканчивалась петлей. Распутать бедное животное так и не смогли — пришлось прирезать. Милиция лишь помяла Яшке бока да и отпустила восвояси. Что ни говори, а бумажка из сумасшедшего дома — великое подспорье негодяю. Однажды он и Лешку заманил на строящийся комплекс и отлупил — это и переполнило чашу народного терпения; братья Кряжины отметили его так, что тот месяц мочился кровью и стал передвигаться с помощью костыля.

По неписаному закону Лешку трогать было нельзя — он дурак от Бога, блаженный. Лешке двадцать пять лет от роду, он среднего роста, хорошо, даже с некоторым изяществом сложен, с открытым и чистым лицом, на котором, как весеннее солнышко, постоянно играет лучезарная детская улыбка, с васильковыми глазами и золотистыми, выющимися большими кольцами кудрями. Эти кудри бабка Нюра время от времени кромсает большими портняжными ножницами. Недавно возникла необходимость и брить Лешку.

— Какие лезвия лучше бреют? — интересовалась она у мужиков.

— Лучше — рублевые.

— Ишь ты, рублевые! Разорюсь верно — не ходить же ему, как дьячку, обросшим.

Лешка круглый сирота. Мать свою он не видел с самого рождения, она, как говорит бабка Нюра, поехала в Сундуки (так бабка называет город Ессентуки) за вещами и, видимо, вещей оказалось так много, что по сей день никак не объявится. А отец

замерз спяну, когда Лешке было всего семь лет. Существует несколько версий о причине Лешкиного недуга. Первая — Лешка, напротив, родился дюже умным и в пять лет мог читать и писать, и вследствие чрезмерной нагрузки на мозг с ним и приключилось «горе от ума». Вторая, наиболее правдоподобная, — маленького Лешку отец посадил на бок мотоцикла и целый день катал по округе, после чего Лешка переболел менингитом. Как бы то ни было, но ни читать, ни писать Лешка не умеет — его умственное развитие навсегда остановилось в раннем детстве. Лешка великовозрастный, вечный ребенок. Он добр, жалостлив и вследствие чрезмерной жалости плаксив.

— Лешенька, голубчик, посмотри, какая у нас беда приключилась, — подшучивает над ним деревенская баба. — Кошечка у нас окотилась, а молочка-то у нее нет, чем котяточек кормить? У вас-то корова доится?

— Доится!

— На тебе кошечек — неси домой, а то они у нас погибнут.

Лешка заливаясь слезами сует котят за пазуху. Котята только что открыли глаза, мяукают и царапаются, вонзая Лешке то в грудь, то в рубашу цепкие, как рыбацкие крючки, коготки, пытаются выбраться наружу. Лешка, плача и в то же время улыбаясь, целует их в головы и запихивает их вовнутрь, бежит со всех ног домой, чтобы порадовать бабу Ньюру. Но бабка отчего-то такому прибавлению в хозяйстве не очень рада.

— Идиотик! — начинает причитать она. — Ты откуда котят полный дом наволоок? Ой, матушка моя родная, он же без ножа меня режет. Кто тебе дал их?

Лешка плохо ориентируется на местности, начинает сбивчиво объяснять:

— Баба мордастая, крыльцо — красное, лужа возле дома.

Бабке этого достаточно.

— Ага! Значит самой топить неохота, а я, бабка старая, бери грех на душу. Ну, погоди! Я ей сейчас устрою кошачий детский дом, — она брезгливо, словно клещами, двумя пальцами бросает котят в фартук, собрав его впереди в форме мешка. Котята вновь пытаются выбраться, но бабка Ньюра сердито трясет фартук: — Сидите, гадости!

Бабку Ньюру в деревне зовут Семижилной. Ей под восемьдесят, а она держит полный двор скотины, ни в чем не уступая полнокровным крестьянским семьям, плюс еще Лешка, который стоит целого подворья. Редко какой день обходится, чтобы с ним не приключилась какая-нибудь история.

— Идиотик! Дураков посеял! — кричит бабка Ньюра. — Ты для чего из покрывалки все цветы повырезал?

— Хотел божницу нарядить!

— Ой, да как же это я ножницы забыла прибрать? Ох, матушки, так он и на штормы на бохмару распустил, — семижилная в сердцах бьет Лешку тонкой ореховой палкой по рукам.

Лешка, почесывая ушибленное место, заливается слезами:

— Я хотел, чтобы красиво было.

— Красиво! — передразнивает его бабка. — Вон возьми газету да и вырезай из нее портреты, хоть вот эту передовую доярку вырежи — вон рожа — чуть не треснет, как у холмогорской коровы, или вот этого тракториста губошлепого. Ну, ладно, не голоси — иди, пряничка дам.

И вновь, как солнце из-за туч, сквозь слезы Лешки лицо озаряет улыбка. Стоит Семижилной прийти в магазин, так ее тут же обступают деревенские бабы, в ожидании каких-нибудь смешных рассказов про Лешку. Бабка иногда отмахивается, а чаще охотно веселит публику:

— Чего про него рассказывать. Ростом велик, а умом с трехлетнего ребенка. Подстриги его, помой, а теперь побрей. Думала ли я когда-нибудь, что я на старости лет в цирюльники подамся. Из дома ухожу, ножницы в сундук под замок, топоры, молот-

молотки, пилы, все туда. Пробки выворачиваю — неровен час в розетку что-нибудь засунет. А помощь с него какая? Даже за водой послать нельзя: или ведра потеряет, или колонку свернет. Сено, правда, с луга таскает и то под моим присмотром, сила-то у него есть. Заставишь поленницу выкладывать, потому как и стою рядом,— сопит, выкладывает — нравится ему, но опять глаз спускать нельзя, он ведь, может ее выложить выше облака стоячего, пока самого, дурака,— поленьями не придавит. А утром опять учи всему сызнова — ничего в его голове не задерживается, как вода в решете. Копать заставляю — до первого червяка, будет целый день за ним наблюдать, разговаривать, а если ненароком лопатой разрежет — голосить будет, как по отцу родному. А потом, разве он один дурак, у нас дураков полдеревни, что моего дурачка всяким глупостям подучивают. Грачонок из гнезда выпал, послали Лешку на Тимошкин погреб, чтобы его обратно в гнездо вернуть, а погреб еще при царе-Горохе строился из гнилых тесилок да прелой соломы — мой дурачок и обвалил его. Хорошо хоть сам не расшибся. Повела на днях с ним корову к быку. Я рядом за веревку веду — дурачок мой сзади подгоняет, все вроде хорошо. Привели. Бык на корову, а дурак его назад за хвост тянет: «Задавит, кричит, нашу Красавку. В нем весу пять пудов». «Дурак, говорю, это в тебе пять пудов да еще два пуда дури, а в быке — сто пять». Господи, и зачем я его только взяла? Бык к корове, дурак — к быку. А бык не кошка, приложит — только мокрое место останется. Пастух на помощь подоспел и кнутом его пугал и лошадью топтал — бесполезно, так и не дал корове огуляться. Теперь сызнова веди. Ох, жалостлив, беда с ним. Поросят по осени резать, хоть за три-девять земель веди — узнает, в десять ручьев слезы будет лить, к мясу не притронется. Одно слово, Блаженный. Разве в мои-то годы такую обузу на себя взвалить? Он молодой, здоровый, за ним коню на четырех ногах не угнаться, а мне каково, бабке старой? Да и народ у нас, да же поган: до чего сам не додумается — люди «добрые» подскажут.

Деревенские и впрямь любили над Лешкой Блаженным подшутить. Однажды приехал корреспондент из районной газеты, чтобы сфотографировать парторга — парторга на месте не оказалось, а поскольку корреспондент не знал его в лицо, деревенские юмористы решили подсунуть ему Лешку. Блаженного умыли, постригли под машинку, нарядили в костюм, повязали галстук — и диву дались — перед ними предстал будто сошедший с портрета школьной хрестоматии Сергей Есенин. Не вмешайся в эту авантюру бабка Нюра — красоваться бы Лешке на первой полосе. Подшучивали над Лешкой много и часто. Мужики было пытались приучить его курить и пить вино, но чистая, непорочная Лешкина душа всеми своими фибрами воспротивилась этому. Популярность Лешки в народе была столь велика, что без него не обходилась в деревне ни одна свадьба. Присутствие на свадьбе Лешки Блаженного считалось добрым знаком. К тому же на свадьбе Лешка честно отработывал съеденный хлеб. У него объявился необыкновенный талант — стоило ему нашептать слова частушки, как он мгновенно запоминал ее, правда, через несколько минут после исполнения она выветривалась из его головы, но это уже было не столь важно. В основном Лешку учили тем частушкам, которые сами по каким-либо соображениям спеть не решались. Иногда частушки были просто похабные, а иногда и со злым смыслом, намеком, подтекстом. Уже заряженный новой частушкой Лешка выжидал конца проигрыша гармошки и, приплясывая, выскакивал на середину круга:

— Сахар мелкий, сахар мелкий,
Сахар мелкий-кусковой,
А невеста уж не целка.
Я ручаюсь головой,

От хохота сотрясались стены, гармонист, поперхнувшись, никак не мог вновь собрать воедино распавшиеся, как бусинки, ноты плясовой, невеста, зардевшись, опускала очи долу, а жених, накупившись, как ястреб, старался высмотреть в толпе — кто

же нашептал дураку такую пакость, а Лешка уже исчез среди цветастых платьев, белых рубах и серых костюмов. Уже кто-то по-тихому, подозвав его к себе, нашептывал новый текст. Любому другому за подобный репертуар могли бы набить морду, но Лешку трогать нельзя: он — дурак, он — Блаженный. Напротив, в конце свадьбы ему дают огромный кулек с конфетами и пряниками и сверток с уже порезанной колбасой — угостить бабу Ньюру, поскольку Лешка, в основном, придерживался вегетарианской кухни. Нести до дома два кулька неудобно, поэтому Лешка, выбросив пакет, рассовывает колбасу по карманам пиджака и брюк, в которых до этого он хранил майских жуков, головастика и земляных червей, и весело, вприпрыжку мчится домой, зная, что бабушка его, непременно, похвалит:

— Слава Богу, дожиди, хоть какая-то от тебя польза есть!

Самое страшное время года для Семижилы — это зима. Зимой за Лешкой нужен особенный контроль, а, помня о том, что в одну из таких же зим замерз ее сын, бабу Ньюра старается, по возможности, свести на нет Лешкины передвижения по улице. А того словно разжигает затесаться куда-нибудь. Больше всего он любит кататься с ребятами на санках с горы, ему все равно: с пятилетними или семнадцатилетними — Лешке все ровесники. Лешке неведомо чувство страха, поэтому его пускают то с плотины, то специально для него строят какой-нибудь немислимый трамплин. Блаженный падает, разбивает в кровь лицо, плачет, а через минуту уже тащит и свои, и чужие санки в горку. Еще зимой Лешка очень любит чистить снег. И соседи охотно эксплуатируют эту Лешкину страсть в корыстных целях.

— Лешенька, милочка, беда у меня. Завалило меня, бабушку, снегом. Ни в подвал, ни в сарай войти не могу.

Лешка хватается скребком и тотчас, сопя, погружается в работу. Он очень любит, чтобы его при этом хвалили, и хитрая бабушка это знает:

— Ох, Лешка, что ж ты молодец. Вот мужик из тебя выйдет дельный, работающий, жена небось не наладуется. Не пьет, не курит, и в руках у тебя все горит.

Лешка смущенно улыбается, размазывая рукавом по румяным щекам соплю.

— Идиотик, — кричит бабу Ньюра. — Щас же марш домой, пока я тебя палкой не огрела. Тебе, что, дураку, своего снега мало — ты по дворам пошел?

Лешка бросает скребок и бежит к дому. Да и когда он дома, Семижилы не легче: у нее свои дела, а у Лешки свои.

— Идиотик! Шкура твоя барабанная, ты почто всего кота зеленкой излил.

— Я хотел ему нос помазать — там у него царапина.

— Что же у него нос до самого хвоста идет? А тебе я чем, дурачок, мазать буду, когда ты на горке разобьешься? От него теперь не то что мыши, а собаки на улице и те разбегутся.

Кстати, о собаках: Лешка вхож в любой дом — лезет целоваться даже с волкодавами, по деревне идет — не одна шавка на него не тявкнет. Чем он их так к себе расположил, остается загадкой.

— Дурень, куда конфетки делись? Я только вчера в магазине целый кулек купила ирисок.

— Шарику отдал! — Лешка никогда не врет. — Знаешь, как интересно? Он станет конфетку есть, а она — раз и на зуб к нему приклеилась, он ее от зуба лапой отклеит, только куснет — она снова прилипла.

— Хорош интерес! Два рубля кобелю под хвост. Ну что мне с тобой делать, палкой тебя охотничить?

Лешка молчит, улыбается: хочешь — бей, хочешь — помилуй.

В тот день Лешка проснулся поздно. По радио передавали какой-то концерт, и лихо наяривали гармошки. Лешка прямо на печи начал приплясывать, ударяя в такт музыке босыми ногами то в потолок, то в стену.

— Идиотик! Что ли тебя там лихоманка ломает — печку развалишь — в тебе уже весу — центнер. Вон выйди в сенцы да пляши там на земляном полу, хоть крыс попугаешь.

Затем бабка Нюра ушла, музыка по радио кончилась, и лежать на печи стало скучно. Лешка соскочил с печи, подбежал к окну: с уличной стороны крещенский мороз расписал стекла причудливыми, пушистыми узорами. Там были и елочки, и какие-то продолговатые листья невиданных растений. Между рамами, на пышных сугробах ваты, аппетитно алел румяный пипин-шафран. Сквозь замерзшие стекла ничего не было видно. Захотелось посмотреть, что же делается на улице. Лешка нашел штаны, пересошившие на печке (они скрипели в руках как деревянные), оделся, под руки попался свитер, надел и его, носки не нашел, поэтому сунул в валенки босые ноги, вместо шарфа повязал бабкину шаль, накинул телогрейку, схватил шапку и выскочил на улицу.

Вся деревня по крыши сараев была замечена снегом, деревья, посеребренные инеем, без единого дуновения ветра — застыли как на Рождественской открытке; от печных труб ровными столбами в небо струились ручейки дыма. Пышные сугробы белого снега сверкали на солнце. Четверо братьев Кряжиных объезжали молодую лошадь, серого в яблоках жеребца, и остановились возле магазина, как раз напротив Лешкиного дома. Лешка побежал к ним. От взмыленной лошади валил пар, она мелко дрожала всем телом и металась по сторонам, стараясь вынырнуть из-под оглоблей, истерично хватала открытым ртом воздух и роняла на землю шапки кровавой пены. Заметив разорванные удилами губы, Лешка заплакал и бросился к лошади, стал прикладывать к ранам снег. И без того испуганная лошадь, пятилась назад и взмывала на дыбы.

— Уйди, дурак, убьет! — закричали из саней.

Лешка не послушал. Один из братьев прыгнул с саней и оттолкнул Лешку, Блаженный споткнулся и полетел в снег — заплакал, запричитал.

— Ну, ладно, Леха, не рыдай, — успокаивал его Кряжин. — Прости, не хотел я. Садись с нами, поедem кататься.

Лешка заулыбался и, забыв про обиду, прыгнул в сани. Лошадь тронула с места крупной рысью, затем перешла в галоп. Расчищенная трактором дорога напоминала собой тоннель, лошадь, как ни пыталась, не могла с санями перепрыгнуть высокий бруствер. Сани вихляли то вправо, то влево, чиркали по снежной стене и весело катились вперед. Глаза Блаженного сияли от восторга.

— Леха, а ты что, без рукавиц?

— Ага! — улыбался Леха.

— Тогда суй руки в рукава, обморозишься к чертовой матери.

Алешка засунул руки в рукава, стало теплее, и спрятал нос в бабушкину шаль, снаружи оставались лишь небесно-голубые глаза.

Братья приехали в другую деревню, взяли в магазине вина и конфет, стали выпивать.

— Леха, твою-то мать, ты все конфеты пожрал — оставь хоть закусить. На мелочь, беги еще в магазин за конфетами!

Тронули обратно. Доехали до развилки дорог. Братья решили посетить еще одну деревню, а Лешка совсем замерз.

— Леха, вылезай — вот видишь эту дорогу — вон водокачка торчит, там твой дом. Иди по этой дороге и никуда не сворачивай — через пятнадцать минут будешь дома, а мы еще покатаемся.

И Лешка пустился бежать по дороге, указанной ему братьями. Семижильная не сразу обнаружила Лешкино отсутствие, полагая, что тот, пригревшись, снова заснул на печи. А когда спохватилась, то обмерла и, не мешкая ни минуты, пустилась на поиски. И пруд, и горка были пусты. Кто-то сказал ей, что видел, как тот садился в сани к братьям Кряжиным — побежала на конюшню, но на конюшне застала уже распряженную братьями взмыленную лошадь. Вечерело. Короткий зимний день, бледнея, таял в серебристой, холодной мути.

Уже совсем стемнело, когда бабка Нюра разыскала братьев. Все братья и еще пятеро деревенских ребят играли в карты в доме у старшего брата — Федора. Федор был уже женат и жил особняком. Накануне он отправил жену в роддом и сейчас, в ее отсутствие, решил немного расслабиться.

В доме было густо накурено, вся компания играла в карты. Возле стола стояло ведро с медовухой, в бражке плавал ковш, и из рук в руки гуляла шапка с мелочью.

— Сынки, а куда ж вы моего дурака дели? Факт исчезновения Блаженного и братьев застал врасплох:

— Мы его до развилки довели и домой отправили — ему оттуда до дома идти — два шага.

— Ох, да что же вы наделали? — запричитала Семижилная. — Зачем же только брали? Вам для смеха? Вы вон как разодеты: штаны ватные да овчинные тулупы, а у него штанишки — тоньше кленового листочка, да без варежек. Ох, Господи, мороз-то на улице какой — птица на лету мерзнет. До развилки они его довели, дорогу указали, да он, дурак, мыша увидит — уйдет за ним на край света, — и тут Семижилная со всего размаху грохнулась на колени, гулко стукнулись о половицу ее костлявые ноги, так, что в серванте дробно зазвенела посуда. — Сынки, милые, сыщите моего дурочка, Христом Богом вас молю, а коли замерзнет — положите тогда и меня с ним рядом.

Ребята выскочили из-за стола и бросились поднимать ее под руки.

— Найдем, бабка Нюр, непременно найдем. Небось, на коровниках где-нибудь с кошкой играет.

— Как же! — голосила старуха. — Обошла я весь скотный двор — никто его там не видел. А я для него только и живу. Вы думаете, нужны мне эти телята, да поросята, хозяйство это окаянное — думаю, соберу деньжат — все, может, его в какой приют лучше отправят, когда помру, без денег кому он, сирота, нужен? — по впалым щекам старухи, по канавкам морщин, как между картофельных борозд во время ливня, мутными ручьями катились слезы.

В доме все заходило ходуном: заскрипели ящики серванта, захлопали входные двери и до тошноты противно запахло «корвалолом», на крики прибежали соседи.

Искать Блаженного решили не мешкая. Отвязали собак, взяли лыжи, ружья, фонари, в которых, впрочем, не было особой необходимости — огромный шар луны освещал округу на десятки верст: леса, поля, овраги, перелески, посадки лежали, как на ладони. Поиск начали с развилки. Пушистый, словно взбитая доброй хозяйкой перина, снег хранил на себе множество следов, за исключением, разве что, человеческих. Аукали, свистели, кричали, стреляли из ружей в воздух, раскапывали и давали обнюхать собакам каждый бугорок, каждую выемку, тщательно осматривали скирды и стога, делали километровые круги, для того, чтобы приблизиться к одиноко торчащему в поле пню или обломку столба — тщетно, Блаженного нигде не было. По очереди смотрели в бинокль — даль была мертва. Лишь только когда время перевалило за полночь, решили прекратить поиски. Шедший впереди поисковой команды Федор с ружьем за плечами и биноклем на шее был хмур и зол. Зол прежде всего на самого себя:

— Хмель мою головушку покинул, — бормотал он. — Ну, и кто у нас дурак, я или Леха? Хорош подарок разродившейся бабе. От такого подарка и молоко пропадет. С утра менты придут, и начнется катавасия.

— А при чем тут менты?

— А при том! Скажут дурака санями переехали, да в снег закопали до весны, а там доказывай, что ты не верблюд.

— Да не скули ты, — утешали его. — Может, еще найдется.

— Найдется! — передразнил Федор. — Собаки, и те мерзнут, — Федор снял лыжу

и тотчас провалился по пояс.— По такому снегу далеко не уйдешь. Куда только его черти занесли?

К деревенскому магазину братья подъезжали одни. Остальные решили, что Кряжины эту кашу заварили, пусть и расхлебывают — сообщать бабке безотрадную весть никто не хотел, тяжело было даже присутствовать при этом. В доме у Семижильной во всех окнах горел свет, свет рвался наружу сквозь дырявую террасу, даже на столбе у дома мерцал фонарь. С тяжелым сердцем Федор потянул дверь на себя, переступил порог и лишился дара речи: посреди избы живой и здоровый Блаженный парил ноги в тазу с горчицей. От смятения чувств Федора взяла оторопь, он не знал, что делать: сначала дать дураку по уху, а потом спросить, где он был, или сначала спросить, а потом дать.

— Нашелся, нашелся! — спасла положение бабка Нюра.— Скотник Пахом привел — сидел в силосной яме и мяукал, говорит, прятался от какой-то собаки.

— А иду по дороге! — вносит подробности Лешка.— Собака навстречу, глазищи горят, зубищи — во,— Лешка выставляет вперед указательный палец,— ростом с теленка, и хвост по земле саблей. Волк, думаю. Я бежать — она за мной. Куда деваться? Страшно. Тут я в яму почему-то провалился. Чудно, сверху снег лежит, а внизу тепло, как на печке.

— Ясно дело, тепло, дурья твоя голова, силос-то горит.

— Во,— Лешкин рот расплывается в улыбке.— Я хоп и зарылся в него. А собака не уходит, ждет, когда я замерзну и сам вылезу. Жди, жди — меня не проморозишь. Надо, думаю, шипеть и орать, как рысь, волки ведь рысь боятся? А? — тут Лешка издал такой вопль, что стены дома Семижильной содрогнулись от хохота. Братья чуть ли не катались по полу.

— Леха, ты бы еще медведя изобразил, его, наверное, волки еще сильнее боятся.

— Хорошо, хоть так-то орал,— улыбается Семижильная.— С фермы услышали, пришли полюбопытствовать, что за зверь такой завелся в силосной яме, а то сидеть бы там тебе, дураку, до березовых сережек. Идите, сынки, к столу, умаялись — выпейте, закусите — полдеревни с ног свертел, идиотик. Иди и ты, поешь, чадо неразумное! Куда? Ноги об тряпку вытри.

Лешка отламывает себе полбатона хлеба и, воспользовавшись замешательством Семижильной, начинает поливать его сверху из бутылки подсолнечным маслом, затем погружает в сахарницу.

— Что ж ты, дурак, делаешь? Все излил. Кто после тебя сахар есть станет? Куда же моя палка-то делась? Марш на печку!

Лешка, оставляя мокрые следы босых ног на полу, юркает на печку. Через секунду он, свесив златокудрую голову с печки, уписывая при этом батон хлеба, весело наблюдает за происходящим. Дом благоухает сивушным запахом первока и лука. Закуривают. Возле Лешки начинает витать сизая и тонкая причудливая паутина табачного дыма. Лешка пытается поймать эту причудливую кисею, зажать в кулак, и вроде бы схватил, разжимает — ладонь пуста. Блаженного это забавляет. А разговор за столом с каждой стопкой становится все бойче, развязнее. Братья прямо на пол побросали свои полушубки, сняли шарфы, в угол отставили ружья — пьют, едят, балагурят. На улице слышно, как, дожидаясь своих хозяев, от нетерпения поскуливают собаки.

— Какие, Леха, у той собаки зубища были?

— Во! — возводит под потолок указательный перст Блаженный.— Я завтра пойду, следы посмотрю.

— Я тебе посмотрю! — напускает на себя строгость Семижильная.— Я тебе так посмотрю — носа теперь до весны из дома не высунешь. На цепь к сундуку прикую. Всю деревню из-за тебя на ноги подняла, идиотика.

Однако, самогон в графине вскоре кончается — братья начинают собираться.

— Спасибо, сынки милые, уважили старуху. Я бы вам еще налила — есть самогонка, всегда держу про запас — не жалко ее, окаянную, да мороз на дворе больно лют, боюсь, померзните, не могу я того греха себе на душу взять. Вы друг друга из вида не выпускайте, так гуртом и идите — великое счастье вашей матери выпало — четырех таких сынов уродить, один другого краше. Вы не бойтесь, я не сглажу, у меня глаз не черный, дай Бог счастья и вам и детям вашим и ветвям, что от их древа пойдут.

Братья уходят, слышно, как они топчутся в сених, надевают лыжи, покрикивают на собак. Бабка Нюра тушит везде свет в доме, лишь перед черными от времени и копоти иконами ровно мерцает огонек лампы. Затем она долго раздевается, развязывая шнурки многочисленных юбок, подходит к иконам, начинает молиться. Первые слова молитвы Лешка никогда не понимал: «Ежеси на небеси», затем бабка начинает молиться своими словами — здесь уже понятнее. Просит, чтобы Господь простил ей грехи вольные и невольные, явные и тайные, а также сохранил и помиловал ее родных и близких в пути-дорожке и защитил их своим крестным знаменем от лукавого. Далее начинается перечень длинного списка имен за упокой, за здоровье, кого куда и как она их сортирует — Лешке непонятно:

— Раба Ивана, раба Ивана, раба Афанасия, рабу Матрену, — затем опять: раба Ивана, рабу Анфисию, — список бесконечен. — Господи, прости меня, уж не знаю, куда ее приписать — рабу Элеонору. Коли померла, так и быть, царство ей небесное, а коли жива? Это ж какое нужно иметь каменное сердце, чтобы о родном ребенке за двадцать пять лет ни разу не вспомнить?

Лешка знает, это она про его мать. Каждый раз Лешка пытается запомнить это красивое, но отчего-то холодное, как снежная баба, имя, но к утру оно исчезает из его памяти.

— Элеонора, — в задумчивости повторяет Блаженный. — Элеонора, — И вдруг Лешкин разум, словно вспышка света осеняет догадка, он знает, кто его мать. На днях бабка повесила на стенку календарь, на котором, белозубо улыбаясь, в длинном сарафане, расшитом серебром и золотом, с кокошником, усыпанным драгоценными камнями, на голове, широко разведя руки, словно для материнского объятья, красивая, луноликая, была изображена артистка. Позади нее полукругом стоял огромный хор с балалайками, гармошками, ложками, трещотками, бубенцами — много народу, видимо-невидимо, покорно окружало ее, как окружает царицу свита. Оттого-то бабка строго-настрого наказала ему к календарю не подходить. Оттого-то, верно, у Лешки и такой талант петь на свадьбах частушки. Вот она, где скрывалась истина. Ну, ничего, завтра он непременно вырежет из календаря ее портрет и повесит у себя в углу на печке, и будет часами любоваться на нее, внимательно изучая черты родного лица, только бы бабка Нюра ножницы не спрятала.

МУХТАР

Забытым костром догорала осень. Без суеты, без истерики — медленно и торжественно. Мутная бирюза осеннего неба под вечер зарделась на западе золотисто-малиновыми разводами — солнце садилось на мороз. Но вскоре исходящая, словно произрастающая из земли тьма, поглотила и этот прощальный автограф уходящей осени.

Мухтар не видел этого. Его правый глаз ослеп еще в прошлом году, видимо дробинка, начавшая свое путешествие от ушной раковины ко лбу, затронула какой-то нерв, и глаз стал постоянно слезиться, с каждым днем превращаясь в гнойный нарыв, пока навсегда не затянулся белой поволокой, именуемой в народе бельмом. С той поры Мухтар стал передвигаться с постоянно повернутой вправо головой. Это, ко-

нечно, причиняло ему некоторое неудобство, но тут уже, как говорится, спасибо и на этом. Однако, вскоре и левый глаз стал требовать отставки. Вместо предметов он стал рисовать лишь контуры, исчезло боковое зрение, с каждым днем и без того нечеткие очертания предметов становились все более расплывчатыми, пока, наконец, и вовсе не погрузились в мутную, непроглядную тьму. Сейчас он уже с трудом отличал тьму от света, день от ночи. Единственными его поводырями стали нюх, слух и память — цепкая, неподкупная, собачья.

Забившись еще с обеда в будку, Мухтар пребывал в состоянии более близком к смерти, чем к жизни. Его знобило. В этом году он впервые не отлинял по осени. Мудрая мать-природа поскупилась на подшерсток. Да, и действительно, зачем он ему? Он не переживет эту зиму. Ему больше не валяться по белому снегу к метели, устраивая водные процедуры еще не успевшим покинуть шерсть блохам, не хоронить в сугробах про запас не совсем доглоданные кости, не вынюхивать ничьих следов: звериных ли, человеческих, птичьих — его песня, похоже, спета. Ну, и ладно. Может, оно так даже к лучшему.

Спросонья, низким и сиплым голосом, хрипя на высоких нотах, словно с похмелья, оповестил полночь петух Володя. Покойный хозяин за эту особенность исполнения петушиного соло окрестил его Высоцким. Даже заурядное петушиное «ку-ка-ре-ку» Володя выводил темпераментно и раскатисто, налегая на звук «р», издавая утробный львиный рык. Еще он умел петь на заказ, и хозяин постоянно дурачился с ним:

— Володя, спой нам, пожалуйста.

Услышав, что к нему обращаются, расписной кочет с огромными сизыми перьями на хвосте, переливающимися на свету всеми цветами радуги, привередливо начал топтаться на месте и прихлопывать крыльями, дескать, и не в духе я нынче, и не в голосе, да, и с какой стати. Словом, кичился своей популярностью, пока просьба не повторилась несколько раз, затем, как бы переступив через себя, делая огромное одолжение, выдавливал из себя такие звуки, будто его уже наполовину удавили.

— У меня вся скотина музыкальная! — будучи в веселом настроении, любил бахвалиться хозяин перед друзьями-бразниками.

— А сейчас нам Мухтар споет, — хозяин брал в руки баян, — ну, Мухтарушка, давай! Вступаешь на повторение двух последних строчек.

Иногда хозяин пел сам, чаще баян выводил слова самой любимой Мухтаром песни:

*То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит,
То мое, мое сердечко стонет,
Как опавший лист, дрожит...*

И случалось чудо: звуки, издаваемые этим странным предметом, усеянным многочисленными кнопками, вдруг наполняли душу Мухтара каким-то странным, непередаваемым, неподдающимся никаким объяснениям чувством, в котором было все: и боль, и радость, и восторг от соприкосновения с прекрасным и удивительным, и страх за хрупкость и уязвимость этого прекрасного. От смятения чувств шерсть на загривке у Мухтара поднималась дыбом, словно наэлектризованная, а тело делалось невесомым, казалось, что какая-то неведомая сила, словно воздушный поток, подхватывала его и уносила в заоблачную высь, возникало ощущение полета с его упоительным восторгом и сладким, захватывающим дух страхом сорваться с этой божественной высоты четко отточенной, удивительно тоскливой в своем откровении мелодии. И тогда, потеряв контроль над собой, Мухтар начинал выть. Трудно объяснить, почему от музыки хозяина он испытывал сладкую боль.

— Вот кого нужно играть учить, — кивал хозяин на Мухтара в упрек своей доче-

ри Нинке.— У него душа есть. А тебя хоть обучись — все не в коня корм. Эх, Мухтар, Мухтар, и угораздил тебя черт родиться собакой. А, впрочем, может, оно так даже и к лучшему, кому много дано, с того многое и спросится.

В свое время хозяину пророчили большое будущее, перед армией он даже готовился поступать в консерваторию и, видимо, поступил бы, если бы не юношеское бахвальство глупой удалью, из которой он, кстати, не сделал никаких выводов. Захотелось ему однажды на одной дружеской пирушке выбить пробку из бутылки с портвейном — ударил со всей дури по дну бутылки, та возьми и развалилась в форме вилки. Руку врачи спасли, сухожилие зашили, а о консерватории пришлось забыть. Одна забава осталась: на свадьбах играть да с бабками и сопливыми пионерами на смотры художественной самодеятельности ездить.

Теперь хозяина не стало. На дарование петуха Володи было всем наплевать. Петух жил, как все в этом доме, по инерции. По инерции клевал зерно, ради скуки гонялся за курами и в силу природной привычки оповещал полночь. Следом за Володиной голос подал молоденький петушок Рябой, или, как по-другому окрестила его теперешняя хозяйка Нинка, — Недоносок. Жилось Недоноску несладко: Володя отгонял его от зерна, не подпускал к курам и, если случалось настичь, никогда не упустил возможности задать трепку. Разумеется, подобное воспитание не способствовало его физическому развитию. Выглядел он вечно забитым, голодным, с потрепанными перьями и кровоточающим гребнем. Ночевал, где придется: и в будке у Мухтара, и в сарае на дровах, а чаще под порогом дома новой хозяйки.

Петушиный клич подхватили соседские петухи, и он, словно эхо, облетев деревню, сгинул где-то в золотистой мгле лунной ночи. Вновь наступила чуткая и тревожная тишина, навевающая дремотный покой. На дворе спросонья, устраиваясь поудобнее на насесте, время от времени возились куры, беззаботно храпел поросенок, и тяжело вздыхала корова. Ей тоже не пережить эту зиму. Мухтар знал это, знала и корова. Пройдет неделя, другая, и Нинка, скормив ей последние остатки прошлогоднего сена, затхлого и наполовину прелого, сведет ее со двора. Зачем она ей? Надоя зимой с нее нет, да и какой надой при таком уходе? Зато вместо нее у Нинки появятся новые сапоги, которые у нее в скором времени кто-нибудь украдет, или она сама прожжет их на горячей печке, появится дубленка, с которой тоже что-нибудь непременно случится — все пойдет прахом: и скотина, и подворье, и дом, некогда бесконечно любимый, а теперь ставший постылым и ненавистным, который Мухтар охранял шестнадцать лет.

Мухтар очнулся. Холодно, лапы затекли, но не хотелось шевелиться. Он знал, что стоит ему лишь приподняться, как солома мгновенно выстудится, а тупая сверлящая боль в некогда сломанном бедре возобновится с новой силой и, в конце концов, заставит его принять исходное положение.

Когда-то он был молод, молод и, к сожалению, глуп. Нет, он не был первобытным дикарем, но некоторые плоды цивилизации притягивали его к себе как магнит. Вероятно, так привлекают к себе потенциального самоубийцу мосты, удобно расположенные суки, на которые так и просится веревка, заканчивающаяся концом петли, колеса несущегося поезда. Мухтар знал, что машина — это неодушевленный предмет, и ей неведомы ни чувство страха перед преследующим ее волкодавом, ни азарт погони, выявляющий более сильного и выносливого. Как назидательный урок память сохранила почти с документальной точностью событие того рокового дня: мчащуюся машину, вихляющую кузовом по грязи, улыбающегося шофера: его лицо то появляется, то пропадает в зеркале заднего вида, — и его, Мухтара, бегущего почти вплотную с подножкой кабины, и вдруг на какое-то мгновение он замешкался и в следующий миг уже видит надвигающиеся на себя, бешено вращающиеся колеса. А дальше... хмурое лицо хозяина, которого привез тот же самый водитель на место, где

распластавшись в грязной колее лежал Мухтар и пускал в черную лужу кровавые пузыри, ветеринара, который зачем-то подергал его за лапы, за хвост, пощупал шею и позвоночник и лишь пожал плечами:

— Черт его знает, Михалыч, лапы вроде целы, позвоночник — тоже, а что там с ливером, об этом тебе никто не скажет. Может, за границей где кобелям и делают рентген, у нас еще до этого наука не дошла. Скорее всего, все там всмятку. Тут один совет — пристрели, чтобы не мучился, все одно — сдохнет.

Люди удалились. Мухтар закрыл глаза и приготовился к самому худшему. Он по-прежнему любил хозяина и не перестал любить бы, если бы тот его пристрелил. Жизнь не каждому дается. На его глазах часто резали скот: сломал теленок ногу — под нож, подавился горячей картошкой поросенок — то же самое, и он — не исключение из правил, с одной лишь небольшой разницей — его жизнь оборвут не корысти ради, а из сострадания, но легче от этого почему-то становилось. Пристрелит ли его сам хозяин или кого-нибудь попросит? Поднимется ли у него рука? Почему-то очень хотелось, чтобы не поднялась. Вновь зачавкала грязь, шаги приближались, Мухтар сжался, ожидая выстрела, но выстрела не последовало. Его подняли и положили на брезент. Вскоре лошадь, запряженная в телегу, отвезла его домой. Мухтару постелили на террасе. Перед ним стояла чашка с молоком, и хозяин, присев на корточки, осторожно гладил его по голове:

— Нет, брат, тебе умирать нельзя. Где я еще себе такого друга найду? Ты уж давай как-нибудь выкарабкивайся.

Мухтар в ответ лишь поскуливал. У него не было даже сил, чтобы лизнуть хозяйскую руку в знак благодарности.

Случилось чудо — Мухтар поправился. Казалось бы, страшный недуг навсегда оставил его, лапы по-прежнему не знали усталости и исправно, с завидной легкостью носили его почти стокилограммовое тело. Только иногда бедро ныло в непогоду. Но жизнь текла, не меняя своего ритма, круговерть собачьих дел поглощала его, и он вскоре забывал об этой боли, исправно нес службу во дворе, как подобает умному и сильному псу. Теперь бедро болело постоянно, более того, что-то стало неладно с желудком: внутри Мухтар чувствовал постоянное жжение. Подобное он испытывал лишь раз в жизни, когда украл и съел у выпивающих мужиков килограмма три сала, густо посыпанного красным перцем. Тогда, чтобы потушить пожар внутри желудка ему пришлось выпить ведра два воды. Сейчас вода не помогала — напротив, она опускалась на дно желудка, как будто вместо нее он проглотил горсть щебенки. На днях он выплюнул последний клык.

— И чем же это так воняет из твоей поганой пасти? — морщилась Нинка, выливая ему в миску забеленные молоком помои.— Падали, что ль, нажрался, или утроба твоя ненасытная гниет?

Мухтар не любил Нинку, но до вчерашнего дня он терпел ее. Утром, споткнувшись об него на пороге, она ударила его носком сапога. Пнула просто так, ни за что ни про что. Просто она была молода и здорова и еще не совсем проспалась после ночной оргии, а Мухтар был стар и немощен. И угораздило ее попасть именно в больное бедро. Мухтар, как ребенок, зашелся в плач, заскулил навзрыд от боли, от обиды за то, что у него не осталось ни одного клыка, чтобы вонзить его в горло своей обидчицы, ни силы, чтобы допрыгнуть до ненавистного горла. А ведь они росли вместе. Когда Мухтар появился в доме маленьким, похожим на медвежонка щенком, Нинке было пять лет. Повзрослев, Мухтар катал ее в санках, которые хозяин привязывал к нему за ошейник. Потом, когда Нинку уже стали интересоваться мальчишки, Мухтар долгое время выступал в роли ее телохранителя, часами в дождь и в снег ждал ее возле клуба, и не было надежнее и вернее ни защитника, ни провожатого. А то, что душонка у его подопечной была с гнильцой, Мухтар понял давно. Постепенно

эта гниль стала прогрессировать и развиваться, как раковая опухоль, пока, наконец, не проела душу насквозь. Однажды Мухтар сопровождал Нинку в соседнее село на свадьбу. Люди гуляли: пили, пели, плясали, толпы народу сновали то в дом, то из дома — дверь не стояла на пятах, а Мухтар терпеливо лежал в стороне от массового гуляния и ждал свою юную хозяйку. Однако хозяйка незаметно улетучилась со свадьбы, видимо, нашла себе более достойного провожатого. Мухтар продолжал ждать день, второй, утоляя лишь жажду грязной водой из лужи на дороге. На третий день метко кем-то брошенный камень разбил ему голову. Оскалившись, Мухтар отскочил в сторону, но даже тогда не покинул своего поста, пока страшная догадка не осенила его: он понял, что его предали. По возвращении домой Мухтар нашел Нинку в полном здравии, преспокойно лузгающую семечки на скамейке.

— Мухтар, а ты где был?

В ответ Мухтар даже не повел ухом. Нинка для него перестала существовать. Из человека-полубога в его глазах она в одночасье упала до уровня кошек, кур и прочей домашней живности.

До этого для Мухтара также перестала существовать и мать Нинки — жена хозяина, по поводу которой тот шутил, что она у него с вольным распределением, с одной лишь небольшой разницей: Нинка сделалась просто безразличной, мамашку ее Мухтар презирал. Как женщина мамашка была красива и привлекательна, стройна, грациозна и сверх меры кокетлива. И красота ее, и обаяние были с оттенком порочности. От нее даже пахло особенно, не так, как от других женщин — она благоухала ароматом молодой, здоровой и похотливой самки, жаждущей совокупления. Бедный хозяин, неужели он не понимал того, что его женушка похожа на течную сучку, только поведение сучки в брачный период можно найти оправдание, поскольку к смене партнеров ее подталкивает сама природа, и только самое сильное семя дает благодатный всход в ее чреве. К тому же собачьи свадьбы быстротечны: два-три дня, и внезапно взбунтовавшиеся гормоны перестают кружить голову, и Жучка или какая-нибудь там Найда вновь принимается караулить хозяйский дом, готовясь стать заботливой матерью. Нинка росла без матери. Мамашка ее пребывала в вечном поиске личного счастья. Дом хозяина был для нее вроде перевалочной базы, когда один любовник — в прошлом, а другой — лишь в перспективе. Покойный почему-то терпел это. Каждый раз, когда его любвеобильная женушка возвращалась домой, Мухтар закрывал ей собой дорогу, обнажая огромные и изогнутые, как турецкие сабли, клыки.

— Мухтар, ты что, не узнал меня? — премило удивлялась эта заблудшая овца.

В глазах Мухтара горела ненависть. В детстве Нинка ненавидела свою мать, ибо она предала ее, променяла на толпу бывших при ней и последующих любовников. Маленькая Нинка не желала ни видеть ее, ни слышать, ни читать ее писем, ни принимать подарков, но все же их объединяло родство, они были родней, и даже не по крови — по духу. Позже, когда Нинка уже сама стала таскаться по сеновалам, а, вкусив от запретного плода и ощутив всю сладость грехопадения, она смогла понять и даже оправдать поступки матери. Ворон ворону глаз не выклюет, а от осины не родятся апельсины. Вскоре между ними завязались самые дружеские отношения. Покойный хозяин не препятствовал общению матери с дочерью, а зря — прожженная матерая шлюха преподавала теорию прелюбодеяния молоденькой, еще не опытной блуднице, но стремящейся к совершенству на этом поприще — и впрямь, не закапывать в землю единственный талант.

Мухтар имел редкий дар: он мог безошибочно отличить хорошего человека от плохого. Ему достаточно лишь было взглянуть, чтобы понять, кто чем дышит. Иногда он пускал в дом совершенно посторонних людей, зная, что они идут с добрым помыслом, но в то же время своему соседу не давал даже положить руку на хозяйский забор. По странному стечению обстоятельств после смерти хозяина к Нинке

зачастили в гости, как правило, в большинстве своем негодяи. Их выдавал тяжелый запах перегоревшей в желудках сивухи, бегающие глазки, трусливая, крадущаяся походка, которой они проходили мимо него, больного, почти издыхающего пса. Мухтар, как мог, препятствовал этим визитам, но с помощью камней и сапог, брошенных в него юной хозяйкой, ему красноречиво объяснили, что в его услугах здесь больше не нуждаются. Обидно. И все же он прожил счастливую собачью жизнь — есть что вспомнить.

Теплый майский день: пьянящий, щекочущий ноздри запах черемухи, копошащиеся в пыли куры, огромный, как ему тогда казалось, вольер, сваренный из стальных прутьев, и его мать Сара — немецкая овчарка. В этом помете у нее было пять щенков: три сестры и он с братом. Хозяин сразу выбрал его, скорее всего виной тому был необычный окрас: сестры были черные — в мать, брат — ни то ни се, а он унаследовал внешность отца — могучего кавказского волкодава. Серая шерсть отца и вытянутая морда овчарки делали его похожим на волчонка. Прежде чем передать его хозяину, заводчик долго ломался, расхваливая почему-то больше брата, — хозяин настаивал на своем. Наконец они порешили. Мухтара за шиворот вынесли из вольера, хозяин встряхнул его и зачем-то поцеловал в черный, словно намазанный гуталином, нос. Хозяин понравился Мухтару сразу — он излучал какую-то добрую веселость и озорство:

— Ну, за тебя пьем, черт лохматый! Иди, пригуби малость, — хозяин капнул из рюмки на нос Мухтару — тот инстинктивно слизнул. Язык обожгло огнем, в горле запершило, слюна в пасти сделалась горькой и противной. Мухтар замотал головой. — Что, брат, крепка советская власть? Я тебя приучу у бабки самогонку искать, а то она иной раз так запрячет, что сама найти не может. Слушай, а что ты свою собаку Сарой назвал, она у тебя что — еврейка?

— Хрен ее знает, Михалыч, мудрая ли она еврейка или дюже умная немка, но такая пройда — пробу ставить негде. Суди сам. У меня сорок кур-несушек, а яиц — если за неделю десяток наберется, считай, повезло. Вопрос: куда что девается? Сара днем в вольере, ночью курятник закрыт, кошки яйца не едят, крысы столько не перетаскают, хорек первым делом бы всех цыплят порешил. Стал присматриваться. Был у меня маленький кобелек — Дружок, с кошку ростом. Я его вместо звонка держал. И что ты думаешь? Отвернусь, он шмыг в курятник, и оттуда уже яйца в зубах тащит, и что самое интересное, сам не ест, а Саре несет. А эта сволочь днем скорлупу в будку прячет, а ночью на помойке закапывает, и все шито-крыто, комар носу не подточит.

Ликвидировал я дружка. Думаешь, яйца в доме появились? Куры теперь сами у нее в будке несутся. И ничего не попишешь — курицу на цепь не посадишь. Вот и думай, кто она — немка, еврейка или аферистка местного разлива. Изначально я ее Симкой звал. Это уже после истории с Дружком в Сару перекрестил, а ей без разницы, хоть Пенелопой нареки — только жрать давай.

Больше Мухтар о своей матери ничего не слышал. И свидеться им не довелось — мамашка была неместная.

Дома хозяин стал возводить Мухтару хоромы, ибо собачьей будкой это было нельзя назвать. Соседи на это лишь удивленно пожимали плечами: где это видано, чтобы на конуру пускать обрезной липовый тес, да еще при этом стругать каждую доску. Но хозяин был человек вдохновения, и, если он загорелся такой идеей, то ему было не жаль для ее воплощения ни сил, ни средств. Будка получилась на славу: с двускатной крышей, крытая оцинковкой, с дубовым полом — этакий микрокоттедж, не хватало лишь террасы и балкона.

Службе Мухтара никто не учил. Он все постигал сам методом проб и ошибок. В подростковом возрасте Мухтар воровским образом съел трех кур — так уж получилось, ему просто нравилось с ними играть, охотиться понарошку, а когда пойманная

дичь, побывав в его зубах, некстати испусти дух, то не пропадать же добру — приходилось оттащить в кусты и съесть, а перья закопать в бурьяне. Вероятно, сказывались дурные гены его матери Сары. С задушенным петухом его поймал хозяин и задал такую трепку, что у Мухтара на эту пернатую тварь на всю оставшуюся жизнь появилась аллергия. Хозяин бил его по морде еще теплым петухом и приговаривал:

— Не смей трогать кур!

Потом куры клевали у Мухтара из миски, в будке от дождя прятались цыплята. Вообще, он был гостеприимным псом, что с кавказцами случается крайне редко, правда, гостеприимство его распространялось только на хозяйскую живность.

Мухтар терпеть не мог кошек, хотя чувство собственного достоинства потомственного аристократа не позволяло ему сломя голову носиться за ними по округе, но на его пути кошке лучше было не попадаться. Хозяйская же кошка настолько обнаглела, что несколько раз котилась у него в будке, и Мухтар, войдя в положение кормящей матери, неделями мок под дождем на улице. Смешно сказать, однажды он предоставил убежище кролику, который убежал буквально из-под ножа хозяина. Впрочем, кролик оказался на редкость глуп, и, попав на неподконтрольную Мухтару территорию, был съеден деревенскими собаками.

Иногда хозяин обращался к Мухтару за консультацией:

— Мухтар, чья это курица: наша или соседская?

Если Мухтар скалился — курица была чужая, а если равнодушно отворачивался — своя.

— Как ты их различаешь, они же на одну морду? — недоумевал хозяин.

«Чудак-человек, — недоумевал в свою очередь Мухтар, — они и для меня все на одну морду, только пахнут по-разному: у нас курятник из сосны, а у соседей — из осины. Ты и сам, небось, сосну с осиной не спутаешь».

Много было на веку Мухтара и светлого, и доброго, и трагического. Хозяин, будучи личностью неординарной, приучил его ездить с ним в коляске на мотоцикле и однажды взял с собой в Одоев. Там он загулял в свойственной ему манере: широко и весело. Человек он был в округе популярный, и люди, зная его талант, тотчас где-то раздобыли баян, хозяин пробежался по кнопкам, развернул меха, и понеслось. События разворачивались на улице возле пивнушки: пили, пели, плясали, визжали какие-то бабы, прыгали к хозяину на колени и лезли с ним целоваться, — тот особенно не противился. Почти после каждой песни ему подносили рюмку водки, — тот выпивал и, запив пивом, спешил продолжить этот импровизированный концерт. Народ валил валом.

Между тем день клонился к вечеру, а народ все еще требовал продолжения банкета. Затем началась драка, и люди, утратив человеческий облик, разбившись на группы, стали хуже собак, не сумевших поделить кусок мяса. Мухтар осторожно наблюдал за происходящим, поскольку хозяин участия в драке не принимал, а пьяный спал в коляске мотоцикла. Мухтар лежал рядом и выполнял сложную и ответственную миссию телохранителя. Приехала милиция. Люди в форме хотели было до кучи забрать и хозяина, но Мухтар не дал, а подойти к разъяренному волкодаву они не решались. Не решались и стрелять в него из-за боязни попасть в спящего в коляске человека, которого грудью закрывала собака. Однако и оставить это дело просто так они не хотели. Привезли служебную собаку и решили устроить поединок между ней и Мухтаром. Собаки встали друг против друга и, утробно рыча, вздыбив шерсть, оскалились. Привезенная овчарка чувствовала за собой поддержку людей в форме, которые ее всячески подбадривали. На ней лежала ответственность, так сказать, отстаивать честь мундира. Мухтара же на этот роковой бой толкало только одно — любовь к хозяину. На одной стороне стоял закон, а на другой — правда. Всем своим видом Мухтар дал понять, что играть он намерен по-крупному, что из этой схватки только

один из них выйдет живым. Он был готов к смерти. И чем люди в форме сильнее награвливали и прибадривали своего пса, подтягивая его к противнику за ошейник, тем крепче тот упирался всеми лапами и пятился назад. Возможно, он даже не струсил, а просто оказался умнее и благороднее своих хозяев.

Мухтар очнулся. Острая, сверлящая боль в бедре вновь вернула его в мир реальности. Тянуть было больше нельзя. С трудом, по-стариковски, он вылез из будки. Остановился, прислушался. Ткнулся мордой в миску с водой — вода замерзла. Полизал лед. Не полегчало. Попробовал отряхнуться от соломы, словно снятая с чужого плеча, шкура заболталась на позвоночнике, заходила волнами на дряблых мышцах. В доме еще не спали; доносились визгливые пьяные женские голоса, сиплые мужские баритоны. Нинка, видимо, пыталась музицировать, и, словно тоже пьяный, баян лениво и сонно выдавливал из себя слипшиеся, как пельмени, ноты. Судя по потугам, пытались изобразить «Тачанку», но песня не лилась, а получалось какое-то месиво. Мухтар еще немного постоял, послушал и поковылял к выходу.

В саду было настолько тихо, что Мухтар слышал, как, шурша, с яблонь срываются последние листья. Иногда тяжелое, как ядро, ломая сучья, откуда-то с самой макушки падала антоновка — удар, и скованная морозом земля принимала ее глухим гулом. Мухтар двигался, полагаясь только на память. Он мысленно представлял себе и эту лунную прозрачную ночь, и опустевший голый сад, и стежку, петляющую между яблонь. Вот здесь должен быть ручей. Мухтар остановился. Осторожно пощупал лапой. Тонкий, как стекло, лед затрещал от нажима. Ручей перекрывали две доски. Мухтар медлил, боясь оступиться. О том, чтобы перепрыгнуть, нечего было даже и думать. Пошел в обход. Только теперь уже не по тропинке, а вдоль русла ручья, поминутно останавливаясь, приносясь и прислушиваясь. Вновь заскрипел лед. В этом месте ручей должен сужаться — так и есть, перешагнул. С передышками взобрался на небольшой пригорок: повисло сыростью, прелой листвой, истлевшей восковой бумагой и птичьим пометом. В некоторых гнездах от холода ворочались грачи, вероятно тоже старые и больные. Многим из них тоже не пережить эту зиму. Вновь наткнулся на тропинку, сейчас с нее уже нельзя сбиваться, иначе или наткнешься на ограду, или провалишься в свежевырытую могилу. Все же сбился, стукнулся лбом о покосившийся крест и вновь затрусил между могил. Попасть на могилу хозяина не удалось: не смог открыть ограду, хотя изо всех сил дергал лапой за прутья. Прилег рядом с оградой.

То, что хозяин умрет, Мухтар чувствовал своей обостренной звериной натурой. Одно время он даже пытался отвести смерть от дома. В первый раз он почувствовал ее приближение еще ранней весной. Стоял юный, едва-едва проклюнувшийся апрель. Снег почти растаял, но земля еще не отошла от морозов и находилась в каком-то тревожном напряжении, как живое существо, готовящееся разродиться новыми всходами травы, листьев, взрастить поля золотой пшеницы, вынаничить крестьянские огороды, принять с материнской заботливостью мириады всяких тварей. Над миром, как бездонный омут, плескалась ночь. Чуткая тишина напоминала собой перволедок, кажется, выстрели сейчас из ружья или урони баба подойник, и весь мир, дробясь и ломаясь, превратится в хаос. И вдруг Мухтар онемел от ужаса, съежился, сжался в комок под чьим-то пристальным взглядом. Нет, это был даже не взгляд — присутствие кого-то невидимого. Там, за сараем, среди бурьяна и зарослей слив бродило Нечто, и это Нечто наводило панический страх на матерого волкодава. До гортанного зуда захотелось завывать, заскулить и тем самым, быть может, вымолить прощения, но что-то подсказывало, что это бесполезно, ибо призрак, бродивший в ночи, не знает ни жалости, ни пощады. Один раз он уже сделал такую глупость, и Нечто ринулось напролом на его голос. Его не задержал ни прочный хозяйский забор, ни стены дома. Оно обладало уникальным свойством просачиваться, как воздух, в любые щели, про-

ходить сквозь стены, не имея при этом ни запаха, ни цвета. Через несколько дней умерла мать хозяина. Время от времени кто-то из его мохнатых собратьев также был по ночам. Мухтар различал их по голосам и знал, в каком доме следует ждать покойника. Так и случалось. Если смерть явилась за Нинкой, то это полбеда, ради этого не стоило особенно беспокоиться, кстати, при образе жизни, который она вела последнее время, это было немудрено, а если за хозяином?! Мухтар подавился незародившимся воем. Смерть явилась и на следующую ночь, и на последующую. Недельку кряду бродила она возле дома, затем исчезла. Каждое утро Мухтар внимательно заглядывал в лицо хозяина, тщательно обнюхивал его с боязнью найти в нем какие-нибудь перемены. Хозяин был по-прежнему бодр и весел, балагурил, шутил. Постепенно Мухтар успокоился, и жизнь вошла в нормальное русло. Исходя из собственного умозаключения, Мухтар даже хвалил себя за сообразительность — оказывается, смерть слепа и движется на голос. Честь и хвала ему за это, что он не подал голос.

Второй раз смерть появилась у дома хозяина по осени. На сей раз ее визит носил более настойчивый характер. Ее присутствие было еще более зловещим. Дух, злобный призрак, обходил хлев, сарай, дворовые постройки, словно слепо искал кого-то. Мухтар молчал. Каждую ночь смерть приходила снова и снова. Словно поняла, что на сей раз ее не проведешь — она не ошиблась адресом. Требовала дани, жертвы,

Тут случилась еще одна беда — запил хозяин. Он и раньше не был убежденным трезвенником, но на сей раз пил ни на жизнь, а на смерть. А все началось с того, что пришла пора копать картошку. Люди уже давно выкопали, свезли урожай в подвалы и погреба, а хозяйская делянка все еще стояла неубранной. Нинка пропала — ей это было не впервой. Бедный хозяин один ходил с вилами по огороду, ковырял грядки, горбясь под тяжестью ноши, таскал мешки. Впервые Мухтар видел его унылым и подавленным и развлекал, как мог; ловил мышей, гонялся за грачами. Однако усердный труд вскоре надоел хозяину. На следующий день он пригнал трактор и распахал весь огород, привел толпу каких-то полупьяных баб и мужиков с отежшими, подбитыми мордами, и началась «битва за урожай». Огород выкопали за полдня и с истинно русским размахом, славным своей удалью, забубенностью и незнанием чувства меры, отметили это дело. С той поры хозяин не просыхал: глаза ввалились, лицо осунулось, он вдруг не по годам ссутулился, и плечи повисли, словно под грудой какой-то непосильной ноши. А новые друзья день и ночь валили к нему в дом: кто с водкой, кто с самогонкой и празднику этому не предвиделось конца. Мухтар препятствовал этому, бросался в толпу. Друзья-бражники поспешно ретировались. Настроение у Мухтара было хуже некуда, и, не успей кто из них убежать, он, наверное, мог бы загрызть насмерть. Но из дома выходил хозяин и давал добро на визит, не подчиниться ему Мухтар не мог.

А смерть все ходила, выискивала. Мухтар потерял покой; он стал раздражителен, недоверчив, подозрителен, перестал спать и есть, несмотря на то, что во время запоя хозяин кормил его со своего стола: то бросал целый кусок мяса, то ставил перед ним ведро с молоком. Мухтара это не радовало. Ему всюду и во всем мерещилась смерть. Он тщательно обнюхивал каждый знакомый ему с детства предмет, заглядывал в каждый угол, ведь смерть могла принять любой образ, любые очертания. Эта подозрительность сыграла злую шутку с соседским котом Маркизом. Мухтар не любил кошек, но Маркиза он уважал, невольно восхищаясь его удалью и грацией. Кот был настоящий охотник и специализировался в основном на крупных, чуть ли не с него самого ростом, крысах. Ему было все равно, где их ловить, на своем ли подворье или на чужом — его больше интересовал сам процесс охоты. Сколько раз Мухтар наблюдал, как Маркиз волоком тащит ее на порог своему хозяину. Часто маршруты кота проходили через территорию Мухтара. Мухтар, конечно, в панибратство с котом не вступал, но делал вид, что он этого не замечает. Еще одна беда — Маркиз был черен

как сажа, и его глаза в темноте могли светиться фосфорическим светом. Что в ту ночь померещилось Мухтару, что почудилось, но беззаботно идущий на охоту Маркиз не успел даже мяукнуть, стать в кошачью стойку, выгнуть спину, зашипеть, как забился в агонии, да и агония была недолгой. Маркиз лежал, выпучив глаза, с потухшими в них зрачками, он, наверное, так и не понял, что же с ним произошло, а Мухтар обнюхивал его безжизненное тело, извиняясь, лизал языком и толкал лапой — иди, вставай. Маркиз был мертв. Вот ведь странно: существуют тысячи, миллионы способов, как лишить жизни, но нет ни одного, как воскресить.

Находясь уже на грани умственного помешательства, Мухтар тогда решил еще на один ход — обмануть смерть, отвести ее от дома, чтобы она заплутала в лесах, увязла в болотах, подалась в другие края.

Наступила ночь, одна из тех долгих осенних ночей, наполненных последнее время кошмаром. Мухтар выбежал в открытое поле: с одной стороны поле обрамляла лесополоса, с другой темнело пятно леса. Сжатая нива была пуста и гола, лишь кое-где попадались осыпавшиеся от времени колосья пшеницы, которые по чистой случайности миновала железная пасть жатки, и они пролили зерна в землю. Там и сям стояли копна соломы. На всю эту неприглядную картину природного увядания равнодушно взирало холодное мутное небо. Низкие тучи цеплялись за кроны вековых дубов, плющились от столкновения с ними и принимали новые очертания, порывистый ветер подхватывал их и гнал вперед, за линию горизонта, собирая их в стада, или вдруг, внезапно осерчав, разметывал в разные стороны. По мере продвижения туч дождь то накрапывал, то унимался. В мертвецки синем небе, грязном, как осенняя лужа, сиротливо плавала одинокая бледная луна — заплаканная и печальная.

Выбежав на середину поля, Мухтар завыл, завыл и сам не узнал своего голоса — дикого и пронзительного и в то же время дрожащего от страха. Мухтар звал смерть. Он почувствовал по холоду, скользящему по земле, как она двинулась на его зов со стороны леса. А он все продолжал выть, немея от ужаса. Смерть приближалась. Пора уже было бежать, вот уже хилые стебельки пшеницы сникли и припали к земле, а Мухтар все выл и выл, присев на трясущиеся от страха задние лапы, трусливо поджав хвост. И словно кто-то ему отмахку, сигнал к старту — пора! О, что это была за погоня: Мухтар так не бегал отродясь, а ведь по собачьим меркам он был уже глубоким стариком, но в тот момент страх перед чем-то неземным придал ему силу, вернул молодость и прыть. Он не бежал — скользил над землей, летел, не считая версты, леса, поля, луга, лощинки, канавы, в которые он, промахиваясь, падал: главное было — увести смерть. Мухтар кружил по округе, переплывал ручьи, путал, как заяц, следы. Неизвестно, сколько продолжался этот бег, как и неизвестно то, как далеко он убежал. Домой он вернулся лишь под вечер следующего дня, зылся в будку и уснул, даже не притрагиваясь к еде.

После этого случая Мухтар успокоился. Хозяин перестал пить, и дела в доме пошли в гору. Через месяц хозяина не стало, видимо, смерти было наплевать, станет ли выть собака при ее приближении или нет. Она оставила свою черную метку.

Глупая, совершенно нелепая смерть, В тот день хозяин пошел в лес за опятами, Мухтар увязался за ним, но проклятое бедро, как никогда, разболелось. Он плелся за хозяином, волоча заднюю ногу.

— Мухтар, домой! — приказал хозяин, и впервые Мухтар послушался, и впервые хозяин посадил его на цепь.

Хозяин набрал опят, прилег в копну с соломой отдохнуть и уснул. И нужно было тому случиться, что именно эту копну, стоящую посередине поля среди тысячи других копен, сбил грузовик. Ребята тоже ехали с опятами, просто дурачились, без всякого злого умысла.

После похорон хозяина Мухтар ушел из дома и поселился на кладбище. Раскопал

угол могилы, лежал и выл, нагоняя ужас на округу. Уже полностью обессиленного его привезли домой.

Зачем он только тогда выжил? На целый год он пережил своего хозяина. Хорошо бы было сейчас умереть здесь, рядом с самым близким и родным человеком — его Богом, его кумиром, его хозяином. Но — нельзя. Собаке — собачья смерть. Какой умник придумал этот постулат? Бывает, что люди живут хуже собак. И смерть их подчас бывает подлее и презрительней, чем собачья, в человеке ведь столько всего намешано. Он впитал в себя все от примитивной амебы до высшего космического разума, и не всегда самое лучшее. Но так уж, видно, заведено. Осквернять своим телом человеческое кладбище Мухтар не собирался.

О человеческой подлости Мухтар знал и даже не понаслышке. Если бы хозяин не вступился за него в свое время, давным-давно истлели бы его кости в каком-нибудь овраге.

В деревне пошла мода на собачьи шапки. Был налажен целый промысел и по пошиву, и по добыче. Стоит ли говорить, как высоко оценили волчьего окраса шкуру Мухтара. Но он не подозревал об этом, в то время у него были другие заботы — он гулял на собачьей свадьбе. Надо сказать, что жених он был завидный, перед его обаянием и статью не могла устоять ни одна самка. Достойных соперников у него не было — выяснять отношения с волкодавом на любовном поприще местные кобели не решались. Они, лишь злобно косясь, расступались перед ним, как гиены перед пришедшим на водопой львом, однако никогда не упускали возможность отомстить за перенесенное ранее унижение: в самый кульминационный момент, когда собачья любовь достигала высшего своего апогея и Мухтар, связанный с самкой в единое целое, был беспомощен, как новорожденный щенок, обиженные соперники всей стаей набрасывались на него и начинали, как пирании, грызть со всех сторон. В основном, страдали лапы. Сколько раз он приползал домой на одних сухожилиях!

— Что, брат, погулял на свадьбе? — смеялся над ним хозяин, присыпая его раны стрептоцидом. Мухтар в ответ лишь скулил, дескать, ничего не попишешь — зов природы.

Хозяин был тоже не без греха, Мухтар знал всех его пассий, многие из них были женщинами замужними, и ему, обеспечивая безопасность хозяина, приходилось ночами прятаться в кустах, сидеть в засаде, понимая, что они здесь инкогнито. Часто хозяин об этом даже не знал.

Тогда откуда-то из темноты грянул залп, словно плеть хлестнула его по морде, он метнулся в сторону, но даже короткого мгновения Мухтару было достаточно, чтобы разглядеть стрелявшего. Сквозь пороховую гарь он уловил запах его тела, уловил и запомнил. Позже он неоднократно встречал этого человека — обычный деревенский шалопай из разряда мелких негодяев. Такой на крупное не пойдет, но к хозяйскому добру подобного типа лучше не подпускать за версту — никогда не упустит возможность чем-нибудь поживиться. Людская разновидность крысятников. Долгое время Мухтар не подавал вида, что знаком с ним при иных обстоятельствах, но, однако, часто думал о возможности поквитаться. И случай подвернулся. Обидчик сам, пьяный, ночью забрел на хозяйский двор. Тут уж, извините, это были Мухтаровы владения. Мухтар специально пропустил его в глубь двора, чтобы искоренить всякие сомнения в правильности своего поступка, не стал ни гавкать, ни рычать, а одним прыжком, метнувшись из темноты, сбил с ног, придавил к земле и начал рвать. Тот мгновенно протрезвел, заорал благим матом. Его крик только больше разъярил Мухтара. Тогда его, обидчика, спасло только чудо, которое заключалось в воротнике овчинного тулупа. Заполнив собой всю пасть, он мешал перекусить шейные позвонки. На крик из дома выбежал хозяин. От ударов у Мухтара сыпались искры из глаз, но он

не разжимал челюсти. Лишь только тогда, когда сучковатая дубовая палка, раздирая небо, вклинилась между зубов, Мухтару пришлось выпустить жертву.

Утром к хозяину пришел участковый и его упущенная вчера жертва. (Да, так именно и было записано в протоколе: «потерпевший — жертва собачьей агрессии.») И тот, и другой настаивали, чтобы Мухтара пристрелили.

— С какой стати? — возмущался хозяин. — Я, что, его к себе в гости звал? У нас, по-моему, статью о неприкосновенности человеческого жилища в Конституции еще никто не отменял.

— Собака такой породы должна содержаться на цепи или в вольере, — гнул свою линию участковый.

— У меня Мухтар отродясь на цепи не сидел. Тут, справедливости ради, еще неизвестно, кого нужно на цепи держать. С этой шантрапой скоро ни одной курицы не останется. Опроси всю деревню — кого Мухтар укусил? Он по улице бежит, даже на кошек не реагирует, а в доме, за забором, тут — его территория. У тебя служба, и у него служба. Мне самому интересно, почему он на него набросился — голову даю на отсечение, что неспроста.

Спорили долго. Мухтар лежал на пороге дома и внимательно слушал, стараясь не пропустить мельчайших оттенков в интонации говоривших, — решалась его судьба. Его недруг, натура подлая и трусливая, гнул свою линию. Лейтмотив его желаний был, хотя и туманен, но суть их, отбросив лишнее, была ясна. Он требовал компенсации за моральный и физический ущерб. Словом, вертелся, как вошь на гребешке. Ему хотелось, чтобы Мухтара пристрелили, так как боялся, что в следующий раз он его загрызет обязательно. И в то же время уж очень хотелось похмелиться за счет хозяина. Разумеется, если бы Мухтара пустили в расход, ни о какой похмелке речи быть не могло: или, или. Постепенно психология алкоголика начала заглушать инстинкт самосохранения.

— Да не тронет он себя больше, — подливал масла в огонь хозяин.

— Да-а, что у него на уме, — картавил тот, — прихватит где-нибудь — не ото-бьешься.

— Мухтар, — позвал хозяин, открывая дверь дома. — Ко мне!

Мухтар осторожно вошел в дом, встал на пороге. Хозяин вновь позвал — подошел к столу. Увидя перед собой стокилограммового волкодава, участковый непроизвольно потянулся к кобуре. Мухтар смотрел в глаза хозяина и ждал команды.

— Погладь его!

— Ага, прихватит, — сомневался недоеденный.

— Нужен ты ему! Погладь, не бойся. Мужик ты или нет?

К холке Мухтара осторожно потянулась трясущаяся рука, маленькая, корявая, с нарисованными на ней куполами и перстнями, противно пахнущая табаком и мочой. Мухтар втянул голову в плечи и перестал дышать. Большого отвращения он не испытывал никогда в жизни, даже на скотомогильнике, когда видел разлагающиеся трупы животных. Но так было нужно хозяину, и ради этого Мухтар переступил через себя, подавил брезгливость и острую неприязнь и позволил дотронуться до своего затылка.

Час спустя пострадавший уже весело картавил за столом, приставал к молоденькому участковому, сыпал названиями сибирских городов, в которых ему довелось побывать на этапах.

— Все-таки зря тебя Мухтар не съел, — пожалел под конец участковый.

Мухтар очнулся. Пора. Нужно было закончить начатое — совершить свое последнее путешествие. Для этого придется обогнуть деревню и огородами пробраться к лесу. Путь через деревню был намного короче, но Мухтару не хотелось встречаться с собаками, они вряд ли упустят возможность поквитаться с ним за прежние обиды.

Один-единственный раз в жизни Мухтар струсил, смалодушничал и сейчас сожа-

лел об этом. Он тогда был в полном расцвете лет и сил. Стояло зимнее утро, и собаки пировали за телятником, куда скотники выбрасывали дохлых телят. В ту зиму дохло почему-то особенно много и еды хватало всем. Тем не менее, по праву самого сильного лучшие куски доставались Мухтару. Наслаждаясь свежим, тающим в пасти мясом новорожденного телятенка, Мухтар вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд: в метрах трехсот от него, на противоположной стороне лощины, на вершине горы стоял волк и наблюдал за поедающими падаль собаками. Своим спокойствием, презрением во взгляде он словно бросал вызов всей стае. Разумеется, из-за уважения к своей породе первым должен был принять вызов Мухтар. И ему хотелось это сделать, но... было страшно. Его вызывал на поединок не дворовый пес, а зверь — сильный и ловкий, не ведающий ни страха, ни сомнения, добывающий себе пропитание не на помойках, а в смертельных погонях и поединках. Идеальная машина убийства, созданная самой матерью-природой. Мухтар знал, что волк не станет убегать, если кто-нибудь из собак бросится к нему через лощину. Мухтару хотелось сделать этот опрометчивый, но благородный поступок, но только судьба ли ему будет перебежать лощину обратно? Собаки рвали мясо, ссорились между собой и делали вид, что ничего не замечают. И Мухтар уподобился им, демонстративно отвернулся и принялся с большим рвением поглощать телятенка, украдкой косясь на волка. Волк еще немного постоял на вершине горы — красивый, гордый и, не торопясь, затрусил в сторону темнеющего на фоне бледно-синего снега леса. А в глубине души Мухтара навсегда поселилось чувство стыда за минутную трусость. Встреться ему сейчас этот волк — Мухтар бы бросился на него. Это была бы прекрасная смерть для волкодава, о такой развязке жизненной повести можно только мечтать. Но даже самый голодный волк не стал бы убивать подыхающего пса — была охота пасть поганить. А вот его собратья не преминули бы задать ему напоследок трепку,

Здесь, под этим дубом, они с хозяином всегда ставили первую копну. Отдыхали, обедали. Хозяин всегда брал с собой еду на двоих. Себе яйцо, Мухтару яйцо, себе бутерброд и Мухтару тоже. Где-то здесь должна быть его миска, хотя в последнее время хозяин приучил Мухтара пить молоко из ладони. Он складывал ладонь в форме лодочки и потихоньку лил молоко из бутылки, а Мухтар лакал — так было вкуснее. Других помощников, кроме Мухтара, у хозяина не было. Несмотря на всю свою общительность, он был очень одинок. Никто не мог понять его лучше Мухтара.

Мухтар любил этот дуб — могучий, ветвистый, с мощными узловатыми ветвями, коренастый и приземистый. Он, словно воевода, вышел и встал впереди полка. За ним теснилась рать высоких и стройных дубов. Великолепное место, с которого можно отчалить в небытие. Досадно лишь, что рядом проходит дорога, и по весне люди станут воротить носы и плевать в сторону падали. Уже не разбирая дороги, Мухтар поплелся, почти пополз в сторону чащи.

Лес поднимался в гору, поэтому двигаться было особенно трудно. Наконец-то появился какой-то пробел между деревьями — Мухтар больше не наткался на них, под лапами хрустел муравейник. Мухтар лег на него, Снизу от муравейника шло тепло. Где-то там, в подземных галереях, теплились миллиарды жизней. Мороз крепчал. Предзимний лес жил своей ночной жизнью: в опавшей листве под деревьями шуршали мыши, хлопала крыльями какая-то ночная птица, хохотали совы. Круговорот жизни продолжалась. Оставалось еще немного сил. Мухтар сполз с муравейника и вновь устремился вперед, только теперь с помощью одних передних лап передвигая немощное тело. Началось мелколесье, непролазные дебри молоденьких осин и березок. Мухтар застрял в развилке орешника, застрял и стих. Уронил на передние лапы тяжелую голову и провалился в пустоту.

Вновь пропели петухи. На сей раз дебютировал какой-то высокий и чистый тенор. Петушиное соло он пропел легко и непринужденно, словно выдохнул воздух,

сам нарочно прервал устремляющуюся ввысь последнюю ноту, как бы давая понять, что, если потребуется, он может развести ее на несколько октав. Петушиные голоса, передаваемые от одного к другому, будто эстафета, запрыгали, зазвучали, удаляясь в дремотной тишине осенней ночи.

Внизу лежало село. С редкими, тоскливыми желтыми огоньками перед фасадами домов, с дикими запущенными садами, контуры которых едва можно было различить на темно-синем бархате ночи. Деревня напоминала собой терпящее бедствие судно в безбрежном океане Вселенной, затерявшееся во времени и пространстве, пустившееся давным-давно на поиски обетованной земли и счастливой доли. Время шло — жестокое и неумолимое, оно поджимало сроки бесконечного странствия. Менялся курс корабля, менялись капитаны, сомневающих безжалостно выбрасывали за борт, дабы они не вносили смуту в умы и настроения. Иногда впередсмотрящий все-таки надежду, приняв за землю очередной мираж. Суровые ветры времени повыкорчевали с мясом мачты, порвали паруса, вода потекла в трюмы. Усталая, измученная этим безрадостным странствием команда от тоски и безверия, гнетущей безысходности и страха перед надвигающимся будущим завила страшно и безрадостно, с безрассудством и упоением гибельного восторга. Так, кренясь то в одну, то в другую сторону, черпая бортами черную бездну вечности, позабытая всеми, она дрейфовала без руля и без ветрила — бедная пьяная деревня.

РАССКАЗЫ

Геннадий Маркин



ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ

Жаркое июльское солнце, превратившись в огромный остывающий багряный шар, спряталось за верхушки деревьев стоявшего плотной стеной леса. Затих шумный пчелиный звон, стихло многоголосье надоевших за день мух и слепней, и они, удобно устроив себе ночлег, осели в кустарниках дико разросшегося по всей деревне бурьяна. Где-то за рекой, разделившей деревню на левый и правый берега, раздалось лошадиное ржание — Володька Битюк привез сено с поля и теперь вывел лошадь с жеребенком к реке на водопой. Со стороны леса слышалось мычание коров и овечьё блеяние — признак приближающегося к деревне стада. Из оставшихся домов некогда большой и веселой деревни стали выходить люди и, взяв в руки палки и хворостины для погона скота, двинулись к выгону.

Из калитки на самодельной инвалидной коляске выкатился безногий семидесятилетний дед. Отталкиваясь от грешной земли еще сильными руками, он медленно покатился на берег реки. Подкатив к берегу, дед приставил к лицу руку козырьком, долго смотрел в даль реки, в сторону заходящего солнца. Затем достал из кармана обрезанных до культей ватных штанов табак-самосад, скрутил из газеты «козью ножку», с удовольствием закурил, выпуская в небеса серо-синее пахучее облако.

— Здорово, дед Василий! — остановился подле него седоватый, лет пятидесяти мужик.

— Здорово будешь, Иван,— поклонился головой дед.

— Табачком не угостишь? — опершись о палку, спросил Иван.— Табак у тебя отменный, ни у кого больше нет такого табаку.

— Почему же нет! Табаку не жалко, еще созреет.

Дед Василий вновь извлек из кармана пригоршню табака, достал кусок старой, пожелтевшей газеты и протянул Ивану. Иван поводил по газете языком, почмокал и чиркнул спичкой.

— Жарища-то стоит, аж спасу нет! — Иван снял с головы кепку и вытер ею лоб, как бы показывая, какая сегодня стоит небывалая жара.

— Завтра еще жарче будя,— ответил дед Василий,— нынча по новостям говорили.

— А я телевизор уже неделю не смотрю,— опустил рядом с дедом на корточки Иван,— некогда, сено заготавливаю.

— Да,— сморщив лицо, протянул дед,— сено-то — оно нужнее. Нынча день год кормит. Поработаешь день — год сытым будешь, поленишься — побираться зимою пойдешь,— проговорил дед Василий, не отрывая взгляда от реки.

— Как здоровье-то, дед Василий?

— Спасибо, Иван, жив пока.

— Что-то бабки твоей Шурки, не видать. Не заболела ли?

— Ноги у ней больные, мало ходить стала.

Помолчали, попыхивая самокрутками.

— А в мире-то что новенького? — нарушил молчание Иван.

— Самолет опять упал. И что они падают так часто?

— Старые уже, наверно.

— На новые, наверно, денег нету, как ты думаешь, Вань? — вздохнул дед Василий.

— Конечно, нету. Где же их взять-то? Колхоз наш, вспомни, какой был, а теперь, где он, колхоз-то? Нету. Технику распродали, а какую и просто в поле бросили ржаветь. Правление колхоза досками заколотили крест-накрест.

— А, правда, люди гутарят, что его растащили?

— А то нет? Шифер, железо, стекла — все разворовали, а все из-за безденежья. Поля не вспаханы, не засеяны, все дикой травой поросли. Раньше за такое председателю колхоза пинком под зад бы дали да партбилет отобрали бы. Эх! И куда правительство смотрит?!

— Президент в Китай улетел, поклялись с ихним китайским президентом дружить навечно.

— У них, дядь Вась, не президент, а генеральный секретарь. Как у нас Брежнев с Горбачевым были. А с китайцами нам давно нужно было дружбу наладить, а мы все куда-то на Запад лезем, а зачем мы им нужны, Западу, голозадые, кормить нас?

— Ну, ты, Вань, так не говори. Никакие мы не голозадые. Вон по телевизору показывают, какие уфисы в Москве понастроили. Все блестят, как будто их постным маслом намазали.

— Понастроили! Воры и понастроили.

При слове «воры» дед Василий вздохнул и, замолчав, уставился на реку.

— Что-то ты сегодня невеселый, дядь Вась?

— А чему веселиться-то? — дед Василий докурил сигарку и щелчком отбросил окурки в реку. — Нынча ночью опять к нам во двор залезли.

— Что утащили?

— Кастрюлю алюминиевую, что стояла в саду на летней кухне, да ведро, с которым Александра моя по воду ходила.

— Совсем эти пьянчуги обнаглели,— вздохнул Иван,— вон, позавчера к Федоре тоже залезли, корыто украли. Так она пошла к этому проходимцу — Митьке Хорьку, что металл за самогонку скупает, скандал закатила, пугала его милицией и своими сыновьями, что в городе живут.

— Отдал?

— Отдал. Он ее сыновей испугался, они в городе с бандитами знают, а милицию он не боится. От него участковый не вылезает, самогонку ведрами пьет.

— Закрывать-то нельзя, что ли, эти «лавочки» по приему железа, Вань?

— Наверно, нельзя, — вздохнул Иван,— слыхал, они этот алюминий на золото переплавляют, а государству выгодно золото за границу продавать.

— Это, наверно, они свои уфисы в Москве на нашем несчастье построили, как думаешь, Вань?

— А то? — Иван поднялся с земли. — Ну, будь здоров, дядь Вась. Пойду, вон скотину пригнали.

С пригоном скота деревня ожила. Под мычание, блеяние и хлесткие выстрелы кнутовищем пастуха Парамона стали раздаваться знакомые голоса. Кто звал Малышку, кто Белку, кто Зорьку, а кто, вволю наговорившись, передавая друг дружке последние сплетни, теперь разругался, обвиняя в том, что чьи-то овцы бесцеремонно зашли в чужой огород — обычная деревенская жизнь.

«Эх, до чего же дожили,— подумал дед Василий,— воровство, казнокрадство. Порядка нет. А разве раньше такое могло ли быть?»

Деду Василию вспомнились тридцатые годы. Отец, Яков Никитич, умер рано, оставив жене Маланье пятерых детей. Мать, Маланья Егоровна, честно работала в колхозе, но детей поднимала тяжело. Последняя, четырехлетняя Настенька часто и тяжело болела, жили впроголодь. Однажды мать поймал управляющий, как раз в то самое время, когда она собирала в поле колоски, оставшиеся от скошенной пшеницы. Двенадцатилетний Васька сидел на печи и сам, трясаясь от страха за мать, успокаивал плачущих младших братьев и сестер, в то время как мать ползала на коленях перед управляющим и прибывшим из района милиционером, умоляя простить ее ради детей-сирот.

— Что же ты делаешь, Маланья? — строго спрашивал управляющий и сам же отвечал на свой вопрос. — Ты же советскую власть подрываешь. А за это знаешь, что бывает?

Мать в это время кричала и причитала, а сидевший за столом милиционер с коричневой кожаной кобурой на ремне повернул голову к детям и, зло пошевелив усами, уставился на Ваську. Затем, поднявшись и продолжая смотреть на Ваську, отодвинул хромовым сапогом от себя ползающую мать и, взяв со стола недописанный протокол, сказал управляющему:

— Пойдем-ка, Нефед, на улицу перекурим.

Решив, что они вышли посоветаться о том, где им лучше расстрелять мать — в хате или на улице, Васька не выдержал и тоже заплакал. Вошедший спустя несколько минут управляющий склонился к сидевшей на полу матери и заговорил полусшепотом: «Вот что, Маланья, о том, что было, молчи! Никому! Поняла? — Мать молча кивала головой. — И детям скажи, чтобы язык за зубами держали», — уже громко проговорил он и, с силой хлопнув дверью, ушел.

«Да, раньше порядка было больше,— подумал дед Василий. — И в то же время очень уж строго было. За колосок в тюрьму сажали, а то и расстрелять могли. Нет, не жил никогда нормально в России человек, не жил!» — дед вздохнул и, вновь достав горсть табака, запыхтел сигаркой. Оглянувшись на скрип калитки: к нему, прихрамывая на левую ногу и опираясь о палку, шла его жена Александра Николаевна, или, как ее все звали в деревне, баба Шура.

— Что сидишь как истукан, на воду смотришь? — проговорила она. — Иль из-за кастрюли топиться собрался?

— Позавчера к Федоре тоже залезли, корыто украли,— ответил Василий, не обращая внимания на ехидство жены. — Так она пошла к этому Хорьку, ругалась — отдал. Ты бы, мать, тоже к нему сходила, что ли? Скажи, мол, кастрюля последняя была, поесть таперича не в чем приготовить, да и ведро нужно по воду ходить. Скажи ему, старые мы, одинокие, пенсии маленькие, да и те не вовремя дают. Может, пожалеет нас, отдаст посуду-то?!

Митька, прозванный за постоянное жульничество Хорьком, жил в поселке, что в двух километрах от деревни, и, чтобы попасть к нему, бабе Шуре пришлось нелегко. Наконец она подошла к Митькиному дому и постучала в дверь. На пороге появился сам Митька Хорек.

— Чего тебе, бабка? — выставил на бабу Шуру длинный нос Митька.

— Митрий, к тебе ноня ночью кастрюльку люминевую с вядром Коля Цыган али Сашка Чахоточный не приносили?

Митька повертел длинным носом по сторонам, как бы проверяя — нет ли кого рядом с бабой Шурой, а затем уставился на нее взглядом, при этом зрачки его оба глаза скосились к переносице.

— Нету у меня ничего, старуха, нету. Иди с богом домой! — заулыбался Митька.

— Митрий, мы с дедом-инвалидом вдвоем живем, кастрюлька у нас последняя была, боле нету, — начала говорить баба Шура, но Митька уже закрыл дверь.

— Нету у меня ничего! Иди отсюда домой! — донеслось из-за двери.

Постояв немного, баба Шура пошла обратно.

— Не отдал? — встретил ее вопросом дед Василий, как только Александра вошла в дом и уставшая присела на табурет.

— Нет, не отдал, Хорек проклятый! Чтоб яму, Хорьку, подавиться ентими всеми железяками!

Дед Василий подполз к коляске, взобрался на нее и выкатился на улицу.

Баба Шура положила свои маленькие, все в жилах от долгой и тяжелой работы, руки на колени и молча стала смотреть на икону, затем перевела взгляд на фотографию. На фотографии она — молодая и красивая, в белом платье, прислонила украшенную свадебной фатой голову на плечо одетого в строгий темный костюм Василия. Аккуратно уложенные на голове Василия светлые волосы гармонировали со светлой свадебной рубашкой, на которой был повязан темный галстук. Под тиканье старых часов с гириями на старуху нахлынули воспоминания.

Ее молодому женскому счастью помешала начавшаяся вскоре после свадьбы война. Обняв на прощание жену и приказав ей сохранить во что бы то ни стало их будущего ребенка, Василий ушел на фронт. Спустя месяц Александра получила на мужа похоронку — эшелон разбомбили немецкие самолеты, и, будучи в положении, не смогла устоять на ногах от страшного известия — упала в обморок, не выполнив самый главный мужний приказ — сохранить ребенка. Ее в беспамятстве увезли в районную больницу, а когда пришла в себя и узнала о том, что произошло, закричала страшным голосом, забилась в истерике, руки на себя наложить хотела.

После больницы, надев черный траурный платок Александра в деревню возвращаться не захотела — там все напоминало ей о Василии — и уехала к тетке на Урал. Спустя год после освобождения их района от немцев она все-таки вернулась в деревню, где пережившие оккупацию соседи отдали ей письма от... мужа Василия. В письмах он писал, что их эшелон попал под бомбежку, но ему удалось выжить после ранения, а сейчас он воюет. В других письмах Василий спрашивал с тревогой, почему она ему не пишет?

Обезумев от счастья, Александра сразу написала мужу письмо, в котором рассказала ему о постигшем их горе, а затем молилась долго стоя на коленях, благодарила Бога за то, что он сохранил ее Василия. В сорок третьем прибыл на их станцию поезд, в котором домой вернулся изуродованный войной безногий муж.

Ее воспоминания прервал появившийся в дверях Василий.

— На, мать, чугунок. Картох в нем наваришь, что нам с тобою еще надоть? — дед Василий протянул жене старый, грязный, с толстыми боками, как самовар, чугунный котелок.

Александра встала с табурета тяжело — от долгой ходьбы болели ноги и спина и, взяв чугунок, пошла его мыть. Василий включил старый черно-белый телевизор «Рекорд» и собрался посмотреть новости. В это время в доме неожиданно погас свет.

— Шура, посмотри, у нас, наверно, пробки выбило?

Александра зажгла свечу и подошла к электрическому счетчику. Убедившись в том, что счетчик исправен, она решила сходить к соседям и узнать причину отсутствия электричества.

— Провода опять со столба своровали, таперича опять месяц будем без света жить,— вздохнула баба Шура.

Дед Василий подымил самокруткой и, кряхтя, полез на кровать.

— И чаво же к этим ворюгам и пьянчугам никто никаких мер не принимает? — проговорил он, стягивая с себя штаны и пряча под одеяло искалеченные войной культы.— Все железяки в округе потаскали, опять до проводов добрались. Э-э-х!

Утром он спал долго. Проснувшись, слез с кровати, зачерпнул кружкой из деревянной кадки квасу, вытер рукой губы и, запыхтев сигаркой, выкатился на улицу. Мимо не спеша шел Саша Чахоточный. Такое прозвище ему дали из-за того, что во время нахождения его в тюрьме он заболел туберкулезом легких. Сашка был изрядно навеселе. Его грязные брюки были растянуты и наполовину спущены, рубашка разорвана. Обут он был в резиновые калоши на босу ногу, в грязных всклокоченных волосах репы.

— Гуляешь, Санек? — окликнул его дед Василий.

Санек остановился, обернулся на голос, присмотрелся, прищулив один глаз.

— Здорово, дед,— нараспев произнес Сашка, узнав деда Василия. Подошел пошатывающейся походкой и присел рядом с дедом на корточки.

— Дай закурить.

— На, закури,— дед Василий достал табак и протянул его Сашке.

Сашка долго не мог свернуть самокрутку, вертя ее грязными руками. Дед Василий помог ему, зажег и поднес спичку к опухшему, небритому лицу.

— Совсем ты, Санек, опустился,— покачал головой дед,— мать свою скоро в могилу сведешь да и сам гибнешь.

Сашка молча прикуривал и смотрел на деда.

— Хватит, дед, жужжать. Если хочешь, я сейчас и тебе самогоночки принесу. Выпьешь? — выпустив сигаретный дым, проговорил Сашка.

— Не надо мне, Санек, твоей самогоночки. Гуляешь-то на несчастье нашем. У кого кастрюлю украдешь, у кого корыто. Теперь вот провод стащили, всю деревню без света оставили.

— Ты, дед,— вспыхнул Сашка, сжав руки в кулаки,— ты меня за руку ловил?

— Ты, Санек, не кричи,— спокойно проговорил дед Василий,— и кулаками мне не тычь. Я в жизни пострашнее твоих кулаков видал.

— Я провода не воровал! — закричал Сашка.— Моя совесть чиста!

— Ты свою совесть, Санек, в Хорьковой самогонке утопил и душу свою утопил тоже, а теперь сам, бездушный, в ней захлебываешься.

— Ох! Не будь ты, дед, без ног — я бы тебе,— Сашка заскрипел зубами и пошел прочь.

Дед зло плюнул ему в след. На разговор вышла Александра.

— Ты с кем тут разговариваешь-то?

— Да вон, Саша Чахоточный, провода, наверное, уже пропил, с утра пьяный ходит.

Баба Шура вздохнула и присела рядом с мужем на лежавшее бревно.

— Матрену, мать-то свою, мучает, когда пьяный,— грустно проговорила она.— А Матрена уже ходить не может. Говорят, он ей по спине спьяну саданул, и у ей ноги отнялись.

В этот момент, к старикам, плавно урча мотором и переливаясь черным перламутром, подъехал «Мерседес». Из него вышел молодой здоровяк. На его загорелой шее блестела золотая, толщиной в палец, цепь. Из открытого автомобильного окна раздавалась музыка, а сидевшая в салоне блондинка с интересом смотрела на стариков.

— Старичье, у вас молочка купить можно? — уставился здоровяк темными солнцезащитными очками.

— Нету, мялок, мы коровку не держим,— проговорила баба Шура.

— А мяса приобрести?

— Поедешь прямо, через мост, к бывшей железнодорожной станции. На ей тапери-ча беженцы с Кавказу живут. Вот они мясом торгуют, и молочка у их купишь,— ответила Александра.

Здоровяк чему-то ухмыльнулся, вытер ладонь о белые шорты, а затем сел в машину и резко рванул с места, оставив после себя поднятую машиной пыль.

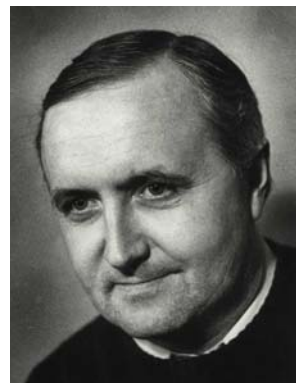
— Не наши,— проговорил дед Василий, когда машина уехала.

— Москвичи. Дом в соседней деревне под дачу купили.

— И все ты у меня, мать, знаешь,— заулыбался дед Василий, обняв жену. А она прислонила голову к нему на плечо, как на свадебной фотографии, и тяжело вздохнула.

Поднявшийся вдруг ветер принес из-за горизонта тучи, затем пошевелил разросшийся и опутавший всю деревню бурьян, дохнул свежестью полей и запахом нектара с луговых цветов, рябью прошелся по реке. Синоптики опять ошиблись. Вскоре пошел долгожданный дождь.

Владимир Сапожников



ПРЕРВАННЫЙ ОТВЕТ

Симпатичная студентка с непослушной челкой темных волос, выбившейся из-под белого колпака, со знанием дела увлеченно рассказывала о причинах внутриутробного инфицирования новорожденных. Профессор следил глазами за ее приятно порозовевшим от волнения свежим личиком и думал о своем.

Настроение у него сегодня с утра было никудышное. Как иногда говорят, встал не с той ноги. Он вспоминал свой вчерашний неприятный разговор с женой. Жена, врач одной из клиник города, пришла вечером с работы уставшая, как всегда, да к тому же в плохом настроении. Получила зарплату — и это вызвало у нее приступ депрессии.

— ...Вот, смотри, Дима, я двадцать пять лет отдала практической медицине, ты — столько же, при этом уже восемь лет, как ты защитил докторскую — а, что мы собственно имеем? Квартиру — на первом этаже хрущобы... Ладно, хоть не на последнем и не боковую... Но первый этаж — это тоже ничего хорошего... Но почему-то наши начальники всегда считали, что, если и давать жилье медикам — то только на первом или последнем этажах — большего мы не заслужили... Дачи у нас нет, машина — старенький «Москвич», доставшийся в наследство от родителей. В отпуск за последние десять лет не можем себе позволить поехать даже на юг, не говоря уже о загранице. Если съездим — не останется денег на покупку зимней одежды и обуви себе и детям... А эта жалкая моя зарплата... Раньше я на месячный оклад хоть могла купить холодильник, а теперь для этого должна работать целый год, при этом ничего не пить и не есть... Разве это зарплата, достойная человека труда? А ты — бегаешь с утра до вечера по подработкам — ну, и что? Толку-то?..

Профессор попытался возразить. Мол, на круг на пяти работах у него выходит в месяц, как у начинающего предпринимателя или квалифицированного рабочего. Что он жить не может без клиники, пациентов, медицины...

— А кто это ценит? Кому это нужно?.. Посмотри, как на тебя смотрят «новые русские» — как на какую-то прислугу, которой можно помыкать... Вспомни, сколько унижений тебе пришлось стерпеть, чтобы собрать спонсорские средства на издание монографии? И это после того, как ты неоднократно вытаскивал их детей и внуков с того света... Я очень жалею, что ты не ушел в бизнес, когда десять лет тому назад все только начиналось... Помнишь, как ты зарабатывал, когда начал заниматься бизнесом?

Дмитрий Петрович вспомнил, как у него действительно неплохо пошло дело, когда на заре перестройки открыл частное предприятие по продаже медоборудования. Даже успешно начал сотрудничать с немцами... Но потом понял, что стоит перед выбором: или торговать, или лечить. Третьего не дано. Бизнес засасывал, как наркотик. И, чем больше зарабатывал денег, тем острее чувствовал, как смыкается вокруг кольцо криминальной среды, которая постепенно начинала все контролировать. Бросить медицину, остаться в бизнесе — означало необходимость обязательного постоянного контакта с этой средой. А зачем тогда шел в медицину? Зачем бегал по-

молодости на бесплатные ночные дежурства, чтобы быстрее освоить свое гуманное ремесло? Зачем слепил глаза над микроскопом, тратил все заработанное на научные разработки и материалы? Зачем делал сначала кандидатскую, затем — докторскую диссертации? А требования к ним тогда были совсем не те, что сейчас, да и научный мир не был подобием сегодняшнего партийно-хозяйственного медицинского актива, сплошь состоящего из директоров, ректоров и главврачей? А сколько нервов сжег, сколько ночей провел без сна, чтобы преодолеть все препятствия, воздвигнутые недоброжелателями на пути успешной защиты своей работы? И все это бросить ради мерзкого занятия по купле-продаже, которым, в чем он убедился, занимались в основном патологически алчные люди, готовые ради наживы продать все, что угодно. И тогда он сделал свой выбор в пользу медицины.

— Да я себе приличное пальто вот уже сколько лет купить не могу — все экономлю... — ворчала жена, раздраженно переворачивая на шипящей сковородке, конечно, подгоревший омлет. — А ты — в одном костюме сколько лет ходишь? Да в нашей стране врачи не нужны никому. Здоровые люди, дети, женщины — тоже не нужны... все заняты активным дележом бывшего общенародного достояния... Вон наш главврач тоже относится к больнице, как к собственной частной вотчине, хотя она не приватизирована пока... Но приносит доход... И только ему... Он — видишь ли у нас менеджер, собирающий дань с пациентов, а мы — профессионалы — безропотные рабы, лечащие этих клиентов по указке хозяина... И попробуй что-то возрази — сразу укажут на дверь, найдут, к чему придраться. А врачей у нас перепроизводство...

— Ну, не все же главврачи — рвачи, есть и нормальные люди — сами живут и другим дают жить... Помнишь, мне предлагали заняться частной практикой в хозяйственной больнице страховой компании «Хирмед»... Но только при одном условии — рекомендовать всем больным распространяемые ими пищевые добавки... А я попросил своих старых друзей из химлаборатории раскрутить эти добавки всеми возможными способами, посмотреть — из чего они состоят... Оказалось, что одни содержат негашеную известь, другие — сильнодействующие гормоны, действительно, вызывающие временный прилив сил у больных...

Жена в сердцах швырнула омлет на его чуть было не лопнувшую тарелку:

— Знаешь, большинство врачей участвуют в этой афере и деньги зарабатывают, а ты, дуралей, отказался, заявил, что не можешь участвовать в том, что может нанести вред пациенту... Ну, и что получил — тут же тебя выжили из этого «Хир-меда». Ты ушел, а они продолжают облапошивать глупых, наивных людей, которые платят бешеные деньги за отраву с названием «Пищевые добавки»...

Я вообще удивляюсь, как это еще молодые люди поступают в медвузы, и конкурсы бешеные... Заканчивают эти вузы, шесть лет пашут как проклятые, и что потом их ждет?..

Дмитрий Петрович неожиданно прервал ответ студентки-отличницы:

— А вы знаете, что ждет вас после окончания медфакультета?

Девушка от неожиданности захлопала длинными ресницами. Другие студенты непонимающе повернули свои лица в сторону преподавателя, не сразу переварив смысл заданного вопроса.

— Да, знаю, — быстро оправилась от смущения студентка. — Низкая зарплата, больше напоминающая социальное пособие для голодающих, многолетнее прозябание в общежитиях, нищета, самодурство чиновников от медицины...

— И это вас не останавливает? Не было мыслей заняться другим делом, например, бизнесом? Вот я более двадцати лет отработал в медицине. Все время ждем улучшения — а его нет... Наверное, и не будет... — неожиданно разоткровенничался профессор.

— Не останавливает. Кто-то же должен спасать людей... Иначе мы вымрем, как нация. Я думаю, что у наших детей должно быть все-таки будущее...

— Ладно. Садитесь. Ставлю вам пятерку,— после некоторой паузы сказал Дмитрий Петрович.

МЕДУЗЫ

Перламутровая, прозрачная до мелких камешков на дне морская вода, пенясь о прибрежную гальку, плескалась о береговую кайму.

Вдали, у горизонта море, казалось, сливалось с голубым небом. И только сероватая раздваивающаяся бесконечная полоска разделяла их. Далекий танкер одиноко и так медленно, как будто не плыл, а застыл на месте, совершал свой рейс.

В это июльское утро в акватории Алупки царствовал штиль. Небольшие волны создавали ощущение ряби в гавани, если на них смотреть с обрыва.

Двенадцатилетний Сережа с мамой, приехавшие на отдых в Крым, расположились на «диком» пляже со смешным названием «Лягушка».

Людей на пляже в этот ранний час собралось не так много, никто не купался.

Сережа разделся, подошел к кромке моря. Потрогал стопой набежавшую зелено-синеватую волну. Вода оказалась совсем нехолодной, даже теплой как парное молоко, каким любила угощать в деревне внука бабушка.

— Мама, пошли скорее купаться! Вода — отличная! — прокричал мальчик и начал продвигаться от берега, постепенно погружаясь в соленую, невесомую, прозрачную воду сначала по щиколотки, затем — по колено, по пояс...

Женщина расстелила на земле зеленое покрывало, сложила аккуратно вещи и последовала его примеру.

Они с Сережей впервые выехали на отдых в Крым, на море, поэтому все увиденное — от затуманенной зубчатой вершины горы Ай-Петри до кипарисов, других диких деревьев до, конечно, бескрайних морских просторов — было сыну в диковинку.

Он удивлялся и узким, извилистым, всегда то с крутыми подъемами, то с такими же крутыми спусками, зеленым, тенистым улочкам приморского городка. Неописуемому крымскому аромату от множества экзотических пальм, айвы, абрикосовых и других фруктовых деревьев, настоящему на запахах, исходящих от сосен, лиственниц, ореховых деревьев. Удивлялся стайкам дельфинов, рыбачащим не так далеко от берега, чьи темные плавники то появлялись, то исчезали в морской синеве. Удивлялся пронзительным, тревожным крикам чаек, высматривающих с высоты свою будущую добычу.

— Мама, посмотри, а кто это?! — встревоженно и удивленно вскричал мальчик, показывая пальцем на окружавшую его, слегка опалесцирующую, пенящуюся морскую воду.

Женщина подошла поближе к сыну. В воде их окружали десятки, сотни колбовидных, похожих на раскрывшиеся парашютики, прозрачных, словно сотворенных из полиэтилена, живых морских существ различной величины. Их было так много, что, казалось, сложно будет протолкнуться, когда погрузишься полностью в воду.

— Не волнуйся, сынок. Это полезные морские создания. Называются медузы. Среди них бывают и такие, которые могут вызвать ожог кожи человека при соприкосновении... Но — те опасные, выглядят по-другому, называются крестовичками... Те же, что окружают нас — совершенно безобидные. Более того — они приносят пользу: очищают морскую воду от ненужных примесей...— объяснила мама и, окунув ладонь, осторожно дотронулась до ближайшей медузы.

Сережа сделал то же самое:

— Мама, она не обжигает, а, как бы ласкает руку! — радостно сообщил он.

— Вот именно! А теперь поплыли — наперегонки с тобой! — с этими словами женщина окунулась и поплыла навстречу набежавшей волне.

Сережа тоже решительно прыгнул вперед, нырнув с головой в такую приятную воду — царство медуз, рыб и дельфинов...

Накупавшись вдоволь, они через некоторое время прилегли на берегу, на покрывале.

Сережа надел темные солнцезащитные очки и сквозь прищуренные щелочки глаз смотрел на небо. Оно казалось таким бездонно-голубым, что мальчику подумалось: «А почему принято считать, что облака пролетают над землей, над нами? А, может, наоборот, мы, земляне, пролетаем над ними, как на космическом корабле под названием «Земля»?...

От размышлений Сергея отвлекли раздавшиеся поблизости чьи-то детские крики и шумное плескание в воде. Мальчик присел на корточки, осмотрелся. Мама, казалось, задремала, разморенная ласкающим южным солнцем. пляж довольно быстро заполнялся все прибывающими отдыхающими: взрослыми и детьми. В море, возле небольшой скалы, где они расположились, стало уже тесно от купающихся.

Кричали трое мальчиков Сережиного возраста, которые невдалеке от берега чем-то шумно бросались друг в друга:

— Держи!.. Попал! — крикнул белобрысый загорелый мальчик и, выхватив что-то из воды, швырнул в своего приятеля.

«Да, они же кидаются медузами!» — дошло до Сергея. Он вскочил со своего места, смело ринулся к жестоким мальчишкам.

— Вы что делаете! — гневно закричал Сережа, вцепившись в занесенную для броска чью-то руку. — Разве можно так поступать!? Они же живые, беззащитные, и приносят только пользу морю и нам!

Белобрысый от неожиданности раскрыл ладонь, и бедная спасенная медуза шлепнулась в воду, тут же раправила прозрачный купол своего парашюта.

— Ты чего лезешь, пацан! Да я тебя сейчас! — недовольно вскричал хулиганивший мальчик, сжимая кулаки и надвигаясь на Сережу.

— Дети, прекратите-ка! — раздался с берега голос мамы. — Он прав: медузы — такие же живые существа, как и мы, и дельфины, и чайки, что кружат над морем. Поэтому их нельзя обижать ни в коем случае!

Мальчики перестали бросаться медузами, ушли плавать подальше от прежнего места.

Мама погладила все еще встревоженного сына по вихрастой голове:

— Молодец, сынок! Нельзя обижать беззащитных и невинных...

А медузы, как показалось Сергею, благодарно покачали ему своими пухлыми телами в прозрачной воде. Одна из них даже нежно коснулась его голени...

ЦЕЛОВАЛЬЩИКИ

— Пропустите... Пропустите нас, пожалуйста, без очереди... Человек кровью истекает!.. — сначала послышались возбужденные голоса с наружной стороны двери в кабинете дежурного врача городского травмпункта.

Затем донеслись звуки шумной возни. Дверная доска заколыхалась, как будто кого-то оттолкнули от нее. И наконец образовалась расширяющаяся щель из-за приоткрываемой двери, и в нее вошли, вернее, ввалились двое посетителей.

Сергей Иванович, молодой врач-травматолог, обратил внимание, что лицо одного из вошедших было густо залито подсыхающей кровью. Кровь застыла и на пальто. В красное были выпачканы руки пострадавшего и сопровождающего — двоих мужчин неопределенного возраста.

Доктор подошел к пациенту поближе, внимательно разглядывая его лицо. В том месте, где должен был находиться кончик носа — у больного зияла рваная рана. Из-под сгустка крови выглядывал наружу белый, голый хрящ.

— Что случилось? При каких обстоятельствах получили травму лица? — спросил Сергей Иванович.

Сопровождающий помог товарищу грузно плюхнуться на кушетку, смарданул в лицо врача густым спиртово-ацетоновым перегаром:

— Да, понимаете,— почему-то шепеляво начал объяснять он.— Мы с Колей сегодня после работы решили немного отметить приближающийся Новый год...

Говорившему явно мешало что-то, что находилось у него за щекой. Опытная медсестра Мария Петровна, много повидавшая на своем веку за время многолетней работы в травмпункте, сообразительно поднесла чистый кювез ко рту шепелявого:

— Ну-ка, быстро сплюнь сюда, что там во рту держишь! А то проглотишь ненайроком!

Тот послушно сплюнул. Сергей Иванович увидел на дне кювеза обслюнявленный, но розовый, сохранный, на вид вполне жизнеспособный огрызок кончика носа.

Шепелявость из речи сопровождающего сразу исчезла:

— В общем, перебрали мы малость с Николой сегодня... Вот и начали по старой дружбе лобызаться... Я как-то увлекся, и не знаю отчего — случайно откусил ему кончик носа... Но, видите, не выплюнул его — держал за щекой... Не проглотил даже...

Сергей Иванович через несколько минут, обработав предварительно обеззараживающими растворами своеобразный трансплантат и укушенную рану лица, приладил кончик носа на свое прежнее место, прихватив его косметическими швами под местной анестезией, так как больной находился под достаточно сильным общим алко-гольным наркозом.

Наложив стерильную повязку, закрывшую среднюю часть лица пациента, сделав ему все принятые в таких случаях внутримышечные введения, медики отпустили подвыпивших друзей восвояси.

После этого эпизода прошел ровно год. Однажды зимним предновогодним вечером Сергей Иванович с трудом забрался, возвращаясь с работы, в переполненный предпразднично возбужденными людьми трамвай.

— О, доктор! Здравствуйте! С приближающимся вас! — окликнул его кто-то из-за спины.

Он обернулся и узнал прошлогодних посетителей травмпункта.

— Здравствуйте, здравствуйте! На этот раз подготовка к празднику проходит без травм? — пошутил врач.

Друзья пьяно заулыбались. Кончик носа у одного из них отлично прирос на прежнем месте — рубец был почти незаметен. Бывший пациент осторожно дотронулся пальцем до места старой травмы:

— Спасибо, доктор... Все удачно обошлось с вашей легкой руки...

— Рад за вас... Старайтесь поменьше кусать друг друга,— рассмеялся Сергей Иванович.

Ирина Складорова



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫБАЛКИ

Ну какая жена выдержит заядлого рыбака-мужа? Собираясь на очередную рыбалку, он два-три дня «мотает» удочки, и все эти дни обрывки лески и крючки валяются по всей квартире. Затем он идет копать на какую-нибудь городскую свалку червей. Накопав, складывает в банку и ставит в холодильник. Банка как-то сама собой случайно открывается, и все черви расползаются по холодильнику. Когда утром его открываешь, то они висят на полках, как спагетти на вилке.

Потом, в три утра, чтобы занять заветное место (только там клюет), муж встает и будит всех в доме. Сначала нужно его накормить, затем с собой чего-нибудь положить перекусить, без выпивки. Потом он всех целует, начиная с жены и кончая собакой, короче, проводы, как на войну. Естественно, после них уже никто не спит.

Где-то с шести часов утра звонят те рыбаки, с которыми муж не поехал на рыбалку, а те, с которыми поехал, звонили в два часа ночи, чтобы не проспал к трем.

Иногда, чтобы после таких проводов не оставаться ночью одной в квартире, и, если в машине находится место для меня и собаки, я тоже выезжаю с мужичками порыбачить. Рыбак из меня не ахти какой, поэтому я больше люблю побродить по берегу, сделать несколько зарисовок окружающих пейзажей или понаблюдать, как рыбаки другие.

Есть у моего мужа один хороший знакомый, Алексей. Удивительный рыбак-теоретик. К рыбалке он относится очень серьезно: выписывает дорогие журналы о рыбалке, читает всякие полезные советы, как лучше поймать рыбу. У него исключительно японские удочки и лески с крючками. Но когда они с мужем едут на рыбалку, то у мужа караси клюют на обыкновенную бамбуковую палку советских времен и простую российскую леску. Японские снасти наши караси что-то не особенно уважают.

Однажды я наблюдала такую картину. Алексей с мужем сидят рядом на берегу обширного водоема и «удят» карасей. Алексей каждую поклевку описывает жене по сотовому телефону:

— Вот, клюнуло, вот, сейчас. Эх, ушел! Эх, сорвался!

Рыба у него клюет вяло, и Алексей начинает рассуждать:

— Погода сегодня неблагоприятная для клева,— произносит он,— давление падает, и ветер южный, а хороший клев бывает только при западном ветре.

— Да, при западном ветре лучше клюет,— соглашается муж и вытаскивает жирного карася.

— В такое время года,— назидательно продолжает Алексей — карась предпочитает биологические приманки преимущественно растительного происхождения, перловку, например, или манку.

— Это точно,— подтверждает муж и бросает в садок очередного карася, пойманного на красного навозного червяка.

— Михалыч, а какой длины у тебя поводки на удочках?— спрашивает Алексей у мужа.

— Где-то сантиметров двадцать — двадцать пять,— отвечает муж.

— Вот, а по науке для карася поводки должны быть девять-двенадцать или дополнительно к основному грузу применяться «подпасок»

Муж не успевает ответить, так как ему снова приходится подсекать и вытаскивать из воды очередного представителя семейства карасевых. Что такое «подпасок», я не знаю, но знаю точно, что никаких «подпасков» мой муж не применяет. У него на конце лески висит свинцовый грузик и поводок с крючком. Так что он сам «пасет» своих карасей и, судя по хорошим уловам, «пасет» неплохо.

Так незаметно за разговорами рыбалка подходит к концу. Мужики сматывают удочки и извлекают из воды садки с рыбой. Садок мужа наполовину полон карасями, улов Алексея значительно скромнее. Муж предлагает теоретику с десяток карасиков, чтобы жена не задавала вопросов, где он провел все это время.

Известно, что самые важные качества для рыбака — это усидчивость, выдержка и терпение. Другой знакомый моего мужа, Владимир — прямая этому противоположность. Но рыбалку любит и неизменно составляет компанию мужу, когда тот собирается порыбачить. Чтобы рыбачить рядом с Вовчиком, нужно иметь адское терпение. Сидеть целый день на стульчике и следить за поплавком — для Вовчика тяжкий труд. Ему необходимо движение, поэтому, когда все рядом сидят и терпеливо выжидают каждый свой момент, он постоянно вскакивает, вытаскивает и опять забрасывает удочки: то ближе, то дальше,— меняет поводки, крючки, наживку, при этом все свои действия комментирует вслух.

Как-то с утра клев не заладился. Большая рыба клевала плохо, да и не могла, а, вернее, не успевала лучше, потому что бешено «долбила», по меткому выражению рыбаков, мелкая рыбешка, уклейка, моментально объедая крючки прежде, чем их могла обнаружить более крупная рыба, и заставляя рыбаков то и дело вытаскивать из воды свои снасти. Все стойко переносили эти временные неудобства, один Вовчик не находил себе места. Он метался по берегу с одного места на другое, забрасывал и перезабрасывал свои удочки, менял глубину и при этом ругался вслух. Наконец его осенило. Он взял большую корку хлеба, насадил ее на крючок так, чтобы она плавала на поверхности, забросил удочку и оттащил ее в сторону от другой. Корку моментально облепила стайка мелких рыбешек.

— Вот здесь и клюй, драная уклейка! — произнес Вовчик, довольный своей выдумкой. Затем он достал из банки дефицитного красного червяка, тщательно насадил на крючок второй удочки и забросил ее подальше от хлебной корки. Поплавок тут же нырнул, Вовчик подсек и...

— Ну и что? Ну вот и все, конец новому червяку,— обреченно вздохнул Вовчик. На крючке весело трепыхалась уклейка чуть больше мизинца.

Вскоре клев налачился, и Володя успокоился. Карасей они с мужем наловили по полсадка.

За рыбный сезон моя квартира превращается в бочку для рыбы. Во всех комнатах стоит запах рыбы, вся кухня в рыбьей чешуе. Все кастрюли в холодильнике забиты жареной и соленой рыбой. На балконе стоит ящик для сушки карасей. Ловля, засолка и сушка идут конвейером. Я закрываю на все эти мучения глаза и в очередной раз прошу мужа ехать на рыбалку. Уж больно сладкие эти караси. А я их так люблю.

ПОБЕДА НА ТЕРЕКЕ

Он родился в реке, которая берет начало в горах Кавказа. Вода в ней мутная и ледяная. Это как раз то, что нужно: в воде тебя никто не видит, а ты видишь всех, да и в жару сидеть в ней одно удовольствие. Охотиться он начал с раннего детства. На мелочь охотиться не очень интересно, никакого азарта, одна скукота. Интереснее охотиться у поверхности воды возле берега. Однажды утку поймал за ногу, то-то крику было на всю реку. Правда, нет, но поговаривали, что его дед утащил на дно целого поросенка. Вот это настоящая охота!

С годами он становился осторожнее и мудрее. Все больше и больше его интересовали люди: уж больно прыткие они были. Так ловко обманывали усачей, чернобрюшек, пескарей и других обитателей Терека. Он наблюдал за людьми и все больше убеждался, что они очень хитрые. Заплыв в тихую заводь, где любила плавать мелкая рыбешка, он черпал ртом воду вместе с рыбой, пока досыта не набивал себе брюхо. Люди тоже охотились на мелкую рыбу, но всегда мечтали поймать его, хозяина Терека. Он слушал их бредовые разговоры о том, как его лучше поймать, и усмехался. Чтобы его поймать, нужно родиться на этой реке, нужно ее хорошо знать и любить. Но самое главное, обмануть его, а этого еще никому не удавалось. Какие бы приманки ни ставили эти хитрые людишки, он всегда угадывал, где ловушка, и никогда не попадался. Правда, были моменты, когда, сильно голодный, он захватывал рыбешку вместе с крючком, но это все ерунда: один рывок головой, и на берегу раздавались вопли неудачливых рыбаков.

Жилище он себе выбрал отменное: затонувшую еще во время войны немецкую баржу. Там его никто не поймает. Как-то в нее набилось немцев, как в бочку селедки, а русские летчики взяли и потопили ее. Долго пришлось плевать немецкими пуговицами, да и сапоги с широкими голенищами застревали в горле. Надолго он их запомнил. Ну зачем им такие широкие голенища? Как-то слышал, два рыбака говорили на берегу о том, что у немцев были ручные гранаты с длинными ручками, которые очень далеко летели при броске. Вот немцы и набивали ими широкие голенища своих сапог.

Да, за его долгую жизнь чего только ни случалось на этой реке. И все-таки со страшной силой, всеми жабрами своей души он ее любил, все ее заводи и перекаты, глубины и мелководья.

Как-то вечером он заплыв на один уютненький перекатик за мостом, повеселился от души. Надолго запомнят его эти жирные чернобрюшки. Ох, сколько он их съел! Потом так крепко заснул, что не заметил, как очутился на мелководье кверху брюхом. А тут рядом оказался какой-то рыбачок, подумал, что лежитдохлая рыба, и решил провести рукой вокруг головы, нет ли лески. Тут он проснулся, быстро перевернулся на брюхо и дал «стрекача». Но мужик оказался из проворных, быстро вскочил ему на спину и ухватился двумя руками за плавники. Сом на всей скорости ушел под воду и метра три прокатил рыбака на спине. Так состоялась их первая встреча.

Он родился и вырос возле реки, которая берет начало в кавказских горах. С самого раннего детства бегал с братьями на Терек ловить рыбу. Вставали до восхода солнца и бежали на рыбалку. Было очень страшно: вокруг темный лес, громко кричал филин, каждая палочка на тропинке казалась гадюкой, но страсть к рыбалке преодолевала все страхи. И она сохранилась на всю долгую жизнь. Даже когда служил в армии, в пилотке носил леску и крючки. Но, конечно, больше всего на свете он любил рыбачить в реке, на которой родился и вырос. Он любил ее со страшной силой всей душой и сердцем. Знал все ее заводи и перекаты.

Как-то рано утром сидел с удочкой и ловил мелкую рыбешку, втайне мечтая поймать его, хозяина Терека. Зацепив пойманную чернобрюшку за спину, забросил

снасть далеко от берега. Леску повело и сильно рвануло. Рыбак вытащил удочку и увидел, что крючок был разогнут. Значит клюнула крупная рыба. Быстро сменив крючок на больший и насадив новую рыбешку, зашел по колени в воду и снова закинул удочку. Но чернобрюшка, почуяв исходящую из глубины опасность, стала прятаться за ноги рыбака. Он уже достаточно хорошо изучил повадки крупной рыбы и знал, что из воды она отлично видит. Закрепив удилище, рыбак отошел подальше от воды и стал ждать.

Подошла знакомая женщина, рыбачка, и стала с ним разговаривать.

— Смотри! Смотри! — вдруг закричала она, показывая на реку. Из воды выпрыгивал сом громадных размеров, выписывая на поверхности невероятные пируэты. Рыбак что есть мочи побежал к удилищу. В это время оно вырвалось и взлетело в воздух, но он успел поймать его на лету. Сразу почувствовал, что его тянет в глубину крупная рыба, но на себя тащить было нельзя, оборвется леска, и он потихоньку стал заходить в воду. Вот уже вода по грудь, тогда осторожно натягивая леску, двинулся назад. Это продолжалось довольно долго, пока сом не понял, что его поймали. Из всех сил он рванулся и ударил человека по ногам, надеясь свалить его в воду. Но тот устоял. Опытный рыбак вытянул руку с удилищем вперед и не позволил рыбе еще раз подплыть к себе. Знакомая рыбачка побежала и принесла большой кол, чтобы оглушить сома.

А рыбак, пока боролся с рыбой, все время думал, как ее вытащить на берег. Колом бить нельзя, сорвется с крючка. Приподняв голову сома, он увидел, что крючок наполовину разогнут. Положение было критическое, так как в любой момент сом мог сорваться и уйти. Тогда рыбак позвал женщину и отдал ей удилище, попросив не тащить на себя, но и не отпускать. Зайдя в воду поглубже, он увидел, что обессиленный борьбой сом лежит как бревно. По его просьбе женщина натянула леску, открыв сому рот. Осторожно засунув руку в пасть, он схватил его за жабры. Конечно, рыбак очень сильно рисковал, но иного выхода у него не было. Тащить на берег рыбу за леску было нельзя. Он выволок сома на берег, но руку вытащить из зубастой пасти не смог. На помощь подоспела знакомая женщина. Она воткнула кол в пасть и разжала рыбе челюсти.

Возникла новая проблема: как притащить огромную рыбу домой? Выручил обыкновенный садок для рыбы. Им он зацепил сома за жабры, закинул его на спину и потащил. Хвост сома волочился по земле. Люди с ближайших улиц сбегались посмотреть на редкое зрелище.

Мне было десять лет, когда мой отец поймал эту рыбину. Дома, окружив всем семейством пойманное чудовище, мы поняли, какую победу на воде одержал наш отец.

БОМЖИК ВАЛЬКА

Жил в живописном уголке нашего города обыкновенный бомжик Валька. У него голубые добрые глаза, лицо, заросшее щетиной, как у молодого дикого поросенка. Да вдобавок он еще не мылся года два, и его кожа была черного цвета, почти как у настоящего негра. На голове у Вальки торчали в разные стороны уши от жеваной-пережеванной солдатской шапки. Одет он был в теплое женское пальто, а обут в здоровенные кирзовые сапоги.

Валька целыми днями шатался, в полном смысле этого слова, по парку и приставал к ответственным работникам летнего кафе, чтобы его взяли на работу хотя бы дворником. Но на работу его брать никто не хотел, так как он не имел «товарного вида».

Каждое утро, гуляя со своей собакой Джеком по парку, по берегу пруда, я наблюдала одну и ту же картину: бомжик, шатаясь, ходил за строгими, обтянутыми кожаными куртками начальниками и жалобно просил взять его на работу.

Как-то, проходя мимо него, я спросила:

— Ты сколько дней не ел?

— Четыре дня,— ответил он слабым голосом.

Так вот почему он еле ползает и его шатает из стороны в сторону! Как будто гром грянул над моей головой. Крикнув бомжику, чтобы он ждал, я побежала с Джеком домой. Схватила, что было дома из еды, заварила крепкий чай и принесла все это в парк. Подошла к голодному человеку и заглянула ему в глаза. Я вообще люблю смотреть людям в глаза, чего там, на самом дне души, только не увидишь: и жадность, и чванство, и злость, и многое другое. А здесь, на черном, обмороженном лице под драной шапкой я увидела два сияющих голубым цветом василька. Никогда в жизни я не встречала ничего подобного. Под норковой шапкой такого не увидишь.

— Тебя как зовут?

— Валька,— ответил он,— или просто Валек.

— Так вот, Валек, я пойду домой и принесу тебе кое-какие вещи, а ты стой здесь и жди меня. Хорошие слова «Жди меня», скольких людей они спасли.

Какие-то вещи были новые, какие-то немного поношенные. Я отнесла их на берег пруда, где ждал Валька. Прежде, чем одеть их, он разделся и ополоснулся в холодной воде, как следует намылив себя мылом. Импортный бритвенный станок русскую щетину сбрить не смог, пришлось Вальке небритым предстать перед начальниками, но, увы, опять экзамен не сдал.

Я привела Вальку домой и разрешила ему принять ванну. Он в ней сидел, наверное, часа три, отмокал, потом вылез, побрился и подстригся. Затем оделся, я побрызгала его одеколоном, и мы снова пошли устраивать его на работу. На этот раз сработало. Самый главный начальник подошел, посмотрел на Вальку и сказал:

— Уж очень чисто одет, надо бы что-нибудь похуже, сейчас ведь будет красить.

Красить нужно было длиннющий забор на мосту, протянувшимся через весь пруд. С одной стороны его красили два мужика, уже изрядно принявшие на грудь, а с другой стороны мой Валька. Я очень за него переживала, но, как оказалось, напрасно. К концу дня он один покрасил забора в два раза больше, чем двое здоровенных мужиков. На работе его накормили обедом.

— Спасибо вам, добрые люди,— поблагодарил всех Валентин Федорович.

ЛЮБОВЬ — ЭТО ВСЕ!

Я долго ждал ее возле запертых ворот. Набрался терпения и ждал. Наконец она появилась — женщина моей мечты. Конечно не совсем то, о чем мечталось, но на безрыбье и рак — рыба.

Она еле двигала ногами и помогала себе костылем. Когда «подползла» поближе, тут уж я рассмотрел ее в упор. Улыбка голливудская, ненатуральная. Ну, о ногах я вообще промолчу, не успеет убежать ни от одной собаки, хотя костыль в руке — это сила, но я тогда об этом еще ничего не знал. Хвоста у нее не было — купирован. Я подбежал к ней и заглянул в глаза. Ребята, поверьте, что-то в этой бабе было.

Она наклонилась ко мне и стала гладить. А я улетел от счастья. Наши души слились и тихо зазвенели.

Ну, мой хозяин, видя такую обоюдную любовь, сразу вдвое поднял за меня цену. Я смотрел на нее преданными глазами и умолял:

— Дорогая, только заплати. Забери меня. Деньги — ерунда, а любовь — это все!

Конечно, ради нее она сразу раскошелилась. Прощайте, голодные дни и некупанные блошинные месяцы.

Если верить легенде моего бывшего хозяина, отец мой участвовал в Чеченской войне, а также принимал участие в собачьих боях, так как был из чистейшей бойцов-

ской породы. Позже знающие спецы определили, что у меня задние ноги короткие, и большой бой я не выдержу. На полтора часа меня не хватит, только минут на пятнадцать. Представление о своей участи, если останусь на Кавказе, я уже сделал — собачье мясо. Поэтому у меня были мечты о женщине, которая бы меня купила за любые деньги, кормила, любила. И они сбылись...

Для проезда на поезде нужны были паспорт и билет. Все как у людей. В паспорте она написала имя Джек, а фамилию — Потрошитель. Кто читал мои документы, смеялся от души: я был размером с кошку.

Мы зашли с ней в вагон. В купе полно мужиков, курят, играют в карты, пьют. Один громадный, в очках, сидел в углу и в этих мужских безобразиях не участвовал. Моя женщина попросила всех выйти, никто даже ухом не повел. Тогда она оставила меня в купе, назвала мое имя, фамилию и побежала на перрон за чемоданами. Ну, я пару раз рывкнул. Когда она вернулась, в купе сидел один громадный, остальных как ветром сдуло.

Оказалось, этот мужик — собаковод, ехал до самой столицы. Всю дорогу он ее дрессировал, как меня правильно воспитывать. Ох, и досталось же ей!

В Тулу мы приехали поздно ночью. Стоим с ней в тамбуре, открывается дверь и подбегает какой-то маленький серенький мужичонка. Хватает в одну руку мою женщину, в другую все чемоданы и меня. Выскочил из вагона и прыг-прыг по мосту через пути, шустрый такой. И целует ее, и целует. Оказалось, ейный муж. Ну, она баба неглупая, сразу сказала ему, что у меня день рождения двадцать третьего февраля. А он родился двумя днями раньше. Вы бы видели, что тут началось. Он ее сразу целовать перестал и на меня накинулся, как собака, хоть намордник одевай. Я хвост поджал, терплю. Хотя на кой ляд мне эти мужские лобзания. Я хозяйку люблю.

Приехали домой. Он с ней в комнате остался, а меня за дверь выкинул. Это, мол, моя женщина. Целый месяц я спал возле ее кровати, охранял, защищал, а этот сморчок взял меня вот так и вышвырнул. Короче, дал понять, кто в доме хозяин. И вообще...

Ну, я тоже не дурак. Сразу нос по ветру. Любить женщину люблю, а вот хозяин — это святое. Когда он вечером возвращается с работы и на автобусе подъезжает к нашей Маргеловке, я уже сижу возле двери. Он заходит, я сразу вскакиваю, два раза аллюром вокруг, это как положено, потом тапочки и все такое.

Когда он ест на кухне, то мне всегда кусочек даст со стола, хотя женщина и ругается. А когда хозяин ложится на диван, я такое с ним проделываю. Каждый палец на ноге промассирую языком и блошек для приличия поищу. Хозяин млеет и засыпает. Много есть желающих, которые мне в морду суют свои ноги, но они мне не нужны. Их много, а хозяин один.

Хороший он мужик, добрый. Никогда не дерется. Жену свою ни разу не бил, хотя она очень суетливая. Все боится, чтобы я не потолстел, а сама всю жизнь на диете. Придумала сделать из меня футболиста. Купила мне мяч, одела намордник и погнала на футбольное поле. А там пятнадцать мордоворотов против меня одного. Ну я их и сделал: три — ноль в мою пользу. Теперь все меня уважают. При встрече лапу просят пожать, я подаю, но колбасу за это никто не дает, а положено!

Хотят еще фильм про меня снять и на телевидение отправить. Пусть снимают, мне не жалко.

Лариса Бурцева



И ВНОВЬ ЗАХОЧЕТСЯ ПОЛЕТА...

Виктору Пахомову посвящается

Неожиданный летний дождь бесстыдно заливал внутрь «Газели». Пассажиры, возмущаясь, ругали водителя. Он извинялся, оправдываясь, что как раз ехал в гараж ремонтировать люк, который не закрывался, а по пути решил подвезти людей, чтобы не мокли на остановке.

Девушка в светлой юбке пострадала больше всех, потому что на нее лило не только сверху, мокрой оказалась еще и драпировка сиденья.

— На улице хоть зонтик можно открыть или в магазин зайти — переждать ливень, а у вас в машине даже пересесть некуда, — выговаривала она водителю и на следующей же остановке вышла, хлопнув дверью и не заплатив за проезд. За ней следом выскочил молодой человек, сидевший рядом, на которого тоже летели брызги с потолка машины. Следуя примеру девушки, и он не стал платить.

На остальных пассажиров не капало, поэтому больше никто не возмущался. Машина не успела тронуться с остановки, как с улицы кто-то стал ожесточенно дергать за ручку. Из салона попробовали ему помочь, но внутри что-то заскрежетало и дверь, отъехав на несколько сантиметров, застопорилась, не выдержав этих пыток. Пассажир с улицы пытался протиснуться в образовавшуюся щель, но его объемы явно не вписывались в эти размеры.

— Гражданин, не ломайте дверь, — закричал водитель, и поспешно выскочив на улицу, попытался поставить дверь на место. У него ничего не получалось. Взяв у себя в кабинке монтировку, он стал греметь ею где-то под машиной.

Первой заволновалась полная женщина с заднего сиденья:

— Почему мы стоим, я опаздываю!

— Не видишь, у него не только крыша худая, но и дверь сломана, — ответила ей соседка с большой хозяйственной сумкой на колесиках и добавила: — Теперь вообще неизвестно когда и как отсюда выберемся.

В воздухе повисла гнетущая тишина. Каждый по своему «переваривал» эти слова.

— Если что, можно через передние двери вылезти, — заметил мужчина с бокового сиденья.

— Я туда не перелезу, — заметила женщина, которая куда-то опаздывала.

— Можно через окно, если форточку открыть, — заметила девчушка-подросток.

— Это ты можешь в форточку, а я не смогу, — нервничала все та же полная женщина.

— Давайте я выбью стекло, тогда все смогут выйти, — предложил коротко подстриженный молодой человек.

На какое-то время все замолчали, видимо, представляя, как это сделает каждый из них.

Водитель был занят ремонтом двери и ничего не слышал. За окнами поливал дождь, а в салоне «Газели» нарастала паника.

«Еще минута-другая, и люди действительно начнут бить стекла», — подумал полноватый мужчина с крупной родинкой на правой щеке.

Он понимал, что необходимо что-то срочно предпринять, чтобы не допустить этого.

И вдруг в салоне зазвучали необычные слова. Кто-то начал читать стихи. Сначала негромко, а когда люди стали прислушиваться, мужской голос окреп:

*Обману свою беду:
Не найдет меня по следу!
Сгину, кану, пропаду,
Не сказав, куда уеду.
Дни, недели и года
Проживу в тоске и муке...*

В этот момент что-то щелкнуло, дверь подалась и встала на место. Потом водитель снова ее открыл и спросил:

— Кто-то хотел выйти? Идите, я не буду брать за проезд.

Его слова канули в тишину. Все, молча, посмотрели на читавшего стихи, и женщина, которая раньше куда-то спешила, спросила: «А что было дальше?»

Дверь захлопнулась, маршрутка тронулась и помчалась сквозь проливной дождь, а в салоне продолжали звучать стихи... Стихи о душе, которая верит в любовь и мечтает о полете...

ОМЕГА

*«Альфа», «Альфа», я «Омега»,
как слышишь? Прием...*

Они познакомились в престижном салоне на выставке антиквариата. Ольга и Катерина любили посещать модные тусовки, где собирался столичный бомонд. Приглашение на презентацию достать было сложно, но Катя работала менеджером по продажам в крупном издательстве, и у нее имелись связи, которые позволяли бывать на самых значительных мероприятиях культурной жизни столицы. Сегодня они встретили много своих знакомых, театральных завсегдатаев, но были и новые лица.

Проходя от одной экспозиции к другой, Ольга часто обращалась к подруге с вопросами, и та коротко, насколько это можно было, и доходчиво отвечала на них.

— Откуда ты все знаешь? — удивлялась Ольга. — Наверное, на работе книжки умные читаешь?

— Не только там, но и дома. Мне это интересно, в отличие от некоторых, и необходимо для дела. Ты послушай, о чем люди говорят.

— Скульптура этой девушки выполнена в стиле рококо. Какое изящество, какая изысканность и отточенность всех линий, какая бездумная радость жизни на лице, так и хочется обнять ее, — ворковал молодой человек с рыжей вьющейся бородкой, обращаясь к своей юной спутнице. А та прижималась к нему все теснее, будто хотела предложить себя вместо этого шедевра XVIII века.

Ольга пыталась сдержать улыбку и отвернулась в другую сторону.

— Расправиться с мелкими конкурентами сейчас очень легко — их надо просто «съесть», — услышала она еще один разговор, который поверг ее в шок.

— Вот что занимает сегодня новых русских на таких культурных мероприятиях, далеких от бизнеса,— заметила Катерина.— Ну что, пойдём дальше или ты тут останешься? Кажется, вон тот молодой бизнесмен с усиками обратил на тебя внимание.

— Нет, пойду с тобой,— ответила Ольга, мельком взглянув на указанного человека.— Он не в моем вкусе.

— Ну почему же? Смотри, как он модно «упакован», как дорого от него пахнет. Разве ты не это ценишь в нынешних мужчинах? — с легкой иронией спросила Катерина. Она была постарше Ольги. Взгляды их не во всем совпадали, однако это не мешало их дружбе. Они познакомились в книжном магазине, когда Катерина работала там продавцом. Ольга росла в обеспеченной семье избалованным, но не испорченным ребенком и завидовала Кате в ее умении самостоятельно принимать верные решения, не надеясь ни на чью помощь и поддержку. У Кати не было влиятельных знакомых и родственников, и все, чего она добилась в жизни, было плодом ее каждодневного труда. Она работала над своим образованием, много читала. Не бывая нигде за границей, могла часами рассказывать об известных музеях мира, о красотах Парижа и Венеции, об архитектуре чопорного Лондона.

Через час, порядком устав, они решили пойти в кафе послушать музыку, выпить кофе. Но как же они были удивлены, увидев у входа тех двоих мужчин, которые делились опытом выживания в наше время.

— Девушки, а мы вас ждем,— сказал тот, что моложе.— Вы, наверное, устали от впечатлений, пойдёте где-нибудь посидим.

Ольга и Катерина в недоумении переглянулись.

— Да вы не подумайте чего плохого, — снова заговорил он.— Мы с другом посмотрели на всю эту публику и заметили, что вы с большим интересом рассматривали экспонаты. Вот и решили спросить у вас о некоторых из них.

Он посмотрел на Ольгу, потом на Катю, пытаясь понять, за кем будет решающее слово. Ольга растерянно промолчала, хотя предложение провести время в кругу интересных мужчин ей льстило, а Катерина, заинтересовавшись духовным миром новых бизнесменов, неожиданно для себя согласилась.

В небольшом уютном ресторанчике, где звучала приятная тихая музыка, они познакомились поближе. Олег сразу стал ухаживать за Ольгой, и Катя поняла, почему их заинтересовали «экспонаты выставки». Его друг Вадим больше молчал, внимательно слушая Катерину, которая умела не только поддержать разговор, но и направить его в нужное русло. Ближе к полуночи разговорился и Вадим.

— Олег мне, как брат,— рассказывал он Кате историю их дружбы, выдыхая дым дорогих сигарет далеко в сторону.— Мы знакомы давно. Олег служил в спецподразделении, и на некоторые операции мы выезжали вместе. Он зря не рисковал собой, не подводил товарищей, в решающий момент действовал молниеносно и уверенно, что очень важно для благополучного исхода дела. А потом вдруг написал рапорт об увольнении. Кое-кто подумал, что сломался парень, а он просто влюбился и не хотел, чтобы дорогой ему человек переживал всякий раз, когда приходилось уезжать в командировку. Я считаю, это решение сильного человека. Не всякий наш боец, находясь в расцвете физических сил и переживший немало трудностей вместе с друзьями, способен на такой шаг. Они поженились, но что-то у них не сложилось, и жена ушла от него...

— Вот ведь как бывает,— закончил Вадим, поглядывая на Олега, который танцевал с Ольгой и что-то увлеченно рассказывал ей.— Ваша подруга — симпатичная девушка, но вот уже три года Олег ни с кем серьезно не встречается. Не верит.

Катя с благодарностью посмотрела на Вадима. Он не только за своего друга переживает, и это чувствовалось в каждом его слове, но и о совсем незнакомой ему девушке беспокоится, чтобы та по молодости глупостей не натворила. «В наше время

это большая редкость — подумала Катя — Наоборот, большинство мужчин только сами собой озабочены, а этот...»

— Я думаю, у них взаимно пропадет интерес,— ответила она, вспомнив, как Ольга заметила еще там, на выставке, что Олег не в ее вкусе.— Ольга молода, ее привлекают интересные знакомства, новые впечатления, но к серьезному шагу она еще не готова. А что было с Олегом потом? Чем он сейчас занимается? — спросила Катя, которую смутил пронизательный взгляд Вадима. Ей приятно было слушать его мягкий голос, смотреть в его умные, все понимающие глаза. Она пыталась угадать судьбу этого незнакомого человека, но лицо его было строго, губы плотно сжаты, словно хранили какую-то военную тайну.

— Первое время Олег очень переживал, стал выпивать, потом чуть не ушел в криминал. Там таких опытных ребят, как он, на вес золота ценят, а если что не так — пустят в расход, не задумываясь. Было время, снимался в историческом фильме. Он похож на русского богатыря Илью Муромца, и роль у него была положительная. Затем друзья помогли ему организовать фирму, теперь он занимается бизнесом, помогает бывшим воинам-афганцам и их семьям.

Катерина посмотрела в сторону Олега и Ольги. Они сидели в баре и оживленно о чем-то беседовали. «Ох, наверное, в этот раз я ошиблась»,— подумала Катя, улыбувшись. Вадим проследил за ее взглядом и ничего не сказал. Может, он догадался, о чем подумала Катя, но торопить события было не в его характере. Налив Кате шампанское, а себе водки, предложил выпить за смелых парней, которые были, есть и будут в нашем Отечестве. Их дело — защищать землю русскую. Потом неожиданно запел вполголоса:

*Давай за нас, давай за вас,
И за десант, и за спецназ,
За свет далеких городов,
И за друзей, и за любовь!*

Слушая его, Катя никак не ожидала, что среди новых русских есть такие необычные парни. И то, что Вадим рассказывал об Олеге, не в меньшей мере касалось и его самого. Наверное, даже больше.

— А вы тоже служите?— спросила Катя после небольшой паузы, хотя предполагала, что правду он все равно не скажет.

— У меня несколько иная миссия,— ответил Вадим, запивая водку соком грейпфрута,— чтобы у моих солдат было меньше опасной работы.

Он посмотрел на Катю, и у нее по спине прошел озноб. Она увидела большую печаль в глазах этого много повидавшего человека. Ей стало страшно. И еще какое-то непонятное чувство рождалось в ее душе, переворачивая все прежние представления о мужчинах.

— Я думаю, вы и так все поняли. Давайте больше не будем о нашей мужской работе говорить,— попросил Вадим и прикрыл теплой ладонью ее прохладную руку.— О, да вы совсем замерзли от шампанского. Пойдемте лучше потанцуем.

Катя впервые танцевала с военным. И хотя Вадим был в обычном теплом свитере, она сразу же почувствовала его выправку, подтянутость, надежность. Он уверенно и нежно вел ее в танце, и она с удовольствием подчинялась каждому его движению. Теперь он не смотрел в ее глаза, словно стараясь прочитать мысли, и Катя пыталась понять, что это за человек. Его рассказы о прошлой жизни Олега навевали ей различные мысли. Наверное, не просто так Олег помогает бывшим воинам-интернационалистам, видимо, здесь есть какая-то связь. И какое отношение к этому имеет Вадим? Для чего...

— Катя, вы думаете совсем не о том, о чем надо,— словно издалека услышала она голос Вадима и с удивлением посмотрела на него.— Олег с Ольгой, по-моему, собрались уходить. Смотрите, они стоят около столика и зовут нас.

Катя пыталась сообразить, что ответить, а он уже схватил ее за руку и повел к столику. «Совсем как с маленьким нянчиться»,— буркнула себе под нос, а Вадиму сказала:

— Ну что вы волнуетесь. Олег уже взрослый, Ольга — совершеннолетняя. Они сами разберутся, что им делать дальше.

Однако Ольга с Олегом никуда не собирались уходить. Они заказали на всех мороженое, а за столиком никого не оказалось.

Оставив мужчин одних, девушки ушли в дамскую комнату.

— Ой, Катя, мне так интересно с Олегом,— зашебетала Ольга еще по дороге, повиснув, как маленькая, у подруги на руке.— Он такие смешные вещи рассказывал про фильм, где снимался. Он скоро выйдет на экран.

— Кто выйдет?— переспросила Катя, не понимая, чему веселится Ольга.

— Ну, фильм «Плещаница Александра Невского», где Олег играл роль рыцаря на белом коне с огромным мечом в руке.— Ты что меня совсем не слушаешь? Тебе не интересно? А еще мне Олег по секрету сказал, что Вадим почти холостой.

— Что значит «почти»?— переспросила Катерина, пропустив все остальное мимо ушей. Она до сих пор находилась под гипнозом проникновенного взгляда Вадима.

— Олег сказал, что у Вадима проблемы с женой. Он ее любит, но часто ездит в какие-то командировки по работе, а, вернувшись домой, вместо ласки, жена встречает его упреками и истерикой. Она у него врач, наверное, совсем свихнулась от своих пациентов. Вадим несколько раз уходил от нее, потом снова возвращался домой. У него маленький сын растет. А Олегу жалко Вадима, он его жену терпеть не может. Кобра, говорит, она настоящая. По-моему, они друзья хорошие. Он только про него и говорил.

— Так вот почему он испугался: не за вас, а за себя,— проговорила Катя, не слушая больше Ольгу.

— А чего за нас бояться,— не понимая подруги, переспросила Ольга.— Мы с Олегом решили созвониться среди недели и договориться о встрече. А тебе Вадим дал телефон? Если хочешь, я спрошу у Олега.

— Нет, нет,— испугалась Катя тому стремительному развитию их отношений, к которому была не готова.— Если он захочет, то скажет сам,— прошептала она, но Ольга этого не услышала, ее мысли витали где-то вдалеке.

Когда они подошли к столику, Катя сразу почувствовала перемену. Вадим поднялся ей навстречу, взял за руку и отвел к окну. По проспекту в несколько рядов стремительно неслись яркие точки, и им не было конца и края. На фасадах домов и баннерах призывно мигала навязчивая реклама.

— Катя, мне надо срочно уехать — работа такая, сказал Вадим сурово, даже не пытаясь как-то подготовить ее к такому неожиданному повороту событий.— Вот тебе мой номер мобильного телефона. Сколько меня не будет — не знаю, но ты обязательно позвони. Нам надо еще встретиться и поговорить. И танец за мной. Ты не возражаешь?

— Нет,— испуганно ответила Катерина, толком не понимая, что произошло.

— Только не надо на меня так смотреть. Все будет хорошо. Позвони,— он сжал ей крепко руку и быстро ушел, не оглядываясь.

Катя застыла на месте, ничего не видя и не слыша. Ольга никогда не видела ее такой и не знала о чем с ней заговорить.

...Неделю его мобильный не отвечал. «Абонент временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее» — бесстрастным голосом оператора вещал автоответчик.

А по радио и телевидению каждый час передавали сообщения о захвате заложников в кинотеатре. Катя вечерами не отходила от телевизора, внимательно вглядываясь в мелькавшие лица военных, будто пытаясь увидеть кого-то из знакомых.

На пятый день позвонил Олег и спросил:

— Ты хочешь увидеть Вадима?

— Конечно. Почему он сам не позвонил? — от волнения у Кати осип голос, и она сама себя не узнала.

— Он в больнице. Я сейчас заеду за тобой, только ничего не спрашивай,— и в трубке послышались короткие сигналы.

Пока Олег ехал, Катя передумала обо всем: или Вадим подорвался на мине, или его ранили из автомата. Может, он весь в бинтах лежит на больничной койке без рук или без ног. Она это видела в кино.

До госпиталя ехали молча. Катя боялась что-то спрашивать, а Олег нервничал и ничего не говорил. В приемном покое он сунул ей в руки пропуск, накинул на плечи белый халат, и они быстро поднялись на второй этаж. Он подвел ее к какой-то палате и сказал:

— Иди и не бойся. Вадим очень хотел тебя видеть.

В небольшой палате стояла всего одна койка. Все было стерильно бело, и Катя с трудом различила в полумраке лицо на белой подушке. Остро пахло больницей. Приблизившись, она присела на краешек стула около кровати. У Вадима была забинтована голова. Одна рука в гипсе лежала поверх простыни, и только кончики пальцев были на свободе, другой совсем не было видно. Лицо его было безжизненным, под цвет боли. С одинаковой уверенностью можно было подумать, что он спит или умер.

— Я живой,— прошептало лицо, еле слышно шевеля губами.— Я же говорил тебе, что все будет хорошо, но чуть-чуть не рассчитал.

Медленно открылись глаза.

— Прошлый раз я обещал тебе танец, помнишь.

— Помню, — ответила Катя шепотом, боясь своим голосом причинить ему боль.

— Но это будет чуть позже. Согласна?

— Да, конечно,— ответила Катя, еле сдерживая дрожь.

— Испугалась — прошептал Вадим, пытаясь улыбнуться. Но у него это не получилось. Губы совсем не слушались. Он посмотрел на нее внимательно и с надеждой.

— Я посплю, а ты посиди со мной,— попросил он и закрыл глаза.

Катя дотронулась до пальцев на его правой руке. Они были холодные, как лед. Осторожно наклонившись, она подышала на них и прикрыла своей ладонью. Как тогда Вадим, когда они были в ресторане.

— «Альфа», «Альфа», я «Омега» — неожиданно услышала она его слабый голос.

Катя осторожно прижалась щекой к руке этого самоотверженного воина, спасшего не одну сотню человеческих жизней.

— Слышу тебя, «Омега», слышу! Все будет хорошо! — прошептала она.

Дверь тихо приоткрылась, и теплый электрический свет узкой дорожкой лег к ногам Катерины. Она подняла голову и увидела огромный силуэт, который делал какие-то непонятные движения. Катя пригляделась и поняла, что это Олег зовет ее к себе. Она посмотрела на Вадима, который крепко спал, с сожалением отпустила его руку и пошла к двери.

— Пойдем, Катя. Сейчас придет врач, и будет ругаться, что к нему пустили посторонних,— тихо сказал Олег и быстро пошел по коридору к выходу.

Катя заторопилась за ним, недоумевая, как же тогда он выписал ей пропуск. Навстречу им шла женщина в белом халате.

— Наверное, это и есть врач,— подумала Катя. — Вовремя я ушла из палаты.

Они поравнялись у сестринского поста, когда женщина спросила грубоватым голосом у медсестры:

— В какой палате лежит Вадим Дроздов?

— В двести тридцать седьмой,— ответила дежурная и спросила строго: — А вы кто?

— Жена,— коротко бросила она, не глядя на медсестру, и пошла дальше по коридору.

Катерина оглянулась и увидела, что женщина зашла в ту палату, откуда только что вышла она. Догнав Олега, Катя хотела что-то сказать, но он опередил ее:

— Катя, извини, я не хотел расстраивать тебя и не думал, что вы встретитесь. Вадим очень просил привезти тебя.

— А потом жену? — спросила Катя.

— Нет, что ты,— возмутился Олег.— Этой кобре сообщили из больницы или его начальник позвонил.

Катя растерялась сама от своих слов.

— Олег, прости, я не права и вообще не то говорю. Мне, наверное, не стоило сюда приезжать, — в замешательстве проговорила Катя.— Все так неожиданно случилось, что я не успела это осознать.

Они спустились на первый этаж, сдали халаты и вышли на улицу. Холодный осенний ветер налетел на них с ходу, не давая вздохнуть и что-то сказать. Олег взял ее за руку и подвел к машине.

— Я отвезу тебя домой. По дороге и поговорим, если захочешь,— и открыл перед ней дверь.

Катя согласно кивнула головой и села рядом. Пока Олег заводил свой «БМВ» и выезжал со стоянки, она взяла себя в руки и решила, что нынешняя встреча была последней, потому что ни к чему хорошему это не приведет.

Жаль, что в эту минуту рядом с ней не было Вадима. Он бы обязательно сказал свое пророчество: Катя, ты не о том думаешь.

Но об этом Катя узнает очень скоро, убедившись, что она была права настолько, насколько не прав был он.

ПО ТУ СТОРОНУ ПОЛУДНЯ

Ах, как хочется душе простора, что даже в большом городе становится тесно. Давят этажи серых зданий. В собственные мысли вплетаются разговоры чужих людей, которые тебя совершенно не касаются. Почувствовав это, бросаю все и уезжаю в свою родную деревню. До нее можно добраться автобусом, а я частенько хожу пешком.

Дорога известна мне до каждой трещинки в асфальте, и когда появляются новые, замечаешь их сразу, словно морщинки на своем лице. Вот и знакомые деревья вдоль дороги подрастают с каждым годом и не перестают радовать меня весной и приятно удивлять осенью.

Затаив дыхание, я слушаю звенящую тишину, смотрю на желтеющие поля, и сердце, кажется, не стучит, а порхает от радости. Жарко, но мне легко и свободно.

До дома далеко, и перед глазами неожиданно всплывают воспоминания детства.

Вот я еще маленькая, и мне купили первый велосипед — трехколесный. Как только могу быстро еду по деревне, разгоняя звонким сигналом кур, спящих в нажиге. Услышав петушиный переполох, из дома выходят две бабушки.

Одна из них — Настя, сколько себя помню, всегда была со мной: купала, вкусными обедами кормила, сказки рассказывала, сарафанчики моим куклам шила. Когда мне исполнилось 12 лет, она тихо и неожиданно умерла.

Другая бабушка — Маша, жила долго, даже правнучек дождалась. У нее в доме было как в сказке: почти всегда перед иконами горела лампадка, длинными зимними вечерами жужжала прялка, весело потрескивали дрова в русской печке, а под хорами, в сильные морозы, возились маленькие ягнятки.

Помню, когда стала взрослее, дотемна пропадала на улице и домой заявлялась похожая на сосульку, но довольная и счастливая. Родители отправляли отогреться на бабушкину печку, им и невдомек было, что я совсем не замерзла: ведь на той горке, обгоняя и стараясь столкнуть меня с санок, летела моя первая любовь.

Где-то там, в школьном саду, растет старая береза, под которой он впервые поцеловал меня. Ах, как давно это было! Судьба распорядилась по-своему и развела нас в разные стороны...

Однако теперь, как и прежде, со мной рядом друзья и неожиданная поздняя любовь — человек, которому могу сказать: «Ты — моя радость!» Но, словно боясь сглазить нечаянное счастье, мыслями возвращаюсь в детство. Где все так чисто и открыто, где веришь в добро и справедливость, где доверяешь свою сокровенную тайну широким полям, ярким цветам и загадочной звездной вечности. И только здесь становится понятно, что все мое прошлое было только прологом к настоящему.

А вот и моя деревня, которую разделяет река на две части. Со своими воспоминаниями бреду вдоль прохладного берега. Солнце опускается все ниже и ниже — по ту сторону полудня, и из ослепительно жаркого становится оранжево-теплым. Отражаясь в воде сотнями круглых мячиков, оно катится к моему берегу и затем исчезает в куге.

Вода у моего берега становится темнее, а напротив молодая женщина, подняв повыше юбку, заходит далеко на мелководье и черпает ведерком отблески солнца. Ополоснув руки и не спеша умывшись, она выходит на берег и вся в золотых каплях идет пить теленка.

Жизнь продолжается.

СИРЕНЕВАЯ ГРУСТЬ

Память... Человеческая память способна хранить многие события прежних лет, что с годами диву даешься: «Да неужели все это было со мной?»

Цветет сирень, и кажется: сама природа идет навстречу влюбленным, и кружится голова от счастья, радости и любви в пятнадцать, тридцать и сорок пять. И даже зимним утром в застывшем узоре видится сиреневая ветка, воскрешая в памяти время, события, чувства.

Медицинские сестры военного госпиталя. Сколько боли и страданий довелось пережить им за тех солдат, которые выживали или умирали у них на руках!

Александра Павловна Бородина перед Финской войной закончила Рязанскую фельдшерско-акушерскую школу, и ее мобилизовали в действующую армию. Полгода служила в эвакогоспитале на финской границе. После демобилизации поехала работать в село. Там и замуж вышла 10 мая 1941 года.

Цвела сирень, допоздна пели соловьи, а на рассвете будили горластые рязанские петухи. Казалось, для разговоров молодым не хватит ни дня, ни ночи. И вдруг — война. На следующий день молодоженам пришли повестки, и через четыре дня Александра уехала с госпиталем на Ленинградское направление, а ее Василий — в противоположную сторону. И не знали тогда ни он, ни она, что в ней уже билось сердечко их будущего сына.

Александра попала в Ленинград. Госпиталь расположился в Петропавловской крепости, и во время артобстрелов толстые стены подвалов не раз спасали солдат.

— Сестрички! — с болью и тревогой звали нас раненые красноармейцы. Днем и

ночью мы делали перевязки, приносили лекарства, за кого-то писали письма, а кому-то в последний раз закрывали глаза, — с болью вспоминает Бородина.

Александра Павловна замолкает и снова «уходит» туда, в сороковые. Молоденьких сестер милосердия встречали с надеждой и радостью скупые на слова раненые, изувеченные, но не потерявшие веры в победу, рано повзрослевшие их ровесники.

В одну из тех страшных бомбежек Шура почувствовала, что в ней заявляет о себе новая жизнь, ее кровиночка. Ее и еще одну сестричку направили в лес, где находился эвакупункт, и вместе с ранеными они стали ждать самолет. Его не было пять дней. Было холодно, кончились сухари. Когда самолет прилетел на лесной аэродром, раненых стали грузить в автобус, чтобы добраться до него. Ехали лесными дорогами очень долго. Пока перегрузили раненых в самолет, пропустили время вылета, и надо было ждать до следующего дня.

— Раненые отказывались ехать обратно, — рассказывает Александра Павловна, — я расплакалась от усталости и бессилия что-либо изменить. Там оставаться было нельзя, пришлось вернуться. На следующий день мы улетели. Но как в небольшом самолете уместились тридцать три человека — непонятно. На полу была солома, кто мог — сидел, тяжелораненые лежали. Казалось, я иногда теряла сознание, и стрелок, охранявший нас, дал мне кусочек шоколада.

Прибыв в госпиталь, мы были рады, что доставили всех живыми. Перед родами меня отпустили домой. Я стала добираться до Москвы, где жили родственники. Тетя, открывшая мне дверь, вдруг упала в обморок. Оказывается, они не получали мои письма, и на запрос мужа в часть им прислали ответ, что я погибла. Представив, что теперь творится дома, где остались мама и три младшие сестренки, я тут же отправилась на вокзал. Какой дома был переполох и какая несказанная радость — словами не передать. — Александра Павловна перевела дух, заново переживая события тех лет. И продолжила: — Написала я подробное письмо своему Василию, и получила от него весточку. Он обрадовался, что я дома, и крепко-накрепко приказал беречь себя и нашего будущего ребенка. Это было его последнее письмо. Он пропал без вести под Сталинградом, так и не узнав, что родился сын, о котором мы мечтали мирной весной сорок первого года.

Много лет проработала Александра Павловна фельдшером и заведующей здравпунктом.

Пыталась она устроить свою личную жизнь. Был тоже май. Цвела сирень, пел соловей, и сердце, непокорное женское сердце, просилось на волю. Хотелось любви и счастья. Думалось: горечь утраты с годами стала отступать, может, пора изменить свою судьбу? Годы-то еще не ушли, ведь и бабьим летом природа радует нас теплом и солнцем, а женщина всегда остается женщиной. Верилось: вот прижмет он к себе крепче, и одиночество навсегда покинет вдовье сердце.

Но сердцу не прикажешь. И даже губы не сумели произнести: «Любимый, родной». Заветные слова, которые счастливая женщина шепчет в минуты радости и любви тому, кто ей всех ближе на свете, с кем не раз встречала сиреневые восходы, кому навсегда отдано женское сердце.

Так и прожила Александра Павловна одна, на всю жизнь сохранив в памяти тот предвоенный медовый месяц.

БЕЛЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ

В каждой семье живут свои особые традиции. Мы можем вспомнить какие-то милые, забавные обычаи. Чаще всего они появляются в первый год совместной жизни. А иногда — в первый день. И продолжаться могут всю жизнь, чего бы это ни стоило.

Мой рассказ будет об одной семейной паре. Время нашей встречи — 1996-й год. Муж Николай Семенович Кравцов, прежде кадровый военный, удивлял свою жену Марию Васильевну с первого дня совместной жизни. В загс он пришел с огромным букетом белых гладиолусов. Потом это стало ежегодной традицией. Даже когда он уезжал в командировку, то обязательно с кем-нибудь из друзей договаривался заранее, и Марии Васильевне с утра приносили самые лучшие белые гладиолусы. И на золотую свадьбу, которую Кравцовы отметили накануне нашей встречи, он подарил ей точно такой же букет.

— Маша для меня все: и жена, и друг, и помощник, и советчик,— говорил Николай Семенович.

Мария Васильевна, пытавшаяся что-то возразить, только махнула рукой. Муж был, как всегда прав, и она привыкла ему верить с того самого дня, когда кругом была война, а он признался ей в любви.

— Счастье не живет одним днем,— говорили они, и я соглашалась.

Им много пришлось повидать на своем веку: всю страну проехали с запада на восток. Старшая дочь Антонина родилась под Ленинградом, а младшая Ольга — на Сахалине. Первую отдельную квартиру получили только через двадцать лет супружества. И вещей у них было всего два чемодана, и то один — с книгами. Для счастья и этого достаточно, считали юбиляры, глядя с любовью друг на друга.

Николай Семенович и письма ей писал особые: «Ваша Светлость, как Вы там поживаете?» — спрашивал он в одном из писем, которые посылал почти каждый день из Москвы, где учился на курсах в военной академии. И обязательно в конце каждого: «Люблю Вас. Целую. Скучаю». Николай Семенович показал мне несколько писем, когда Мария Васильевна пошла на кухню ставить чайник.

— Как-то болела она долго,— шепотом признался он, пока ее не было.— Месяц лежала, не поднималась. Я очень переживал. Не дай Бог, что с ней случится, как же я один останусь...

Мария Васильевна, вспоминая об этом чуть позже, с благодарностью произнесла:

— Однажды заболела я очень сильно и, если бы не он, не выжила. Сам переворачивал, переодевал, кормил с ложечки. Руки у него добрые, как и душа, вот я и поправилась.

В свое время Николай Семенович окончил педагогический институт, мечтал заниматься историей, даже экзамены в университет сдал. Пять раз рапорты об увольнении писал, но его так и не отпустили.

— Хозяин он у меня заботливый и внимательный. Дочки и внуки в нем души не чают. Что бы мы без него делали?— закончила наш разговор Мария Васильевна о самом близком человеке, с которым счастлива все эти годы.

Как сейчас помню, сидят они рядышком, притихшие и еще чуть взволнованные от нахлынувших воспоминаний. Уже немолодые. Совсем седые. Но с нескончаемой земной любовью во взгляде.

Наверное, еще и потому, что вот уже полвека, в один и тот же день, он дарит ей белые гладиолусы.

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН

Более десяти лет назад проводился в газете «Новомосковская правда» конкурс, посвященный 50-летию Великой Победы. Думаю, не ошибусь, сказав, что Великая Отечественная война оставила свой роковой след почти в каждой семье. Кто с фронта не вернулся, кому военные «подарки» до сего дня спокойно спать не дают. Есть такие семьи, в которых, проводив защитника Отечества на фронт, спустя полвека не знают, где он похоронен.

Вот и приходят старушки к братским могилам, что есть во многих городах, поселках, деревнях. «Помяни, Господи», — шепчут их иссохшие губы имена своих родных и близких, и кланяются незнакомым фамилиям. Веруют: и к их Петрам, Иванам, Василиям, что покоятся под красными звездами, не зарастут тропинки народной памяти и боли.

Мой дядя Василий Алексеевич Шехватов пропал без вести под Могилевом, а жена его Мария Петровна в годы войны была несколько месяцев директором школы. Умерла она через год после Победы, оставив троих сирот. Николай, Виктор и Вячеслав воспитывались в семье моей бабушки. И всегда наш дом считали своим родным. От отца и матери им остались только несколько фотографий и треугольники с фронта.

За школьной оградой в селе, где я родилась, была братская могила. В канун Дня Победы там собирались все жители на торжественный митинг. Пионеры и октябрюта маршем проходили мимо и отдавали салют захороненным воинам-сибирякам.

Со временем братские захоронения из дальних сел и деревень перенесли в районный центр — Узловую, создав единый мемориал, у которого горит Огонь Вечной Славы. Наверное, это правильно, но наше село будто осиротело... Нет такого священного места, где бы могла собраться вся деревня от мала до велика, взглянуть друг другу в глаза и дать клятву помнить военное лихолетье и любовь людскую, которая спасла нашу Родину...

В центре Новомосковска стоит скульптура воинам-защитникам, в парке Залесного микрорайона — монумент погибшим воинам-новомосковцам, а в Урванском — памятник воинам, освобождавшим город в декабре сорок первого года. Сюда тоже приходят школьники на торжественные линейки, возлагают на холодную землю алые цветы в знак благодарности и признательности незнакомым солдатам.

Раньше этот памятник был вдали от людских глаз, потом вырос жилой массив, и теперь мимо него проложена не одна тропинка. Люди идут и идут, но все мимо и мимо...

Но однажды я встретила там маленькую подвижную старушку, которая собирала внутри ограды клочки бумаги, цветные фантики, сухие веточки. Разговорились. Мария Ивановна Чистобаева поведала о своей судьбе, которая была к ней благосклонна:

— Мужу во время войны бронь дали. Он днем выполнял военные заказы на ремонтно-механическом предприятии, а вечерами обучал молодых рабочих рукопашному бою. Меня Бог миловал, я выжила, спрятавшись в деревне у родителей. А после войны работала в военизированной охране: сопровождала пленных немцев на работу, стояла на посту у общественных зданий и учреждений. Меня наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», но почему-то я не получила ее. Может, теперь вручат? Это же такая-то память!

Раньше, когда моложе была, каждый год весной на возложение венков и митинг ходила. Мой старший брат — Василий — погиб на фронте, и где похоронен, не знаю. Вот хожу к братской могилке. Поклонюсь солдатикам, брата помяну и всех безвинно убиенных на той войне. Думаю, где-нибудь и над его могилкой кто-то низко кланяется до земли.

СЛАВЯНКА

Странная осень стояла в этом году. До Покрова листья на деревьях не желтели, сохранив яркую, почти летнюю зелень. А в ночь на второй день после праздника ударил сильный мороз, и каштаны уже к обеду стояли обнаженные и беззащитные.

Андрей Петрович сидел у себя на даче, прислушиваясь к постоянному шороху. Это листья совершали свой последний полет. Да свежий ветер ворошил сухие плети

цветной фасоли, которая создавала тень и украшала крыльцо дачи. Сейчас ее почерневшие, бесформенные листья тоже напоминали об ушедшем лете.

«Надо бы оборвать, но цветами всегда жена занимается», — подумал Петрович и грустно посмотрел на яблоньку, которая росла в центре участка. Он курил и решал, что делать. Последние три года на ней не было ни одного яблока. Он посадил ее в честь рождения сына. За саженцами ездил в питомник. Купил грушу, сливы и озимый сорт яблок — славянку. Ему хотелось, чтобы плоды были крупные, сочные, в меру кисло-сладкие и хорошо сохранялись зимой. И цвет яблок чтобы был непременно золотистый, королевский. Тогда, тридцать лет назад, ему казалось, что таким образом он сможет задобрить судьбу, чтобы она была благосклоннее к сыну, и он вырастет удачливым, здоровым, счастливым.

Но кто может предсказать, а тем более изменить свою или чью-то участь?

Шли годы. Яблонька выросла, но первые плоды вызрели совсем не такими, как обещали в питомнике. Словно в насмешку судьба во всем испытывала Петровича. Сын вырос не таким, как мечтал отец. Окончив школу, Алексей без охоты поступил в институт. Получил диплом и ни дня не проработал по специальности. Начавшаяся перестройка так все перепутала в неокрепших мозгах подростков, что не каждый смог найти свое место в жизни. Да что молодежь! Многие взрослые растерялись, когда в считанные дни разрушилось все, что создавалось десятилетиями. Их семья не стала исключением: назрел извечный конфликт отцов и детей. Первые знают, как надо жить, а вторые живут, как хотят, и авторитет взрослых не признают.

Такие грустные размышления посещали Андрея Петровича давно, но что-либо изменить он уже не мог. Нет, он не бездействовал, даже пытался помочь Алексею устроиться на работу. Обеспечивал его деньгами, оплачивал обучение в коммерческом вузе, но все безрезультатно. Деньги сын тратил все, сколько давали, потом институт бросил, а на работу так и не устроился. У Петровича опускались руки, он отступал от сына, наблюдая со стороны, как тот катился в неизвестном ему направлении.

— Нет, было у него свое дело, — как бы оправдывая сына, заговорил вслух Андрей Петрович, не спеша разматывая зелененькие веревочки, по которым поднималась вверх фасоль. — С группой ребят Алексей занимался грузовыми перевозками. Однако фирма распалась так же быстро, как и появилась. Денег Алексей не заработал, а финансовые проблемы предоставил решать мне. Сын исчез на неделю, празднуя «похороны» своей работы, а мать отпаивал корвалолом опять я. Почему принято считать, что женщина больше за все переживает, сильнее страдает? — сказал Петрович и в сердцах потянул веревку. Она вырвала гвоздь, к которому была привязана. — Ну вот, еще себе работу нашел, — ругнулся он, но ничего не стал делать. Присев на лавочку, достал сигареты и опять закурил.

В таких случаях сын отключал мобильник, и узнать, что с ним, было практически невозможно. От жены узнал, что Алексей занял деньги и уехал в Москву, в какую-то клинику. Этому Петрович обрадовался и решил не торопить события, а дожидаться его возвращения.

Конечно, не бог весть какая радость, но, возможно, первый самостоятельный шаг сына к чему-то хорошему.

Андрей Петрович посмотрел на топор, который лежал рядом с лавочкой. Да, всего несколько взмахов, и — яблони нет. Но нельзя вот так, с плеча, известить проблемы, которые надо решать головой.

— Чего это я, в самом деле, размалохолился, — прикрикнул на себя Андрей Петрович. — Нет, мы еще посмотрим!

Он сходил в сарай за лестницей и ножовкой. Подошел поближе к яблоне, увидел засохшие ветки и пораженную плесенью кору.

— Так, ну-ка за работу! — скомандовал себе Петрович. — Сейчас надо опилить сухие и больные сучья, а весной привить тот самый сорт — славянку. Глядишь, и приживется... И появятся тогда яблочки, которых ждали долгое время!

Андрей Петрович принялся за работу, уверенный в своем решении. Кто знает, может, с появлением новых яблок наступят перемены и в судьбе его сына?

ТЕПЛО БАБУШКИНОГО ДОМА

Испокон веков по берегам неспешной речки Шиворонь, о которой, наверное, не все слышали, селились наши предки. Как гласит легенда, которую бережно хранят мои односельчане, поделили два брата Аким и Илья луга, что лежали по обе стороны реки. На крутом берегу построился Илья, а на более пологом — Аким. Они и основали наше село Акимо-Ильинка.

Задолго до революции, в 1873 году, родился мой прадедущка Никита Куприянович. А когда ему исполнилось 14 лет, появились в нашей деревне пришлые люди и спросили жителей: «Верите ли вы в Бога? Хотите ли вы, чтобы у вас была своя церковь?» На что получили такой ответ: «И в Бога мы верим, и хотим, чтобы церковь у нас была, да денег нет». Тогда строители сказали: «Деньги — не ваша печаль. А можете ли сдать для своей церкви по тысяче штук кирпичей с каждого дома?» Жители подумали-подумали и согласились. Отчего же не сдать, коль глина своя в карьере, бери сколько хочешь на хорошее дело. Есть где и кому кирпич сделать. На том и порешили. А если не могли кирпич сдать, несли на постройку церкви кто муку, кто яички, чтобы раствор крепче был. Так вот всем миром и строили.

Однако строительство затянулось на многие годы. Сначала сложили одноэтажную зимнюю церковь с двумя печками. Позже пристроили к ней двухэтажную, с высокими большими окнами, и только потом возвели колокольню. Когда моему прадедущке шел двадцатый год, ввезли к нам в село колокола. В это время деревня Акимо-Ильинка расстроилась, домов и народу стало больше, и переименовали ее в село, потому что у нас уже была своя церковь. Престольных праздников у нас было два: во имя Ильи-пророка и Михаила Архангела.

По большим праздникам добирались сюда на лошадях или пешком верующие со всех ближних и дальних деревень. А свои сельчане ходили на богослужения чаще. В этой церкви в 1917 году венчались мои бабушка Маша и дедушка Ваня. Была у нас своя церковно-приходская школа, где обучались маленькие акимо-ильинцы.

Но наступили страшные годы. Волна репрессий на служителей культа докатилась и до нас. В 1939 году нашу красавицу-церковь разрушили дети тех, кто по крохам, по крупицам собирал на ее строительство. Сломали стены, сожгли иконы, сбросили на землю колокола. И долго-долго прощально-печальный колокольный звон и обреченный плач верующих стояли над селом. И как в наказание свыше за этот погром в годы войны погибли все, кто в нем участвовал.

Мой папа не ходил туда, хотя и был комсомольцем. А когда бабушка провожала его на фронт, то аккуратно пришила к нательному белью крестик и благословила на битву с захватчиками. У него было всего одно ранение, он дошел до самого Берлина и благополучно вернулся домой. На его попечении были родители и старенький дедушка. Мой прадедущка Никита дожил почти до ста лет, обучал меня цифрам и точному времени на стареньких ходиках.

В нашем доме никогда не было икон: мои родители работали в школе, а все учителя должны были быть атеистами.

Другое дело, у бабушки Маши! В переднем углу у нее висели иконы, днем и ночью живой свет маленькой лампадки освещал мудрые, все понимающие лики Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Николая Угодника. В школе нас учили, что Бога нет,

что все это выдумка попов ради своей наживы. А бабушка, разговаривая с Богом, просто просила его: «Господи! Ты всевидящ и всемогущ, и милость Твоя безгранична. Прости нас грешных за грехи вольные и невольные. Спаси и сохрани моих детей и внуков. Дай им здоровья и благоразумия». Мы с сестрой Иринкой слушали бабушку и спрашивали: «А тебя Боженька слышит?» Бабушка улыбалась и отвечала: «Он слышит всех, кто к нему обращается». И мы искренне верили, что Боженька ее услышал, и теперь мы все находимся под покровительством невидимого, но всемогущего бабушкиного Бога.

Накануне больших православных праздников бабушка с вечера уезжала в церковь в Богородицк или еще дальше — в Венев? (Венин) монастырь, чтобы успеть к вечерней службе и отстоять заутреню. Возвращалась утомленная, но умиротворенная. Привозила святую воду, просвирки и рассказывала, как там все происходило. Она говорила, что это Боженька прислал нам свои гостинцы, и мы с благоговением отламывали по маленькому кусочку, запивали святой водой и приговаривали за бабушкой: «Пусть будут здоровы мама, папа, бабушка, дедушка и мы тоже».

Это сейчас можно открыто ходить в церковь, молиться, носить крестик, покупать и вешать в доме или квартире иконы, венчаться, крестить детей, а в те времена за это строго спрашивали с верующих, наказывали партийных. Поэтому все, о чем нам говорила бабушка, мы никому не рассказывали.

А бабушка Маша знала много историй из «Жития святых», но мы многого тогда не понимали.

Долгими зимними вечерами, настроив свою прялку, она вела неспешный разговор.

— Когда я была маленькая, приходил к нам в деревню блаженный Алеша. Зимой и летом на нем был старенький армячок или тулупчик, иногда шапчонка на голове, а ноги и вовсе босые. Он шел по снегу и камням, переходил через покрытые тонкой ледяной коркой ручьи, крестился, шептал молитвы, предсказывал кому радость, а кому — беду, и никогда не болел. У него спрашивали: «Алеша, ты куда идешь?» — на что он с улыбкой отвечал: «Куда Бог меня пошлет». И шел дальше, что-то бормоча и низко кланяясь за каждый кусочек хлеба.

Еще бабушка рассказывала, как над крестьянами шутила нечистая сила.

— Поедет, бывало, мужичок в соседнюю деревню к родне, выпьет лишнего и домой к ночи возвращается, приговаривая: «Лошадь сама дорогу домой найдет». Да не тут-то было! Как пойдет лошадь кружить по одному и тому же месту, так до самого утра и ходит, пока рассвет не наступит или мужик раньше не проснется и не перекрестится на все четыре стороны. Тогда Бог и приходит к нему на помощь.

Нам было и страшно, и интересно слушать бабушкины рассказы. Мы все допытывались, куда делся Алеша и почему теперь не показывается. А бабушка отвечала, что люди перестали верить в Бога, вот Алеша к ним и не приходит.

Совсем недавно на месте прежней церкви в моем селе поставили большой белый крест и высокую церковную ограду. Мои папа, дочка и зять вместе со старожилами ходили на поиски старого фундамента церкви. В советское время на этом месте стояло старое здание сельсовета, но и его разрушили...

Может, настанет время и на самом высоком месте, на берегу реки, восстанет белый храм, похожий на прежний, и звонкий благовест будет разноситься над возрождающейся Россией.

Бывая в храмах Суздаля, Владимира, Нижнего Новгорода, Москвы, куда теперь устремляются экскурсанты, я замечала, что святые с икон смотрят грустно и устало. Я не чувствовала того благоговения, как это было в старом бабушкином доме, где всегда горела лампадка и потрескивали свечи.

Сейчас времена изменились. В небольших городах восстанавливаются прежние

или строятся новые храмы. Люди чаще стали приходить в церковь просить у Бога отпущения грехов, помолиться о здравии ближних. Кажется, святые с икон внимательно смотрят на всех, но слушают каждого отдельно. И я вспоминаю опять бабушкины слова: «Бог всевидящ и всемогущ! Он помогает каждому, кто обращается к нему за помощью. Только самим надо быть внимательнее к людям. Не спеши радоваться тому, что друзей у тебя много и есть с кем повеселиться. Радуйся, когда человек придет к тебе со своей бедой, и ты сможешь его чем-то утешить».

Слава Богу, моим детям бабушка тоже рассказывала свои интересные истории, и они подолгу задерживались у нее дома. Дочки уже взрослые, бабушки давно с нами нет, а я помню многие ее напутствия. И часто прошу у Бога сил, терпения и благословения на большой трудовой день. За детей и родителей о здравии молюсь, а бабушку поминаю.

...На сороковой день после ее смерти видела бабушку во сне: она стояла в маленькой темной землянке. А второй раз снилось через полгода: бабушка сидела в просторной горнице, у окна, молодая, в белом платочке и, как бы успокаивая нас, говорила: «Вы за меня не волнуйтесь, у меня все хорошо!»

Сергей Барткевич



АМАЗОНКА

Наверное, каждый из нас хранит какие-то предметы, связанные с детством. Кто-то, может быть, бережет любимую игрушку, книгу, которую мама читала ему на ночь, а кто-то — марки или альбом с детскими фотографиями. В моем архиве есть старая фотокарточка; с ней связано одно из самых ярких воспоминаний моего отрочества. Память — странная штука. Есть вещи, которые промелькнут эпизодом, но помнишь их потом всю жизнь — в особенности первую любовь. Прошло больше двадцати лет, а кажется, что это было совсем недавно...

Однажды летом мы, мальчишки, по обыкновению гоняли мяч в узеньком переулке возле моего дома. И вдруг внезапный оглушительный треск мотоцикла прорезал наши азартные крики и гам. Огненно-красный «Чезет» ворвался на наше импровизированное футбольное поле и, сделав «свечу», с визгом остановился. Мы возмущенно завопили, но наглый мотоциклист продолжал гордо восседать за рулем, уперев ноги в землю. Сквозь затемненное стекло шлема лица его не было видно. «Стиляга», — подумал я, обратив внимание на узкие джинсы и черную кожаную куртку незваного гостя. В конце семидесятых такой наряд был редкостью. Тогда в моде были брюки клеш — чем шире клеш, тем модней, — и рубашки «апаши», завязанные узлом на животе.

Стиляга снял шлем, и я застыл с открытым ртом. Освобожденные от шлема по плечам золотым дождем рассыпались длинные волосы.

— Девчонка! — понял я потрясенно.

Девчонка, которая бесстрашно и лихо гоняет на мотоцикле, как новая амазонка. Оказалось, что она искала наш дом, а конкретно — мою старшую сестру Наташку. Проглотив удивление и отчаянно робея, я проводил ее до двери, объяснив, что у нас во дворе — злая собака.

В нашем доме девчонка пробыла недолго. От сестры я узнал ее имя — Марина — и то, что они познакомились и подружились совсем недавно. С тех пор Маринка часто стала приезжать к нам, и я с нетерпением ждал ее визитов...

Скоро я понял, что пропал. Она стала сниться мне по ночам — я, четырнадцатилетний пацан, влюбился в девушку восемнадцати лет...

Она приезжала к Наташке, а я просиживал на улице возле ее мотоцикла и не мог дожждаться, когда же она покинет мою вредную сестру, чтобы я хоть несколько секунд мог полюбоваться ею — точеной фигурой, роскошным дождем светлых волос, той бесшабашной легкостью, с которой она вскакивала на своего огненного «коня»....

Догадывалась ли она о моих чувствах? Не знаю. Сам заговорить с нею я не смел. Но, наверное, она догадывалась. Женское сердце не обманешь; к тому же скоро я, не выдержав, признался во всем сестре. Нет, она не посмеялась надо мной, но посочув-

ствовала. Что общего могло быть у подростка, почти мальчишки и совсем взрослой девушки?

И — не знаю, была ли в этом помощь сестры или нет — но однажды моя любимая амазонка предложила прокатить меня на своем «Чезете». Я чуть дара речи не лишился от радости. И несколько минут спустя мы уже летели по шоссе, едва касаясь колесами асфальта; я крепко обнимал за талию девушку своей мечты, задыхаясь не то от ветра, не то от счастья, и представлял, как мне сейчас, наверное, завидуют мои сверстники...

Было еще одно событие — хотя, возможно, событием, оно казалось только мне — когда моя сестра и Маринка позвали меня вместе с ними купаться на озеро. Но, поскольку девчонки ехали вдвоем на Маринкином «Чезете» — мне предстояло отправиться в путь на моем мопеде «Верховина», который выжимал сорок километров в час, чем я в свое время страшно гордился. Мы тронулись с места, и, конечно, я очень скоро отстал — что такое сорок километров в час против той скорости, на которой носилась моя амазонка? Да еще по дороге у меня как назло заглох мотор. Так это купание и не состоялось.

Год в угаре коротких встреч с Маринкой пролетел быстро. Я кончил школу и уехал в другой город, поступил в училище. Дома теперь бывал только наездами. Но, уезжая, я спер у Наташки и увез с собой фотографию Маринки.

А потом жизнь закрутила нас, разметала. Разные города, разные судьбы... Я женился, были свои заботы и проблемы, но и среди них забыть эту девушку я не мог.

Прошло около двадцати лет и о том, как сложилась ее судьба, мне рассказала моя сестра.

Вскоре после того, как я поступил в училище, Маринка познакомилась с одним молодым человеком по имени Александр и полюбила его. Он отслужил в армии и успел побывать в Афганистане, который прошел, не получив ни одной царапины. Роман у них развивался, и дело шло к свадьбе. Но тут случилась беда.

В тот роковой день Александр возвращался домой на электричке. Вышел в тамбур покурить и нарвался на группу хулиганов... Утром его нашли истекающего кровью возле железнодорожного полотна. Ног у парня не было.

Месяц врачи боролись за его жизнь. Он полгода пролежал в Первом медицинском институте, перенес несколько операций. Временами казалось, что он не выживет. И все это время Маринка находилась возле него. Чтобы постоянно быть рядом с любимым, уволилась с работы.

Но свекровь за что-то невзлюбила девушку и внушала сыну: «Мол, зачем она тебе? Оставь ее, она все равно тебя бросит. На кой ты ей сдался без обеих ног?»

Но они оба вынесли этот кошмар. Бог знает, чего им это стоило. Александр выписался из клиники в инвалидной коляске, и через несколько месяцев состоялась их свадьба с Маринкой. В один из моих недавних приездов домой я вновь увидел ее, а рядом с ней — ее мужа, сызнова научившегося ходить. У них было двое детей примерно того же возраста, что и я — когда впервые увидел их мать. Это была наша последняя встреча.

Маринка научила меня бороться и никогда не сдаваться. Теперь я знаю, что настоящая любовь всегда побеждает. И я никогда не забуду ее — прекрасную амазонку моего детства — девушку, у которой были золотые волосы и золотое сердце.

НАСОС

Понедельник — день тяжелый. Это общепризнано, хотя он, может быть, ничем не лучше и не хуже остальных.

Рабочая смена началась как обычно — с нудной тягомотины разнарядки и брюз-

жания начальника цеха Курочкина о том, что никто в цеху не работает и ему все приходится делать самому. Словом, все как всегда. Исключение было сделано для моей бригады, состоящей из двух человек — меня и слесаря Андрюхи.

К нам, как малочисленной бригаде, приставили Филиппыча — не последнее лицо в руководстве цеха. А работа предстояла ответственная — перекачивать солярку из одной цистерны в другую. Сама по себе работа нетрудная, но малоприятная, так как после нее нам предстоит благоухать соляркой несколько дней..

К делу приступили с энтузиазмом, рассудив так: раньше кончим — уедем домой. Однако в процессе работы наш энтузиазм быстро стал уменьшаться. Насос весом... впрочем, вес никто не знает точно, — но страшно тяжелый — нам предстояло погрузить на телегу из металла, но очень маленькими колесами — и тащить все это добро на себе по сугробам и льду черт знает куда, так как транспорт надо беречь. Ну да ладно, у нас так всегда: как говорится, круглое таскаем, квадратное катаем. Короче, насос мы погрузили и вдвоем впряглись в телегу. А она под тяжестью этого «дурака» вдавилась в снег и застряла. Ну, мы тянем-потянем — вытянуть не можем. Усиленно кряхтим, впрочем, не особенно усердствуя: чай, здоровье свое, а не казенное, да и рабочий день только начался. Едва присели это дело перекурить — подходит Филиппыч:

— Как! Вы еще здесь?

— Здесь. Застряли. Силов наших не хватает волочь эту железяку, мать ее так!

Потоптавшись возле нас и покрутив головой, Филиппыч буркнул:

— Сейчас валенки надену.

Сидим, курим. Минут через пятнадцать причапал в валенках Филиппыч.

— Ну, впряглись! — бодро предложил он.

Мы впряглись. Филиппыч — лось здоровый, сил у него много. Дернули! Да еще как дернули — насос съехал с тележки — мордой в снег.

— Вот и приехали, — озадаченно проговорил наш руководитель.

— Ничего, зато сдернули с места, — оптимистично заметил Андрюха.

— Да уж... — глубокомысленно подтвердил Филиппыч, — Теперь надо думать, как эту хреновину снова на телегу затащить.

— ...Как-как! Руками! — раздраженно произнес появившийся незнамо откуда начальник цеха, попутно при этом высказав все, что он думает о нас, о работе и о цехе в целом.

— Руками? Трактор я, что ли? — озлобился Филиппыч.

С сожалением посмотрев на сугроб и свои ботинки, начальник решил подать нам пример своими действиями. Общими усилиями насос с кряхтением и матом был водружен на место.

— Ну, потащили, — произнес Курочкин, впрягаясь в упряжку. Телега с насосом сдвинулась и поползла, тараня сугробы, к заданной цели.

— Ну, еще немного — метров двадцать-тридцать, — ободрил нас Филиппыч.

— Да, совсем немного — так и родить можно! — прокряхтел я, еле передвигая ноги.

— Все, привал?

— Ладно, перекур, — подтвердил начальник.

И пока мы перекуривали, он прочел нам лекцию о химическом производстве и методах работы. Впрочем, это — его излюбленная тема и мы настолько к ней привыкли, что и не слушаем: лопочет и лопочет.

Мы с нетерпением поглядывали на часы: скорей бы обед!

На свою беду, мимо с сосредоточенным видом шел старший мастер цеха — Василь Васильевич по прозвищу Вася-Вася. При виде того, как он чешет мимо, не обращая на нас никакого внимания, Курочкин вострепнулся:

— Эй, ты!.. (эпитет был не очень лестным) Иди сюда — не видишь, что ли — начальник цеха в снегу возится, а ты гуляешь, ты, видишь ли, занят! На объект спешишь? Никуда без тебя объект не денется. Впрягайся тоже!

— Как бурлаки на Волге... — добавил Филиппыч.

Васе-Васе ничего не оставалось, как присоединиться к нашей упряжке. Но вот, наконец, и конечная цель мучений — цистерна с соляркой. Устанавливаем насос и присоединяем шланги. Я взгромождаюсь на цистерну. Именно взгромождаюсь, потому что цистерна покрыта слоем льда и забраться на нее с противогазом, набором рожковых ключей и монтровкой весьма затруднительно. Со скрежетом отворачиваю заржавевшие болты, откидываю крышку — цистерна пуста, но, судя по запаху, когда-то в ней действительно была солярка. Увы! Спускаюсь вниз и иду до начальства.

— Николай Петрович! Цистерна пустая, — бодро докладываю я.

— Не может быть! — восклицает удивленный Курочкин. — Я проверял по журналу! В ней должно быть шестьдесят кубов солярки! А ну пошли, я сам посмотрю!

Возмущенный начальник лезет на цистерну и заглядывает внутрь.

— Нет... Странно. В журнале же записано! Значит, должна быть. Будем искать.

— Ну, вы ищите, а у нас обед, — говорим мы с Андрюхой и быстренько линяем. Только уселись, достали тормозки...

— Глянь! Филиппыч бежит. Ишь, как возбудился, наверное, к нам, — предположил Андрюха.

— Да, небось, солярка нашлась. Кончился обед...

Подлетает радостный Филиппыч.

— Скорей бросайте есть! Солярка нашлась. Надо перетаскивать насос.

— Ну, полный дурдом! Даже пожарть не дают, — возмутились мы.

— Потом-потом, — торопит Филиппыч, — насос вам помогут тащить и я тоже потащу. Только надо скорее.

На ходу засунув в рот по куску хлеба, идем к насосу. Опять впрягаемся и волочем его еще дальше, в полный голос проклиная всех и вся. Кое-как отволокли насос к найденной цистерне. Не доверяя уже заверениям руководства вместе с их записями в журнале, лезу проверять сам. И правда — солярка. Но шестьюдесятью кубами здесь и не пахнет. Немного солярки виднеется на дне цистерны — тонн десять, не больше. Но, естественно, докладывать руководству о количестве солярки мы не стали. Сказал: «Качать!» — значит будем качать.

Вытягиваем шланги и подсоединяем их к насосу. Но увы. Шланга до цистерны, в которую нужно скачивать солярку, не хватает. Нужно еще метров пятнадцать шланга.

— Будем искать, — сказал Филиппыч и убежал.

А у нас появилась возможность пообедать. На поиски шланга ушло больше часа. Ну надо же, сплошной дефицит.

Но вот шланги подсоединены. С недовольным скрежетом заработал насос. По ходу дела выторговываем у Филиппыча сокращенный рабочий день.

— Ладно. Скачаете солярку — и валите, — смиростивился он.

Окрыленные таким образом, взялись мы за дело. Солярку скачали быстро. И уже в последний раз перекуривали в предвкушении теплой раздевалки и горячего душа. Но — увы! — мечты сбываются редко. На горизонте снова появился быстро семенящий к нам Филиппыч. По мере его приближения наша радость быстро стала улетучиваться.

— Щас он нас обрадует, — мрачно изрек Андрюха.

— Да уж. Придумает какую-нибудь бяку.

— ...Ну что, орлы? Скачали? Молодцы! — обрадованно потер ладони Филип-

пыч.— Тут такое дело: сейчас бензовоз придет, надо его закачать из другой цистерны, я ее покажу.

— Какой бензовоз?! Мы же договаривались, что скачиваем солярку — и домой! Да и время уже, нам что — ночевать здесь?! — возмутились мы в один голос.

— Ничего, нечего. Бензовоз закачаете — и все. Сейчас он придет, ждите.

— Ждем... — пришлось уныло согласиться нам.

— Ушли пораньше, называется,— ворчал мой напарник,— сейчас уже все домой пойдут...

Время приближается к пяти часам. Наконец появился бензовоз. Встретив его появление матюгами, мы со свирепыми лицами стали тянуть в него шланги.

— ...Полилась, стерва! — с ненавистью произнес я.

— Да еще минут сорок — и домой.

— Ага, сорок. Если что-нибудь не поломается...

— Не каркай! — возмутился Андрюха, с тоской провожая глазами спешащий со смены народ...

ВИНТ

Подходит к концу короткий отпуск. Ну и отлично. Надоел он мне до чертиков. Кабаки все облазил, знакомых девчонок посетил. Время провел неплохо, дела все свои вроде закончил. На берегу мне делать больше нечего.

Но — нет, одну вещь я так и не сделал. Не успел жениться — как всегда мне не хватило времени и силы воли. Ну, ничего. В следующий раз точно женюсь. Может быть. Всякий раз я обещаю это себе и подругам и всякий раз меня что-то останавливает. Наверное, все-таки еще не созрел.

Ладно, пора вставать и идти выгуливать Винта. Винт — это не металлическая штука, которую загоняют в отверстие какого-нибудь предмета и не то, что торчит из задней части судна ниже ватерлинии. Винт — это собака. Эдакое чудо неизвестно какой породы. Его я приобрел несколько дней назад.

...Возвращаюсь я как-то из одного культурного заведения. Меня слегка штормит, но курс я держу строго, ориентируясь по тому, что проплывает у меня под ногами. И упираюсь в какую-то фигуру.

— Слушай, паренек, возьми щенка,— хриплым голосом говорит фигура.

— Щенка? — тупо переспрашиваю я от неожиданности.— Зачем мне щенок?

— Да возьми, недорого,— уговаривает меня фигура, постепенно уплотняясь перед моим расплывающимся взором в субличного небритого мужика.— За пузырь отдам.

— А-а... что за порода? — неведомо зачем, интересуюсь я, глядя на грязно-пегий комок, копошащийся у мужика за пазухой.

— Порода? М-мм... в общем, болонка... вроде как. Возьми, а? — тоскливо просит меня навязчивый прохожий, на которого меня угораздило наткнуться.— Выручи, будь другом. А то трубы горят...

И вот не то спяну, не то пожалев мужика, я согласился. Так у меня появился нахлебник, который, сразу же создал мне массу проблем. Самой насущной проблемой оказалась кормежка. Н-да, об этом я как-то не подумал.

...Порывшись в холодильнике, я нашел кусок сыра, банку шпрот и подсохший батон.

— Ну, вот и хорошо. Ужин на двоих обеспечен.

Но — увы, куска сыра щенку оказалось маловато. Быстро его проглотив, он выжидающе уставился на меня.

— Во проглот,— сказал я, с тоской глядя, как в его пасти исчезают шпроты и остаток батона: мой несостоявшийся ужин.

— Ладно. Раз поужинали — давай в койку,— я поймал себя на том, что разговариваю со щенком, как с человеком. — Однако, как же тебя назвать? Проглот? Как-то неинтересно. Винт? А что? Деталь все-таки нужная. Решено. Будешь Винтом. Коротко и звучно.

С чувством выполненного долга я растянулся на кровати. Немного погода вскарабкавшись на постель и потоптавшись по мне, сбоку устроился Винт. Сквозь сон я слышал его сопенье, радостное урчанье и аппетитное чавканье.

«Да, со щенками мне спать еще не приходилось!» — подумал я, проваливаясь в сон.

Пробуждение было невеселым. С похмелья болела голова. К тому же, свесив ноги с кровати, я первым делом вляпался в лужу, оставленную Винтом. Сам он, свернувшись клубком, спал на моей джинсовой рубашке, стянутой на пол со стула. Тут же выяснилась и причина ночного чавканья и урчанья Винта. Мой носок, изрядно пожеванный,— валялся тут же, возле лужи. Матерясь, я направился за тряпкой. Пока вытирал лужи, злость прошла. Да и как можно злиться на этот лохматый половичок, уютно устроившийся на моей рубашке и посматривающий на меня сквозь лохмушки шерсти, свисающие со лба?

Наскоро выпив кружку кофе и схватив Винта в охапку, я направился в ближайший магазин — решать проблему с едой для себя и для щенка. Не зная гастрономических предпочтений нахлебника, я для начала остановился на супах в пакетиках для него и на сосисках для себя.

Глядя потом на то, как Винт уплетает суп из банки от шпрот, я прикидывал, что посудинка явно маловата и надо бы подыскать посуду побольше. Аппетит у него явно не как у щенка болонки. Впрочем, откуда мне знать, сколько едят болонки? Ладно, это мы выясним.

Прервав свои размышления о «мире животных», я заторопился по своим делам — а именно в кадры пароходства за новым назначением, мысленно видя себя стоящим на палубе огромного лихтеровоза. Но — увы, мечтам моим сбыться было не суждено. В кадрах пароходства меня встретили с распростертыми объятиями.

— Дизелист? — деловито спросил меня кадровик, эдакий сухопутный гриб.

— Дизелист. Но я еще в отпуске.

— Отпуск? Ерунда, потом догуляешь,— отмахнулся он.— Тут такое дело, понимаешь — на «Пилоте» дизелист заболел. Надо срочно подменить.

— Да я вообще на подмену-то не очень...— протянул я.

— Очень — не очень...— рассердился гриб.— Привыкли, понимаешь, по нескольку лет одну палубу топтать. Подумаешь, подмена. Всего какой-то месяц. Ну, два. И всего делов.. Короче! Обсуждению не подлежит. Согласен?

— Да, уж... Согласен.

— Ну и чудненько, ну и молодец. Вот тебе направление. Иди, знакомься с судном и командой.

— А где сейчас «Пилот»?

— Где «Пилот»? А бес его знает. Ищи где-нибудь в гавани, на отстое.

Огорошенный новым назначением, я даже не поинтересовался, что это за судно. Ладно, на месте разберусь. А сейчас — домой, пока Винт еще чего-нибудь не натворил. Правильно говорят — не было заботы, купила баба порося. Что же мне теперь делать? Надо что-то решать с Винтом. Но ничего, у меня в запасе есть несколько дней, что-нибудь придумаю.

Я угрюмо шел домой и думал. Новое судно, новый экипаж. Проходив несколько

рейсов на одном корабле, я полюбил его, стал его частью. Смогу ли я так же полюбить новый корабль, на который меня назначили? И как встретит новый экипаж?

Все эти мысли не давали мне покоя. Но дома бросившийся мне под ноги лохматый шарик, интенсивно вилявший тем отростком, что называется хвост, быстренько переключил мои мысли на себя. Выгулянный и накормленный Винт уселся в кресле напротив меня и уставился мне в глаза, словно поняв, что я думаю о нем. Его взор казался мне полным ехидства.

«Ну что, хозяин? — словно бы спрашивал он. — Я теперь не какой-нибудь там сиротинушка, мы с тобой одна семья. Что ты теперь будешь делать? Вот я тут, рядышком. И ты теперь меня не оставишь».

Глядя в глаза Винту, я вдруг понял, что он перестал быть для меня щенком неизвестной породы. Я к нему привязался и нужен ему. Бросить его на произвол судьбы я уже не смогу. Но что же мне делать?

Утопающий хватается за соломинку.

Выход есть! Верунчик! Моя лучшая подруга и, по всей видимости, если когда-нибудь наберусь храбрости, будущая жена.

А почему бы, собственно, и нет? А Винт будет... предсвадебным подарком.

Только надо бы привести его в порядок... Помыть, расчесать и выдрать из шерсти репы и прочий мусор, чтобы выглядел попрезентабельней.

...Странно, но даже вымытый и расчесанный, Винт мало походил на болонку. Да и шерсть какая-то курчавая и жесткая как проволока. Да, надо еще поводок купить и ошейник.

А теперь — вперед! К Верунчику. Чуть не забыл, цветы! Побродив среди лотков с цветами, я выбрал букет больших желтых нарциссов. Откуда я знаю, какие цветы она любит?

Путь к моей подруге занял довольно много времени. Надо же было набраться храбрости. Женитьба — дело такое... Да еще и с прицепом. А то, чего доброго — как увидет предсвадебный подарок. — так и на порог не пустит. Да и вообще страшновато.

Смотри, Винт, на какие жертвы я иду ради твоего... ну, и моего — благополучия. Главное — чтобы она была дома. А то придется еще торчать в подъезде... Надо было бантик тебе приделать, что ли? Ты бы красиво смотрелся на фоне желтых нарциссов.

Верунчик в отличие от меня жила одна в отдельной однокомнатной квартире — а значит, встреча и знакомство с тещей в ближайшее время мне не грозит. Я же имел комнату в коммуналке с тремя соседями.

Хозяйка была дома. Она открыла мне дверь — маленькая, глазастая, с милым личиком, усеянным веснушками.

— Привет, Верунчик! — сказал я, стараясь за искусственным оживлением скрыть свою неловкость. — Это — тебе! — и протянул ей букет.

— Привет... — слегка растерялась она, принимая цветы. — Спасибо... Входи.

Закрыв дверь, Вера подозрительно спросила:

— А что случилось? Впервые в жизни вижу тебя с цветами.

— 3-зз... — замялся я. — Тут, понимаешь, такое дело, — я вытащил из-за пазухи Винта и опустил его на пол.

Верунчик восторженно взвизгнула и опустилась на корточки, погладив щенка по голове. Он радостно облизал ее руку и закрутил обрубок хвоста.

— Вер, я женюсь, — решившись, сказал я, словно ныряя в прорубь.

— Женишься? — она поднялась, перестав ласкать Винта, и радостное выраже-

ние быстро сошло с ее лица. В ее голосе прозвучало сожаление.— А на ком, если не секрет?

— Да на тебе, на ком же еще? Сейчас пойдем в загс и подадим заявление. А это — предсвадебный подарок! — указал я на щенка.

Верунчик долго молчала. А потом спросила:

— Ну, и какой породы этот... подарок?

— Да вроде болонка. Вер, понимаешь,— заторопился я,— Меня в рейс посылают, но это ненадолго, на месяц-другой. Мне Винта, ну, его то есть, — я указал на нахлебника,— оставить негде...

— И ты вспомнил обо мне,— язвительно закончила она.

— Ну что ты! Я про тебя никогда не забывал! И... давай собирайся — пойдем подавать заявление..

— Вот так, сразу? — усомнилась моя подруга.

— А чего тянуть-то? — удивился я искренне

А через два дня в рейс меня провожала не просто знакомая девушка, а будущая жена с Винтом на руках. Я долго махал им рукой, стоя на палубе удаляющегося от берега судна, и впервые со странным облегчением думал, что теперь-то я точно женюсь...

Рейс затянулся на несколько месяцев. «Пилот» принадлежал к классу «спасателей» — его задача состояла в вытаскивании из всяческих передраг судов всех типов, бороздивших моря. Мы несли круглосуточную вахту, болтались в море, изредка заходя в различные порты, порой попадали в шторма, которые довольно часты на Балтике.

Среди дизелей, во время качки меня не покидали мысли о Вере.

Я вспоминал наши встречи, наши разговоры, свое обещание жениться, поданное в загс заявление... Но ведь я обещал ей вернуться через месяц, а прошло уже четыре. Мало ли какие в ее жизни произошли перемены. Ждет ли она меня еще? И как там мой Винт — он-то меня не забыл?

Но все когда-нибудь, да заканчивается. Подошло к концу и это плавание. В Лиепае, где мы простояли трое суток на отдыхе, я купил подарков для Веры, не забыв, конечно, и про Винта.

И сейчас, стоя с набитым чемоданом возле знакомой двери, я с нетерпением нажал кнопку звонка. Внутри меня звенела туго натянутая струнка — радостная и тревожная одновременно. Как-то меня сейчас встретят?

За дверью раздался рык и Верин голос произнес:

— Минуточку! Только уберу собаку.

Дверь открылась. Верунчик тихо ахнула и застыла на мгновение, распахнув и без того огромные глаза. Мое сердце билось мощными толчками. Я не давал телеграмму о своем приезде, свалился по своей привычке как снег на голову.

В следующее мгновение Вера бросилась мне на шею:

— Вернулся! Бродяга пропащий! Тебя же нельзя из дома отпускать!

И я понял, что нет у меня никого дороже... Чуть позже, спохватившись, я спросил:

— Вер, где там Винт? Смотри, что я ему привез,— и открыл чемодан.— Это шлейка. Специально для болонок.

— Для болонок? — смеясь, спросила она.— Сейчас я тебе покажу...— Верунчик скрылась в комнате, а через несколько секунд вышла оттуда, удерживая за загривок что-то огромное, лохматое и рычащее.— На вот, любуйся своей болонкой!

Я попятился.

— Это кто? Это... это — Винт? — ошалело спросил я, глядя на это косматое, как леший, чудо природы.

— Да, мой дорогой, это — твой предсвадебный подарок! — все еще смеясь, подтвердила Вера. И приказала Винту: — Лежать!

Он послушно растянулся у ее ног и задышал, вывалив полуметровый, как мне показалось, язык.

— А можно его погладить? — осведомился я с опаской.

— Конечно, да ты не бойся — он только с вида такой грозный, а на самом деле очень ласковый. Он же еще щенок!

— Думаешь, он еще не весь... вырос? — ужаснулся я и осторожно потрепал львиную гриву.

Потом я встал, и Верунчик снова оказалась в моих объятиях. Меня заполняло блаженство. Ненужная шлейка для болонки упала на пол...

Теперь нас было трое! Спасибо Винту, купленному мною за бутылку портвейна. Теперь бы еще узнать, что это за порода. А может, это и правда болонка, только мутант.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУЛЫ И ОБЛАСТИ

ПЛАВСКОЕ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ «СВЕТОЗАРНИК»

Известно всем, что если не все, то многое в жизни совершается не «благодаря», а «вопреки». Вопреки мизерному финансированию культуры, в противовес преступности и жестокости, сквозь асфальт корысти пробивается чистый и свежий родник творчества.

Известно, что Россия сильна провинцией. «...А жизнь рекой течет и в малых городах» — поется в песне. Вот и в нашем Плавске есть люди, чьи произведения, подобно палитре живописца, делают радостнее, ярче, многоцветнее картину нашей жизни, помогают людям найти в себе светлое, лучшее, обрести гордость за себя и за Родину. Всякая мошка и травинка нужны на Земле, всякое слово, идущее от чистого сердца, ценно и полезно. Вот и они, такие разные, певцы земли плавской, малая часть от живущих здесь словотворцев, заслуженно должны быть услышаны. Готовится к печати альманах плавских поэтов, но, к сожалению, как скоро он «родится», не может сказать никто. Но так хочется верить в чудо, которое произойдет на этот раз, и «благодаря», и «вопреки». Таланты в России есть!

Ирина Пархоменко

ВИКТОР РЕВИН



Родился 27 августа 1932 г. в г. Плавске, в 1947 г. поступил на завод «Смычка». 1951–1955 гг. — служба в рядах Советской Армии. Затем работал на заводе «Смычка», в УЮ-400/4. Трудовой стаж 46 лет. Сейчас возглавляет районное общество инвалидов. В 2006 г. издан сборник стихов и прозы «Зрелость лет».

ЗРЕЛОСТЬ ЛЕТ

Не надо гневаться на осень.
Завяли розы? Ну и что ж!
Ведь вам не восемнадцать весен.
Внучат не сразу перечтешь,

А холод и весной бывает,
Когда изменчивый апрель
Любовь с цветами возрождает,
А в мае вновь в душе метель.

Взгляните лучше на подворье,
Где в пламени — настурций цвет,
И хризантем седых лохмотья
Напоминают зрелость лет.

И к вам обратно возвратится
В осенней зрелости весна.
И будут золотом искриться —
Бокалы пенного вина.

Вас ваши звезды обогреют,
И будет вновь мгновений радость,
А покровительство Венеры —
Отбросит лет на двадцать старость

АЛЕКСЕЙ КОРНЕЕВ



Алексей Никифорович Корнеев родился в деревне Воейково, что в 15 километрах от Плавска и в семи от станции Горбачево, у истоков речки Локны. Рос безотцовщиной. Как многие подростки военной поры, с 14 лет работал в колхозе, затем на железной дороге, на заводе «Смычка». По окончании вечерней средней школы рабочей молодежи учительствовал в Кобылинской семилетней школе, одновременно обучаясь в Московском полиграфическом институте. С 1954 года перешел на журналистскую работу. Сначала — в районной газете (пос. Арсеньево Тульской области), затем в областных газетах разных городов Средней России, в Приокском книжном издательстве (Тула), в журнале «Молодая гвардия» (Москва), в издательстве «Сатурн-С» (Подольск). С 1976 года — член Союза писателей СССР, затем — России. Выпустил более двадцати книг прозы и стихов. В настоящее время живет в подмосковном городе Чехове, продолжает работать над новыми книгами. Не прерывает связи с малой родиной.

ПЕЙЗАЖ

Люблю в погожий час заката
У речки молча посидеть,
Смотреть, как волны она катит,
Как начинается вечереть,

Как тени от куста длиннеют,
Как в густоте его ветвей,
Подняв головку, нежно млея,
Выводит соло соловей...

Спасибо, милая Природа,
За тихий солнечный закат.
За то, что день не зря мой прожит,
Что буду завтрашнему рад.

НИКОЛАЙ НЕВИЖИН



Родился 2 декабря 1933 года в рабоче-крестьянской семье. После окончания средней школы работал учителем физической подготовки в деревне Камынино, потом преподавал немецкий язык в Красногорской семилетней школе. Будучи студентом Орловского государственного педагогического института (факультет иностранных языков), принимал активное участие в уборке целинного урожая в Кустанайской области Казахстана. Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель». С легкой руки известного поэта и писателя Василия Катанова его «целинные стихи» нашли доброжелательный отклик на страницах молодежной газеты «Орловский комсомолец». Вернувшись в родные пенаты, преподавал англий-

ский и немецкий языки, руководил литературно-переводческим объединением «Златой посев», деятельность которого не раз отмечала писательская организация города оружейников. В то же время его публикации стали появляться в областной и центральной печати, в коллективных сборниках. Отдельные подборки стихов неоднократно передавались по Всесоюзному радио. Автор поэтического сборника «Светозарник», вышедшего двумя изданиями.

СОЛДАТКА

Расписалась на ямочках старость —
Злое время, не женский каприз.
И усталость, такая усталость
Тянет плечи настойчиво вниз.

Неподъемною стала лопата
В огороде, в саду — все равно.
А ведь рыла окопы когда-то,
При налетах пластая на дно.

Заходились от холода руки,
От напряжения не гнулась спина.
Но страдания, голод и муки —
Все в архивы списала война.

Разрываясь по дому на части,
Ты с утра торопилась в колхоз —
Твое тонкое, хрупкое счастье
Да по осени красный обоз.

Не успела еще оглядеться —
Навалились ослушно года.
Вроде вот они — юность и детство,
А уже не вернуться туда.

Письма мужа хранит как зеницу,
Под Орлом ему — пухом поля.
...На земле не поймала синицу,
В небе ей не достать журавля.

УСТАЛОЕ СОЛНЦЕ

Пожелтела в садах облепиха.
Терпок бледно-оранжевый сок.
Непогода крадется к нам тихо,
С неба слышен ее голосок.

На соломе укроюсь в сарае,
Окунусь с головой в тишину.
Спутав землю с божественным раем,
В нежных чувствах к земле утону.

С каждым днем все роскошней наряды
На траве, на реке, у плота,
Где под солнцем усталым наяды
Красят плечи в густые цвета.

И, отведав домашнего грога,
Скажет тут замостовский Жуан:
Жаль — талантом обижен от Бога,
За день, мол, написал бы роман.

Написал на едином дыханье
О движениях чувств и души,
О глазах, что полны полыханья,
О губах, что на вкус хороши.

И цветет всеми красками года
Обретенная в муках строка.
Как прекрасна в России природа,
Как в ней жизнь на износ коротка!

ИРИНА ФЕДОТОВА



Закончила Тульский государственный педагогический университет по специальности учитель математики и информатики, в настоящее время работает педагогом дополнительного образования, руководителем объединений компьютерного класса Дома детского творчества г. Плавска.

Не бойся, все можно исправить,
Сними лишний камень с души.
Ты крест на себе поставь
Успеешь, мой друг, не спеши.

Ты верен своей дороге —
Не всякий так сможет жить.
Ошибок не делают боги,
Не стоит себя винить.

Есть право у нас ошибиться.
Что жизнь? Это замкнутый круг.
Коль хочешь успехов добиться,
Не бойся ошибок, друг.

Вперед! И оставь сомненья:
Высоты подвластны тому,
Кто в жизни при их одолении
Не сдался себе самому!

АННА ИКОННИКОВА



Человек многих талантов, которые всегда служат людям: выпекает прекрасные торты, хорошо рисует. В молодости — активный участник художественной самодеятельности, дирижировала хором. Работая воспитателем детского сада, часто складывала потешки малышам.

МАРТ

Ложится синей тенью
Зима, замедлив бег.
И пахнет снег сиренью,
И морем пахнет снег!

Я марту очень рада:
Мне месяц тем хоть мил,
Что сына мне в награду
И внука подарил.

Соперничая с мраком,
Свет победит всегда!
Я в дружбе с юным мартом,
Хоть и давно седа.

К веселым звездам выше
Растут и сын, и внук.
Их имена услышу —
Капелью в сердце стук.

А день все прибывает,
И нет ему цены.
Сильней весны бывает
Предчувствие весны.

В душе на самом донце
Я детство берегу.
Ах, мартовское солнце
На мартовском снегу!

ЕЛЕНА РОМАНОВА



ПО ТЕБЕ

Умираю от тоски.
Вот взяла твои носки,
Их к своей груди прижала,
И слезинка набежала.
Я страдаю фетишизмом
И еще бог знает чем,
И беда мне с организмом:
Без тебя не пью, ни ем.
А порой — наоборот,
Все подряд мне лезет в рот,

Не могу сопротивляться,
Начинаю поправляться.
Что за жизнь, — сплошные муки!
Наложила бы я руки
На себя, да жаль тебя.
Кто ж польет слезой носки,
Умирая от тоски
По тебе?..

АЛЕКСАНДР ДЕМИН



Родился 6 июня 1966 г. в г. Плавске. Окончил Тульский политехнический институт. Работает на заводе «Смычка» начальником отдела маркетинга. Стихи пишет около десяти лет. Печатался в газете «Плавская новь». Увлекается музыкой, играет на гитаре.

ЗВЕЗДА

Зачем текут куда-то реки
И убегают поезда?
И как в обычном человеке
Вдруг поселяется звезда?
А он живет, о том не зная,
Искрясь сияньем серых глаз,
И рад вокруг цветущей жизни
Без ретуши и без прикрас.
Спешат, проходят мимо люди,
Не замечая на ходу
Того, что локтем вдруг задела
С небес упавшую звезду.

ТАТЬЯНА РЁВИНА



Родилась в г. Плавске. Образование высшее педагогическое. Работала в Плавской средней школе № 2 учителем начальных классов, преподавала музыку, вела поэтический клуб «Дорогою добра». Публиковалась в газете «Плавская новь». Автор более тридцати стихотворений и песен, которые с успехом прозвучали на поэтическом вечере «Я — женщина, во мне и мысль, и вдохновенье».

Я ЖИВУ

Вся жизнь из взлетов и падений,
Из вспышек и крошечной тьмы,
Уныния и вдохновений,
И из фанфар и тишины.

То безрассудное веселье,
А то волной накатит грусть.
И вдруг приходит озаренье,
Что я счастливой быть боюсь.

Когда восторг теснит сознание,
Звучит сигнал: спокойней быть!
Как горько разочарование
В том, для чего ты хочешь жить.

Наверно, можно по-другому:
Надеть футляр, все рассчитать,
Давать отчет любому слову,
А лучше и верней — молчать.

Тогда не будет слез, терзаний
И мрачных мыслей по ночам,
Не будет разочарований,
Сойдет раскаянья печать.

Нет, путь все будет так, как было,
Мир чувств не потеснить уму.
То фейерверк, то все постыло.
А это значит: я — живу!

ВИКТОР ГУСАК



Виктор Гусак родился в 1955 году на чернской земле у истоков реки Снежедь. По окончании Тульского госпединститута в 1976 году работал учителем математики. С 1989 года работает в уголовно-исполнительной системе. Печатался в областных и районных газетах, в журнале «Преступление и наказание». Является лауреатом всероссийского конкурса в уголовно-исполнительной системе — диплом 1 степени. Живет в г. Плавске.

КОРНИ

Срубили дерево к весне,
Но что об этом корни знали?
Счастливые, они все гнали
Свой сок наверх — к голубизне.

Им снилось: посреди весны
Цветет, шумит оно, родное,
От пчел и полдня золотое...
О, если бы сбывались сны!

Так и людского счастья миг
Мелькнет и долго сердцу светит.
Иных и нет уже на свете,
А мы все думаем о них.

* * *

Было лето и кончилось вдруг,
Непростительно поздно светает.
Журавли улетают на юг,
Журавли улетают.

Нам до счастья порой недосуг,
Только дни невозвратные тают.
Журавли улетают на юг,
Журавли улетают.

ТЕТРАПТИХ

1

Желаньем встречи окрылен,
Сквозь даль, огни и непогоду
С подножки спрыгну на перрон,
А дальше — будто кану в воду.
Шагну к тебе из темноты
И заключу скорей в объятья.
Земли и неба стоишь ты,
Любви и, может быть, проклятья.
О, эти милые глаза!
Зачем порой в них столько боли?
Горит и катится слеза,
И обжигает вкусом соли.

2

О, как непредсказуемы и новы
Восторгом твои бьющие мечты!
Скользнув сквозь руки, как через оковы,
Веселым вихрем закружилась ты.
Неведомым подхвачена теченьем,
За кругом круг изысканно чертя,
Красивая до умопомраченья,
Хохочешь, словно малое дитя.
А сад нас осыпает листопадом,
И светится такая бирюза!
И мне для счастья ничего не надо,—
Как только заглянуть в твои глаза.

3

Луна полночная опять
Желает с губ твоих напиток.
Как хочется тебя обнять,
В родные волосы зарыться.
И ничего не надо вслух,
Все без того готов понять я.
Все скажут вдруг,
Замкнувши круг,
Твои ответные объятья.
А перепелки: «Спать пора!»,—
Роняя маятником сердце.
А мне б до самого утра
В глаза любимые глядеться.

4

Не пиши, не звони:
Прошлым вряд ли напиток!
Грусть на дно урони
И пари, словно птица.
Ну, а я как-нибудь
Боль свою одолею.
Каждый выбрал свой путь,
Ни о чем не жалея.
Дни, как пламя, тушу
В недопитом бокале,
И, хоть прошлым дышу,
Но к тебе не причаляю.
Мы не по ветру жечь,
Что в лучах загорится,
Пусть все будет, как есть,
А что было — простится.

ВИКТОР КИРЮХИН
(литературная память)



ЖАЖДА ОТКРЫТИЙ

Уйду с ружьем на рассвете
В одетые синью поля,
Удачу совсем не моля,
На встречный не сетуя ветер.
От взгляда не скроется дичь,
Пушай себе прячется шустро.
Мне хочется нынче постичь.
Всем разумом зимнее утро.

Хочу до восторга познать
Сияние свежего снега,

Поля уподобить бы небу,
А небо — полями назвать.
И верить без тайн и наитий,
Назло суете и судьбе,
Что жизнь — это жажда открытий
В природе, и даже в себе.

ВЕДРЕННЫЕ ДНИ

И наступили ведренные дни:
Засилье света, марево теплыни.
И ветры заполошные сродни
Земным моим желаниям отныне.
Я поспешу в просторные луга
С тавром неизлечимого изгоя,
Где свеженарожденные стога
Аукаются сочно меж собою.
Где коростель телегою скрипит
То тут, то там, красавец осторожный.
Где резво из-под полога раки
Бежит родник, а убежать не может.
Где я встречаюсь с Музою моей,
Где с ней милуюсь, ссорюсь и тоскую...
Мне, видно, поспешать до склона дней,
Коль выбрал себе долю я такую.

ИРИНА ПАРХОМЕНКО



Окончила ТГПИ им. Л. Н. Толстого по специальности «Математика и физика». Дипломант Тульского областного фестиваля «Женщина года-2002» в номинации «Культура и духовность». Автор трех поэтических сборников «Янтарная свеча», «Цветущие звезды», «Лунная дорожка». Многочисленные публикации прозы и поэзии в районных и областных газетах, коллективных сборниках. Почти вся жизнь связана с плавской землей. Постоянный автор «Приокских зорь».

Избранное из букета сонетов «ОСЕНЬ»

1. Художник

Осенний день тихонько угасал,
Бросая блики на листву златую.
Который раз я заключил в овал
Картину осени. Опять ее рисую.

Хоть буйство красок передать легко,
Как передать озябшее дыханье,
И аромат костров, горящих далеко,
И сонных вод немое колыханье?

Уменью моему суровый дан предел.
Но жребий горький клясть теперь не вправе:
Хоть многому учиться бы хотел,
Но я подвержен лени отраве.

Ученье — свет, известно нам давно,
Но жизнь не перенести на полотно.

2. Разлука

Садилось солнце в пламени закатном.
Сентябрь горел. Сквозь решето листвы
Багровые просеивались пятна
И умирали, как мои мечты.

Пылает медью лес. И золотом, пурпуром
Блистают деревья, хоть их недолог бал.
Вот лист орешника созрел. Кроваво-бурым
Он медленно к ногам моим упал.

Покой нисходит к нам, и выпцветшее небо
Заката красками расцвечено опять.
Но мне дороже были эта небыль,—
В разлуке остается лишь мечтать.

Как лист, прощаясь с веткою родною,
Я знаю, что не свидимся с тобою.

3. Последний лист

Вновь пригоршнями щедрыми бросал
В окно мое осенний ветер листья.
В своем стремленье досадить он был неистов:
Осенняя загублена краса.

И пусть летит в далекие края
Последний лист. Ему не жаль потери этой.
А без него, последнего, на свете
Скучаю и тоскую. Ты и я,

Мы оба, понимаем, что прошло:
Любовь исчезла вместе с листопадом,
И жизнь бессмысленна. Уже не надо
Искать над нами ангела крыло.

Исчез тот лист, последний знак любви.
И лишь одна зима царит в крови.

5. Годы

Унылая пора, когда тоска опять
Меня не покидает совершенно,
Все длится без конца. Но все-таки блистать
Мне солнце жизни будет непременно.

Пусть чертит серый дождь косые письма
И тут же их смывает недовольно.
Казалось, напрочь позабыты имена,
Но как их возвращенье к жизни больно!

Я в одиночестве смогу пробыть хоть век,
В себе самом чтоб лучше разобраться.
Неправда, что душой стареет человек —
Ему внутри не более чем двадцать!

Года, что пролетели надо мной,
Лишь голову покрыли сединой.

8. Чистый лист жизни

И шорох листьев умирающих послушать
Спешим, пока дожди не вызвали потоп,
Пока еще вокруг так много суши,
И солнце льет на мир свой золотой поток.

Земля пустынная не скована морозом,
Еще поблекшая лазурь небес чиста,
Еще мы предаваться может грезам,
Мечтая с чистого продолжить жизнь листа.

И скоро первый снег вновь чистую страницу
Расстелет щедрою рукою для людей.
И нам писать: иль быль, иль небылицу
На белом шелке замерзающих полей.

Нам новый день, как чистый лист дается!
Как жаль, что их все меньше остается!!!

14. Надежды лучик

Прогонит прочь и сны, и смерти тень
Зеленый лист, раскрывшийся недавно,
И жить, представьте, снова будет славна,
Когда весенний засияет день!

А нынче — осень... И печаль, и боль,
Тоска разлук,— все так невыносимо!
Скорей б морозы проносились мимо,
Скорей б весна, и новая любовь!

Ее-то удержать сумею. До седин,
До гробовой доски мы будем вместе.
И я к своей неведомой невесте
Иду как за звездой пилигрим.

Храним ли верность иль любовь храним,
Надежды лучик нам необходим!

15. Осенний день

Осенний день тихонько угасал,
Садилось солнце в пламени закатном.
Вновь пригоршнями щедрыми бросал
Бродяга-ветер листья безвозвратно.

Унылая пора, когда тоска опять
Из дома гонит неприкаянную душу,
И хочется в ладони осень взять,
И шорох листьев умирающих послушать.

Природа засыпает до весны,
И будет стыть под одеялом белым.
И будут жить одни лишь только сны
В телах берез с корой оцепенелой.

Но лишь весенний разгорится день,—
Прогонит прочь и сны, и смерти тень.

ВАЛЕНТИНА БОЛЬШАКОВА



Валентина Макаровна — бывшая медсестра детского сада. Стихи пишет давно, со школьной ученической скамьи. Публикации в районной газете «Плавская новь» и нескольких областных. Участница коллективных поэтических сборников «Во весь голос», «Великий май», «Свет любви». Готовится к печати сборник стихов «Родные места». Ее стихи отличает большая нежность, доброта.

МЕСТА РОДНЫЕ

Солнце, лес и воздух свежий,
В речке светлая вода...
День чудесный, безмятежный
Не забуду никогда.
Гриб сорву я осторожно,
Ягоду сорву с куста.
Обойду, если возможно,

Незнакомые места.
 Вот причудливым узором
 Мох лежит и там, и тут.
 И приятны моим взорам
 Все кусты, что здесь растут.
 Но подруги слышу голос:
 «Ау-у, Валя, где ты есть?»
 Паутины нежный волос
 Не задеть бы. Где пробрести?
 Мы домой идем. Над нами
 Кружит птица в вышине.
 Над родными над местами
 Полетать бы так же мне.
 Надо ж, как она умеет!
 Ведь крылом не шевельнет,
 А над нами реет, реет
 И с собою ввысь зовет.
 Улетай скорее, птица,
 Хватит душу ворошить.
 Раньше б мне не торопиться,
 Отчим домом дорожить!

ЕКАТЕРИНА АБРАМЫЧЕВА



Родилась в 1964 году в г. Ленинграде, однако, почти вся жизнь связана с г. Плавском и Плавским районом. Детство прошло в с. Частое и Мещерино, юность — в г. Плавске и п. Горбачево, в котором в 1981 году окончила среднюю школу. После окончания Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого работает в Горбачевской средней школе учителем иностранного языка уже двадцать лет. Руководит школьным экспериментальным театром. Сотрудничает с Домом детского творчества и оркестром народных инструментов «Радость». Воспитывает сына и дочь. Писать стихи начала еще в школе, занимаясь в литературном объединении «Златой посев» у Н. Н. Невижина, в газете «Путь к коммунизму» за 1978 год сохранились самые первые публикации. Именно в районной газете двадцать лет спустя и была опубликована первая подборка стихов. С 1998 года произведения публиковались в газетах «Плавская новь» и «Тульский литератор», в книге «Над рекой, над Плавой», альманахах «Артефакт-2, -3, -4».

ДРУЗЬЯМ

*И счастье моих друзей
 Мне было сладким утешеньем.*

А.С. Пушкин

Бог помочь, вам, друзья мои, во всем.
 В лихие дни подчас меня спасала
 Мысль, что вы есть, и меньше горевала

Я за полночь за искренним письмом.
Бог помочь вам, друзья мои, во всем!

Мы в разные встречались с вами годы,
В ненастную и ясную погоду,
Коль в гору жизнь и коли жизнь — на слом...
Бог помочь вам, друзья мои, во всем.

Деля со мною все мои печали,
Вы никогда меня не осуждали,
Подав мне руку и прикрыв плечом.
Бог помочь вам, друзья мои, во всем!

Без золота, дворцов, машин и шелка
Вы — богачи совсем иного толка,
Рокфеллеры за письменным столом.
Бог помочь вам, друзья мои, во всем!

Я вас люблю, чем дальше, тем сильнее.
С годами дружба, как вино, ценнее
И крепче, словно редкостный алмаз.
Бог помочь вам, друзья мои. От вас
Я никогда не прятала суждений.
Над ворохом моих стихотворений
Мы с вами ночи не смыкали глаз,
В вас обретая суд и вдохновение.
Благодарю за верность и терпенье,
За помощь и совет, за теплый дом.
Бог помочь вам, друзья мои, во всем!

Пусть Он хранит вас от несчастья злого,
Грядущих бед и горестей былого,
Нелегкий путь ваш осенив крестом.
Бог помочь вам, друзья мои, во всем!

ДРУЗЬЯМ ПО СЧАСТЬЮ

*И догадал же Господь родиться
В России с душой, умом и талантом!..*

А. Пушкин.

Как много общего в поэтах!
Неважно — мал иль знаменит,
Их всех поэзия хранит
Надежнее, чем все запреты,
Верней, чем мрамор и гранит.
Их всех роднит причастность к тайне,
Свобода быть — или не быть,
Отказ волкам по-волчьи выть,
И, оставаясь вечно крайним,
Дурная участь грешным слыть.

Поэт несчастен и прекрасен,
Приговоренный к жизни Бог.
Клинком отточен острый слог,
Молниеносен и опасен —
Строку не заточишь в острог!

Поэт беспомощно всемогущ.
Он может все — и ничего.
Раб дарованья. Оттого
Следы ведут к его могиле,
Что Дар освободил его.

Загадки перекрестья судеб
И неразгаданных смертей
Мы тщетно тщательно обсудим
Среди вестей промеж гостей.
А истина сродни рассвету.

Ты выйдешь утром на порог:
Приговоренный к жизни Бог
За дар свой отбывает срок.
Так много общего в поэтах!

АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО



Пархоменко Александр Васильевич, полковник в отставке, кандидат технических наук, доцент. В настоящее время преподает на кафедре артиллерийских приборов в Пензенском артиллерийском инженерном институте им. Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова. Юность прошла на тульской земле, в ТВАИУ работал преподавателем с 1974 по 1981 год. Автор большого количества учебников по оптике и топографии, имеет патенты на изобретения. Причастен к разработке системы ГЛОНАСС. С 1992 по 1995 год работал в Республике Сирия в военной академии г. Алеппо (Халеб). Имеет правительственные награды Сирии и России. В г. Пензе прошла персональная выставка его художественных работ, получившая высокую оценку специалистов. Кроме путевых заметок о Сирии, написан роман «Перстень Мансура», который пока не удастся издать в силу финансовых причин.

ПО ХРИСТИАНСКИМ МЕСТАМ СИРИИ

История Сирии уходит корнями в палеолит и в натуфийскую культуру. На протяжении тысячелетий она была окраиной многих государств — шумерского, аккадского, финикийского, аморейского, египетского и арамейского. Входила Сирия и в состав империи Македонского, Древнего Рима и Византии, а позднее и в состав араб-

ского халифата. Прокатились через нее с мечом крестоносцы, Тамерлан, мамлюки. Более 400 лет Сирия была оккупирована турками и после Первой мировой войны более 20 лет являлась французской подмандатной территорией. Каждая эпоха оставила свои памятники архитектуры и свой след в истории страны. Простая прогулка по улицам Дамаска и Халеба, где более пяти тысяч лет живут люди, заставит вас ощутить дух истории.

Сирия — страна, где исповедуют ислам. Но рядом с мусульманами мирно живут и христиане. Христиане различных течений в Сирии составляют около 10 % населения. На территории Сирии находится большинство из 18 епархий Антиохской православной церкви, основанной в 37 г. Св. апостолами Петром и Павлом. У Русской православной церкви всегда были братские отношения с Антиохской церковью. С 1948 г. в Москве существует Антиохское подворье, а в Дамаске с 1958 г. существует представительство патриарха Московского с храмом Иоанна Златоуста при нем.

Помимо интереснейших древнейших и не очень исторических памятников, верующим обязательно покажут библейские места и места, связанные с зарождением христианства.

Приехавшему в Сирию из России, будет трогательно узнать и потом посетить часовню Св. Павла. Она построена в Кокабе (12 км к юго-западу от Дамаска) в 1965 г. на средства Патриарха Московского и всея Руси Алексия (о чем гласит надпись на стене у входа). Часовня расположена на том самом месте, где по преданию, ослепленный Савл — будущий Св. Павел — упал с коня. С холма открывается живописный вид на Дамаск и Хермон. Часовня находится на Голанах, ограниченных с севера хребтом Хармон, с запада рекой Иордан и Тивериадским озером, а с юга — рекой Ярмук.

В Дамаске вы можете посетить Прямую улицу, упоминаемую в Евангелии, и связанный с историей жизни Св. апостола Павла дом Св. Анания. Именно здесь Ананий наложением рук избавил Савла от слепоты. Нареченный Павлом бывший гонитель стал проповедником христианства. Из Дамаска Павел бежал от своих преследователей, спустившись ночью по веревке с городской башни Баб Кисан.

Мечеть Омейядов — одна из знаменитейших мечетей мира. Ранее это был храм Св. Иоанна Крестителя. С принятием ислама в Сирии он перестроен в мечеть. В восточной части зала находится часовня Св. Иоанна Крестителя (он же пророк Яхья в мусульманской традиции). Здесь покоится голова святого.

На склонах горы Касьюн, нависающих над Дамаском на высоту более 450 метров, вы можете посетить Макам Арбаин (стоянка сорока). В этой мусульманской мечети можно войти в «Магарат ад-дам» (кровавая пещера), где, по преданию, Каин убил своего брата Авеля. По преданию, в этой пещере от голода погибло 40 христианских проповедников, заточенных сюда иудеями.

Недалеко от Дамаска, в районе Сук Вади Барада, в Тель Наби Хабиль на горе возвышается небольшая мечеть, где, по преданию, находится могила Авеля. Длина саркофага 7,5 м. Во дворе мечети растет очень старый дуб, якобы посаженный Каином.

Совершив путешествие на юг от Дамаска, обязательно посетите Босру. Nabateйский и римский город знаменит не только хорошо сохранившимся римским театром на десять тысяч мест, но и тем, что здесь находится известный христианам и мусульманам монастырь Бахиры (Бахейры). Монах Бахира проповедовал христианские истины простому погонщику верблюдов Мухаммеду, которого потом будут почитать как пророка своего бога — Аллаха.

В Эзраа (античная Зорава) вам покажут православный храм Св. Георгия из черного базальта (IV век), в котором, по преданию, хранятся или часть мощей святого, или сам святой. Узнав, что вы из России, обязательно расскажут, что дерево на купол прислал в дар русский царь Николай II.

В 22 км от Дамаска расположен монастырь Сейднайской Божьей Матери (547 г.). По количеству паломников православный монастырь стоит на первом месте на Ближнем Востоке. Здесь хранится чудотворная «шахура» (знаменитая) икона, написанная самим Св. Лукой.

В 7 км на северо-восток от Сейднай, одной из самых высоких точек хребта Каламун (2011 м), расположен, основанный в IV в., монастырь Дейр Шерубим (херувимов — по-арамейски). В ясную погоду с площадки, где расположен огромный крест, глаз видит на 100 км.

В 8 км на юго-восток от Сейднай находится церковь Мар Ильяс (Святой Ильи), в которой находится Макам Мар Ильяс (пещера Св. Ильи). В этой пещере Св. Илья укрывался от преследователей царицы Иезавели. Рядом с пещерой пробитый молнией в горе отвесный туннель, через который Илья скрылся от погони.

В 50 км от Дамаска находится Маалюля. Здесь два монастыря: монастырь Св. Феклы (Теклы, Таклы) — первой христианской святой и ученицы апостола Павла; монастырь Св. Сергия и Бахуса — того Сергия, в честь которого наречен Сергей Радонежский. Маалюля — единственное место в мире, где еще жив арамейский язык, на котором разговаривал Иисус Христос.

В Хомсе обязательно посетите канисат Умм Зуннар (церковь Пояса Девы Марии). Эта церковь восстановлена IV в. на месте крипты (подземной часовни), основанной в 59 г. По местной легенде, жители Хомса написали письмо своему земляку Св. Фоме в Индию в Мадрас, и он прислал этот пояс. Сирийская Дирекция древностей документально подтверждает что хранящийся здесь пояс относится к римской эпохе.

В Апамее (Афамии), в городе, выстроенном Селевком, полководцем Македонского, для своей жены Апамы, можно часами любоваться двухкилометровой колоннадой витких и стройных колонн. Здесь можно посмотреть остатки великолепных мозаик в разрушенной круглой церкви Св. Козьмы и Дамиана. Согласно легенде, они были уроженцами этих мест и занимались врачеванием.

В Халебе (Алеппо) старинные улочки напоминают сказки «1000 и одной ночи». Этот город получил название от серой коровы Авраама, который, по местной легенде, жил здесь. В центре города расположена мечеть Джами аль-Кабир или, как ее иногда называют, Джами аль-Закария. Ранее это был христианский монастырь. Здесь находится кенотаф Св. Захария (мусульмане называют его Закария), отца Иоанна Крестителя.

В 30 км от Халеба, в горах Джабель Симон, находятся хорошо сохранившиеся развалины монастыря Св. Симеона Столпника (389–459 гг.). Сначала простой пастух Симеон начал «сидение» с двухметровой глыбы, которая за 37 лет была им наращена до 15 метрового «столпа». Со всего мира к Св. Симеону шли паломники. Монастырь действовал до конца XII века; его уже как крепость использовали крестоносцы в войне с арабами.

Город Расафа (библейский Рецеф и ранневизантийский Сергиополис) расположен в 23 км от р. Евфрат. Удивительное впечатление производят руины Расафы, сверкающие ярко-белым камнем типа мраморовидного известняка среди желто-красной Сирийской пустыни. Здесь находятся развалины большой базилики — главной церкви Расафы, где хранились тела Св. Сергия и других христианских мучеников, того Св. Сергия, которого так почитают на Руси.

Всех библийских мест и мест, связанных с историей христианства, не перечислить. Расскажем чуть подробнее о некоторых.

МААЛЮЛЯ



Сюда ведет желание поклониться мощам Св. Феклы (Текле, Такле) — первой христианской святой и ученицы апостола Павла. Здесь же, в Маалюле, находится монастырь Св. Сергия и Бахуса; того Сергия, в честь которого наречен сын боярский Варфоломей из Радонежа — подвижника земли русской. А еще так хочется услышать живой только здесь арамейский язык, на котором разговаривал Иисус Христос.

Этот небольшой городишко находится в каких-то 50 км на северо-восток от Дамаска. Стиснутая с двух сторон горами дорога уводит нас из красивой, но душной столицы Сирии. Мотор машины перестал нутжно гудеть — мы на перевале. Скалы у дороги расступились, и дорога выкатывается на плато. Серый цвет скал сменяет красная каменистая земля. Высокие обрывистые горы влево от трассы Дамаск — Халев стоят на горизонте «великой китайской стеной». То тут, то там на красных полях видны зеленые листья виноградников и фиговых деревьев, зелень овощей на грядках.

Указатель «Маалюля» при въезде в город вырастает неожиданно. Выходим из машины. Свежий ветер. Дышится легко. На душе спокойно. Взгляд скользит по разорванной горной цепи, нависшей над городком, который расположился на высоте

1650 метров над уровнем моря. Домишки карабкаются друг на друга и лепятся, прижимаясь как пчелиные соты, к отвесным скалам. Зачастую крыша одного дома служит двориком другого. Между домов видны огромные камни, упавшие с крутых склонов. Такое ощущение, что в этих домах под скалами живут убежденные фаталисты, которые считают — «авось пронесет» или «все в руках Божьих».

«Маалюля» — слово арамейское и означает «вход». Поселение действительно расположено при входе в ущелье, пересекающее горную гряду Каламон. Это место воспето в старинных народных сказаниях и известной легенде о Св. Фекле (Текле).

Согласно местной легенде, ученица апостола Павла — Текла — вынуждена была бежать от своего отца-язычника. Тот послал солдат в погоню за дочерью, приказав убить отступницу. Спасаясь от преследователей, Текла достигла горы, преградившей ей путь, заплакала и в отчаянии воззвала к Богу, прося у него помощи. Господь смилостивился над бедной девушкой и расколол гору, дав ей возможность убежать. Позднее Текла поселилась в одной из пещер в начале ущелья, где предавалась молитвам. После нескольких исцелений безнадежно больных последовательница Св. Павла приобрела славу врачевательницы больных и калек. Отсюда и второе название Маалюли — место, куда приходят «маалиль», что по-арабски означает «больные».

А саму Теклу местные жители называют Мар Текла (по арамейски «Мар» — «Святая») или Баркхата (благословенная).

Описанию жизни Теклы посвящено множество церковных сочинений, не совпадающих, правда, в деталях с тем, что говорится в Евангелии (Деян. Апостолов 13, 14). Своеобразную трактовку жизнеописания можно прочесть в [7]. Самое древнее жизнеописание, апокрифическое «Деяние Павла и Феклы» [4], написанное во II в. в Египте, гласит, что, когда Св. Павел был изгнан из Антиохии (автор так описал внешность апостола: среднего роста, с курчавыми волосами, кривыми короткими ногами, голубыми глазами и длинным носом), он отправился в Иконий (совр. Конья в Турции), где остановился у некоего Онесифа. По соседству жила богатая вдова, дочь которой Такла, сидя у открытого окна, слышала речи гостя. Уверовав в Бога, Такла прошла все испытания.

Св. Текла скончалась в конце I века и была погребена в своей пещере, где она молилась и лечила больных. В ранневизантийский период рядом был построен монастырь. Ранее здесь существовал римский храм, незначительные остатки которого обнаружены под полом церкви. Православный женский монастырь Св. Теклы, настоятельницей которого является мать Пелагея, расположен у подножия горы, чуть ниже пещеры, где покоятся мощи святой.

Поражает монастырь уже при подъезде своими крестами, верхняя перекладина которых не плоская, а смотрит на все четыре стороны света.

Выйдя на площади у монастыря, мимо лавочек с сувенирами поднимаемся по ступеням и через прохладные своды выйдем во внутренний двор. Монастырский дворик окружен двухэтажными галереями, на которые выходят двери келий. В них живут монахини и гости, которые приехали сюда изучать арамейский язык.

Направо с дворика — вход в храм. Богатые и красивые иконы. Фрески на стенах отсутствуют. Служба в храме идет на арамейском языке. Храм православный, но в отличие от российских храмов прихожане могут сидеть во время службы. Как пояснили местные верующие: «Лучше сидя думать о Боге, чем стоя — о больных ногах». В Антиохской православной церкви остались, как утверждают священники, те же обычаи, что и до разделения ее на православную и католическую.

В дальнем конце дворика каменные ступени ведут вверх к келье Св. Теклы. В часовню, где покоятся ее мощи, по сей день приходит много посетителей. Больные и калеки, которым Св. Текла продолжает помогать, оставляют порой свои костыли и протезы у ее гроба. На решетке, за которой покоится прах Св. Теклы, висят миниатюры

тюрные серебряные и золотые изображения различных частей человеческого тела — рук, ног, глаз и т.д. — дары в благодарность за исцеление или знак просьбы о помощи; это языческий обычай, который был широко распространен на христианском Востоке. На этой решетке висит и серебряная цепочка моей жены Ольги. Тяжелая боль в груди и кашель как-то незаметно прошли, когда она, зайдя в каморку возле кельи святой, поставила свечку, а монахиня, ваткой, смоченной оливковым маслом из горящей лампы, нарисовала ей на лбу крест и прочитала на арамейском языке короткую молитву.

Выйдя из кельи, приятно посидеть возле ограды пещеры, через которую рвется к свету древняя купина. Где-то внизу чуть слышен гул голосов — это на площади у входа в монастырь. Через приоткрытую дверь из кельи Св. Теклы доносится чтение молитвы на арамейском языке — ее читает монашка возле большой лампы. И только потом до тебя доходит тихий шепот капель, падающих с потолка в каменную чашу, удивительно совпадающий со спокойными ударами твоего сердца. Не иссякает целебный источник, находящийся внутри пещеры. Посетители пьют святую воду из посеребренной чаши, которая прикреплена цепочкой.

Спустимся в монастырский дворик и зайдем в церковную лавку. Здесь традиционный выбор крестиков, икон, открыток и др. Здесь можно приобрести и Библию на арамейском языке.

Выходим на площадь перед монастырем. Наш путь мимо монастыря, к узкому проходу позади него. Это ущелье Аль-Фаджж — ущелье Мар Теклы. Как утверждают, это и есть путь бегства Св. Теклы. Гора в этом месте словно разломлена какой-то могучей силой. Высокие вертикальные стены расщелины местами смыкаются над головой, создавая таинственный полумрак. Местами сюда проникают лучи солнца, ярко освещая кое-где разноцветные скалы. По дну расщелины бежит маленький ручеек. Ущелье очень узкое и глубокое. В некоторых местах руками можно дотронуться сразу до обеих стен. Кажется, в любой момент земля вновь содрогнется, и скалы опять сомкнутся... Но нет, скалы не смыкаются, и вдоль всей двухсотметровой щели отважными экскурсантами оставлены на разных языках мира памятные надписи о своем пребывании. Есть и русские...

В конце ущелья современный мост через ручеек преграждает дорогу. За мостом — пирамидальные тополя вокруг небольшой запруды. Оттуда слышна музыка и доносятся ароматы восточной кухни.

Но мы поворачиваем вправо и поверху идем над ущельем к его началу. С площадки, над началом ущелья, внизу виден монастырь Св. Теклы и весь городок, а над местом, где мы стоим, нависает современный отель «Сафир». За ним — монастырь Св. Сергия и Бахуса или как его здесь называют — Мар-Саркис (Святой Сергий).

Если смотреть с дороги при въезде в Маалюлю, то синекупольный приземистый монастырь Мар-Саркис расположен на высоте 1790 м, на вершине горы слева от ущелья, чуть ниже и как бы в тени современного отеля, который выстроен на самой ее вершине. К монастырю можно добраться и на автомобиле, повернув перед площадью в городке налево.

А мы покидаем ущелье Аль-Фаджж и, обогнув по дороге отель, выходим к мужскому монастырю Мар-Саркис.

Римские легионеры Сергий и его брат Бахус, став тайными приверженцами новой христианской веры, отказались здесь в 297 г. принести жертву Солнцу. Братья были офицерами в дворцовой охране тогдашнего римского правителя провинции Сирия Сосиана Иерокла. Поэтому этот факт стал сразу известен соправителю императора Диоклеона Максимиану. По свидетельству современников, Максимиан воскликнул: «Отступиться от богов, в которых верит сам император! Разве они не изменники?» В наказание за это они были разжалованы до рядовых. Их облачили в

женские одежды и отправили на границу империи, в военный лагерь Каструм Барбалисос (совр. Мескане), расположенный на берегу Евфрата. Здесь братья предстали перед трибуналом. На протяжении всех испытаний братья подбадривали друг друга, говоря, что истинный Господь ждет их на небесах. Бахуса казнили и похоронили в Барбалисосе. На Сергия надели обувь, утыканную гвоздями, и заставили идти более ста километров до Расафы. Там после новых пыток его обезглавили в 305 г.

Во времена Диоклеона (284—305 гг.) Расафа — один из «фортов» в конце 500 км пути «Страта Диоклеона» — дороги до границ Римской империи. Город Расафа (ранневизантийский Сергиополис), расположен в 23 км от Евфрата. Город упоминается еще в ассирийских текстах как Расапа и в Библии — как Рецеф или Рецев (Исайя 37:12; 4 Книга Царств 19:12). Удивительное впечатление производят руины Расафы, сверкающие ярко-белым камнем типа мраморовидного известняка среди желто-красной Сирийской пустыни. Недалеко от ворот возвышаются развалины большой базилики — главной церкви Расафы, где хранились тела Св. Сергия и других христианских мучеников. На высоких колоннах резные греческие надписи, почему-то выполненные в зеркальном отражении, в том числе можно разобрать имя Сергия. Со второй половины IV века Расафа становится, после молвы о чудотворности могилы Св. Сергия местом паломничества. Интересна история Расафы, но это тема другого рассказа.

Посмертно Сергия и Бахуса причислили к лику святых.

Спустя тысячу с небольшим лет Варфоломей, сын ростовского боярина Кирилла, был пострижен в монахи 7 октября иеромонахом Митрофаном и наречен Сергием в день памяти христианских мучеников Сергия и Бахуса. И Сергей Радонежский, общерусский святой, действительно стал «воином Христовым», сражающимся за правду.

Через низкие монастырские ворота, пригнувшись, мы входим во двор монастыря.

Монастырь Мар-Саркис возведен на месте языческого храма Солнца, остатки стен которого и были использованы. Строительство относится к IV в., а точнее к периоду между 313 и 325 гг., когда при императоре Константине христианство стало официальной религией. В древности каменные стены монастырской церкви были покрыты фресками. Не так давно был обнаружен участок, где сохранилась цветная роспись.

Интересны некоторые из находящихся в церкви икон. Например, Пресвятой Девы Марии, являющейся копией написанной Св. Лукой Евангелистом (подлинник хранится в монастыре Сейдная). Самые красивые иконы написаны знаменитым Михаилом из Крита специально для этого храма в 1813 г.

Два алтаря церкви (в центре — Св. Сергия и слева — Девы Марии) — уникальной чашевидной формы, унаследованной от языческих времен, с тем лишь отличием, что они не имеют отверстий для стока крови и изображений животных, разрешенных для жертвоприношения. Такая форма алтаря была отменена в христианских церквях из-за недопустимой схожести с языческими во второй половине IV в.

Этот мужской монастырь туристские путеводители относят к византийской эпохе. Однако преподобный отец Мишель Зрури, в чьи обязанности входит прием экскурсантов и визитеров, утверждает, что монастырь воздвигнут на месте одной из первых христианских часовен. В доказательство своих слов отец Мишель показывает древнего вида двери. Документ с печатями, висящий в рамочке на стене в лавке, на трех языках удостоверяет исследования возраста деревянных ворот храма, которые сейчас хранятся под стеклом — им около двух тысячелетий.

Рядом с драгоценной реликвией — кружка для пожертвований, открытки, проспекты, крестики, предметы из камня и дерева, сделанные монахами и напоминающие о том, что и монастыри не свободны от забот мирских. Оригинальный сувенир Мар-Саркиса — бутылка с цветным песком. Монахам помогает поистине «ангельское» терпение уложить в бутылке изображение из десятка слоев песка различных цветов.

Отец Мишель, узнав что вы из России, где почитают Св. Сергия, обязательно покажет все уголки монастыря, а в конце экскурсии — причастит монастырским вином из серебряных чарочек. При этом он не забудет включить магнитофон с записью на русском языке истории монастыря или молитвы на арамейском языке. А если вы понравитесь ему, он пригласит вас в келью посмотреть рукописную древнюю Библию на арамейском языке. Священник подходит к окну кельи. Великолепный вид открывается перед вами: внизу под нами серые домишки Маалюли, перед нею — зеленая долина на кроваво-красной земле, а вдали простирается безграничная серая Сирийская пустыня. Священник обязательно укажет на скалу вблизи монастыря и скажет: «Иисус Христос». Не сразу, но во внешних очертаниях крутой скалы, напротив монастыря Св. Теклы, можно различить профиль лица и черты Спасителя.

О том, что район Маалюли был освоен уже в античный период, говорят многочисленные гробницы и склепы отшельников, высеченные в известняке плоскогорья, близ монастыря Св. Теклы. Низкие склепы теперь совершенно пусты. Наиболее интересный склеп находится к северу от монастыря Мар-Саркис, чуть ниже входа в гостиницу «Сафир» (ключ можно взять у портье). Этот склеп называется Магарат хури Юсеф (пещера попа Юсефа).

Если, спустившись вниз, в городок, проехать от находящегося в центре монастыря Мар Джоржиус 150 м, то слева будут остатки римского храма или мавзолея, называемые Хаммам аль-Малика — «баня царицы». По местной легенде, язычники предавались здесь вакханалиям. Один святой человек пришел призвать их к добродетели, но они не стали слушать его, и бог погубил всех, а место разрушил.

Жители Маалюли и гости торжественно отмечают день Воздвижения Креста Господня (14 сентября), праздник Св. Теклы (24 сентября) и Св. Сергия и Бахуса (7 октября). В день Воздвижения (обретения) Креста Господня все селения озаряются кострами. Самый большой из них зажигается на горе над ущельем в память о 325 г., когда в Иерусалиме императрицей Еленой, матерью Константина, был найден крест, на котором распяли Христа, и для скорейшего сообщения радостного события в Константинополь на вершинах по пути следования Креста зажигались сигнальные костры.

Особую мировую известность Маалюля приобрела тем, что ее жители до сих пор говорят на сирьяском (западном) диалекте арамейского языка, принадлежащего к семитской группе и в древности бывшего основным языком общения восточного Средиземноморья. На арамейском языке, но на восточном диалекте, говорят и другие потомки ассирийцев — айсоры, которых можно встретить в Ираке, в Закавказье и даже в Москве. Однако, по преданию, Иисус Христос говорил на западном диалекте арамейского языка. Сегодня на этом языке, кроме Маалюли, говорят лишь в двух деревнях в горном районе Каламон: Бахааа (Бакха) и Джабаадин (Джубадин).

Официальным языком земель Среднеземноморья во времена Христа был греческий, так как Египет, Иудея, Палестина и Сирия являлись окраинами империй сначала Греции, а затем Рима.

На арамейском языке написаны некоторые части Священного Писания (например, Евангелие от Матфея), две книги Ветхого завета (Книга Ездры и Книга Даниила). Притчи, афоризмы и речения в тексте Евангелий, переведенные на греческий, из первоначальных изустных арамейских преданий невольно утратили сжатость и упругость речи, более похожей на энергичные стихи, чем на прозу, играющей каламбурами, ассонансами, аллегориями и рифмоидами, которая сама собой ложится на память, как народное присловие. Например, афоризм «Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ио 8,34) дает двустилишие:

kul de 'abed het'ah
'abhda hu dehet'a.

В основе лежит игра слов: «делать» — 'abed, «раб» — 'abd. Такой же каламбур-

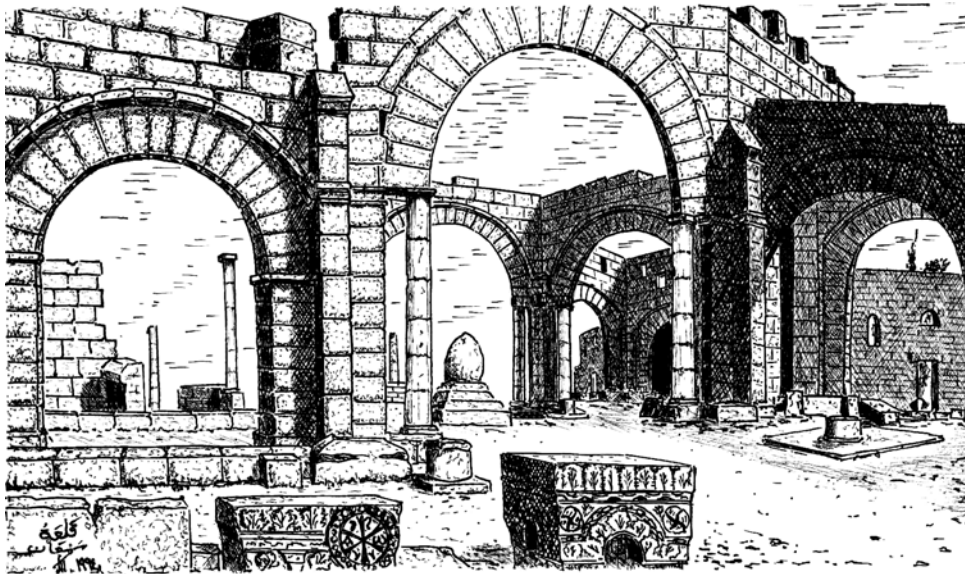
ный характер имеет вопрос: «кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту» (Матф. 6,27); «заботясь» — jaseph, «прибавить» — 'oseph. Вот рассматривается случай, «если у кого-либо из вас сын или вол упадет в колодезь» (Лук. 14,5). Почему, собственно, такое сопряжение «сына» именно с «волоом»? Грекоязычные переписчики со временем даже заменили «сына» на «осла» (такое изменение перешло в латинский и другие переводы, вплоть до русского). Но дело в том, что по-арамейски все три существительных созвучны почти до неразличимости: «сын» — b'ra, «вол» — b'ira, «колодезь» — bega. Для нашего уха такие созвучия отдают чем-то не очень торжественным, и мы называем их каламбурами; но учительская традиция восточных народов искони пользовалась ими как праздничным убранством речи и одновременно полезной подмогой для памяти, долженствующей цепко удерживать назидательное слово. Специфическая «складность» настоящей присказки звучит на древнем арамейском языке поистине великолепно и легко запоминается:

zemarn lekhon wela raggedhton
we'lajn lekhon wela 'argedhton.

Это присказка из Матф. 11, 17: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не играли».

Не только трудность перевода арамейской речи, но и невольная корректура под античные образцы как жития святых, так и других частей церковных книг у греческих, а позднее и у византийских переписчиков, привела к частичной утрате жизненной силы, бывшей в арамейских первоисточниках. Поэтому в Маалюле так много христианских паломников, которыми движет желание прикоснуться к истокам веры.

Мы прощаемся с Маалюлей. Обратная дорога в Дамаск лежит вдоль подножия хребта Каламун. Нас ждет сначала монастырь Дейр Шерубим (херувимов — по-арамейски), а затем монастырь в Сейднаи. Короткая дорога позади, и только острый глаз на вершине самой высокой горы различает тонкие силуэты двух своеобразных, как в Маалюле, крестов — это гора Архангелов. Но это уже совсем другой рассказ.



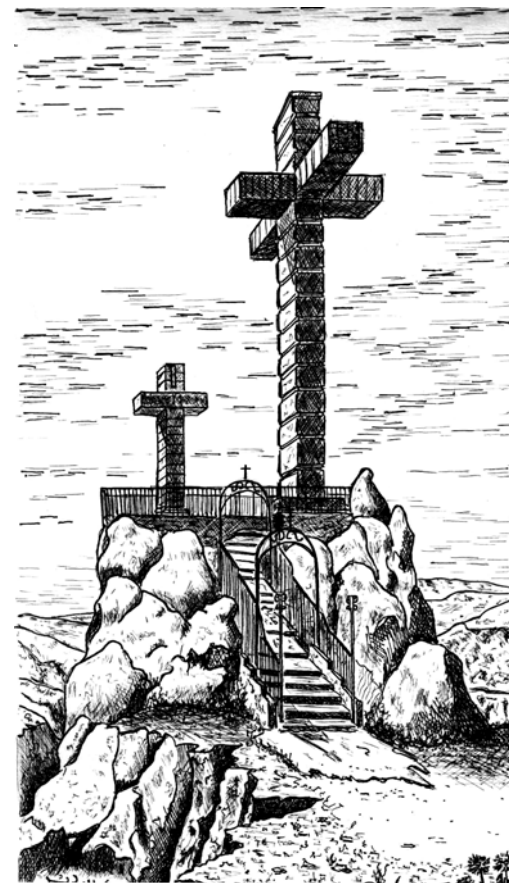
Церковь Симеона-столпника



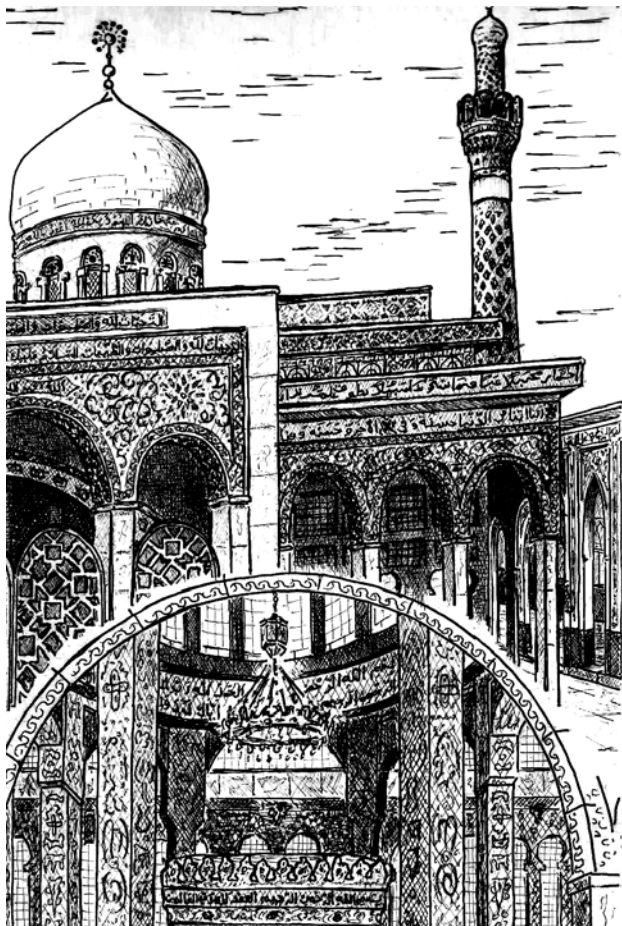
Этюд «Корни и кроны»



Халеб. Улица Азизи



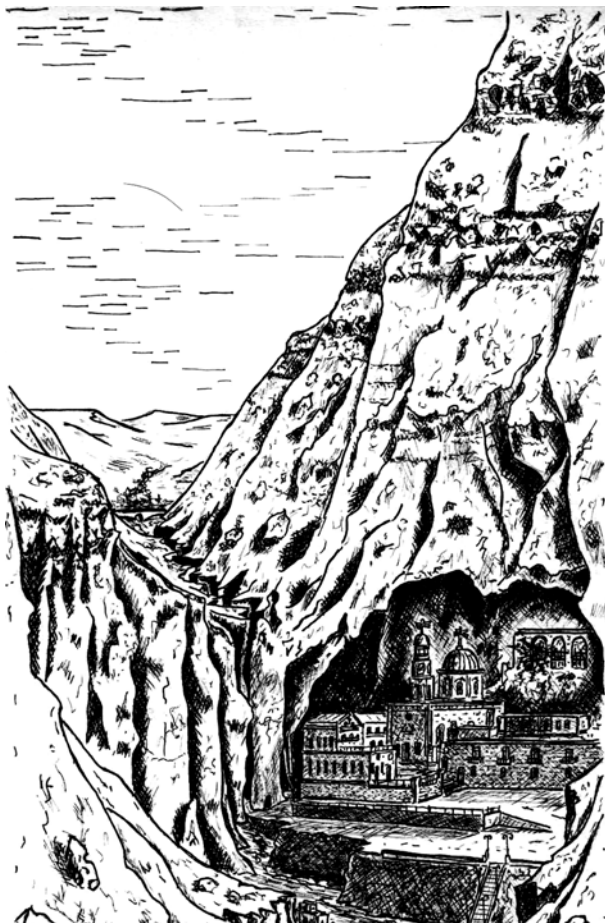
Гора Херувимов



Дамаск. Мечеть Зейнаб



Замок Салах-ад-Дин



Монастырь Теклы. Маалюля



Сюр. «Кольцо»

ПОЭЗИЯ

Валерий Савостьянов

(PERSONALIA)

ПОСЛЕДНИЕ ФРОНТОВИКИ

(Цикл стихотворений, посвященных 65-летию битвы за Москву)



РАБОЧИЙ ПОЛК

*Светлой памяти
Николая Константиновича
Дружинина*

Для чего нужны знамена?
Чтоб напомнили шелка
Гибель тульских батальонов,
Кровь Рабочего Полка,

Тот октябрь, тот холод зверский
В ожидании атак,
Перекопский Пионерский
(Так тогда он звался) парк.

На шоссе и у обочин,
В телогреечки одет,
Лег здесь Тулы цвет рабочий,
Лег учитель и студент.

В башмаках почти что летних, —
Не пускала, видно, мать, —
Лег поэт-белобилетник,
Не умеющий стрелять.

У рогожинских околиц —
Так уж путает война —
И чулковский комсомолец,
И мясниковская шпана.

И в овраге возле парка,
Стать мечтавшая врачом,
Лютик, лилия, фиалка,
Из Заречья санитарка,
Бинт вдавила в грязь плечом.

А еще в бинокль с церквушки
Комполка увидел сам,
Как в бурьяне на опушке
Пал Агеев, комиссар,
Как несут его ребята
За деревья на руках,
И горит огонь заката
На стволах и на штыках.

Победили страшной кровью,
Ярой волею одной...
Я сегодня взглядом рою
Пионерский парк родной,

Я читаю как рентгеном
Путь извилистый траншей,
Ощущаю каждым геном:
Враг у русских рубежей.

Гаснут красные знамена:
Перечеркнут алый шелк.
Но за мной побатальонно
Рать святых — Рабочий Полк.

Посмотри в стальные очи
Ждущих правды,
Президент:
Вот он, Тулы цвет рабочий,
Вот учитель и студент.

В башмаках, почти что летних, —
Не пускала, видно, мать, —
Здесь поэт-белобилетник,
Научившийся стрелять.

И с рогожинских околиц —
Так вот «путает» война —
Здесь разведчик-комсомолец,
Снайпер — бывшая шпана.

И сестра их здесь, конечно,
Камышинкой из ручья
Встав,
Чтоб жить на свете вечно —
Санитарка из Заречья
С опытом военврача.

А еще, светясь в аллеях,
В блеске листьев и штыков,
Комиссар идет Агеев,
Командир идет Горшков.
Ради Тулы, внуков ради
Тех, что выстоять смогли,
Не сдадут они ни пяди,
Ставшей кровью их — земли!..

И шагает Полк Рабочий,
Рать верховных полномочий,
Чтоб не гас во тьме веков,
Как тогда, в те дни и ночи,
Красный Площади флажочек —
Тульский Красный Перекоп.

МЕТАЛЛУРГИ

*Моему отцу Николаю Алексеевичу и многочисленным
родственникам и знакомым, сначала построившим,
а затем разрушившим при отступлении и снова,
отстояв Тулу, восстановившим Новотульский
металлургический завод*

Как настала пора нам с врагом воевать,
Мы оставили в домнах металл остывать,
«Закозлили» мы домны родные
И ушли, заперев проходные.
По железной дороге
В Рабочий наш полк,
В ополчение наше,
Исполнить свой долг —
Над заветною упскою кручей
Мы прошли по тебе, Криволучье.

Ты прими, Криволучье, прощальный поклон
От идущих спасти матерей своих, жен —
И, коль что,
Под родным твоим кровом
Утешенье дай сиротам, вдовам.
Объясни:
Ради них мы служили огню —
В летку пикою били
Не раз мы на дню
И смотрели, как в око циклопу,
На кипящую яростью пробу.
Ради них
И чтоб стала великой страна
Наварили мы тысячи тонн чугуна —
Наших фирменных касок оконца
Закоптили чугунные солнца.

И сегодня опять
Ради них и тебя
Из цехов мы,
Судьбу боевую столбя,
Вышли — встретить армаду паучью:
До конца послужить Криволучью!
Мы черемухи взяли, сирени твои,
Твоих майских садов нам поют соловьи,
Твоих улиц октябрьских метели
Пуховые взбивают постели.
Скоро спать нам на них —
Оправданием сна
Будет лом замечательный для чугуна,
Лом поверженных танков с «крестами».
А иначе бы спать мы не стали!

Мы привычны к огню — не отводим лица,
Если надо,
Штыками, как в летку, в сердца
Будем бить мы проклятую тучу —
Не позволим пропасть Криволучью!
И когда туча эта —
Фашистский циклоп,
Сапогами цепляясь за каждый окоп,
Твоему поклонится сугробу —
Как чугуна, ее выпустим злобу.

Пролетарская Тула надежна, как дот!..
И, быть может, кому-то из нас повезет:
Когда минут денечки лихие,
Он вернется в цеха заводские.
И вернется в цеха наши
Радостный гул,
Нужно выбить из домен
Застывший чугун, —
День за днем по микроу — до донца, —
Вновь зажечь рукотворные солнца!
Наш товарищ, конечно, умен и удал,
Но такого труда
И Геракл не видал,
Вычищая конюшни вонючие.
Помоги земляку, Криволучье!

Ты пошли ему
Наших подросших сынов,
Из окрестных ты сел
Собери пацанов,
Дай им наши спецовки и каски.
Начинаются новые сказки...
И опять небеса твои держит Антей,
И приносит огонь для тебя Прометей,

Прославляют, любя, демиурги —
Молодые твои металлурги!

ЛЕГЕНДА

Расскажу я вам случай один,
уже ставший легендой в истории нашего рода.
Когда взяли село наше немцы —
а под ним полегло половина немецкого взвода —
Были злые, как волки:
из домов они гнали и старых, и малых,
Чтобы жить в тех домах, теплых даже зимой,
а село — пусть в холодных подвалах.

Бабкин дом, перед самой войною построенный,
был и красив, и просторен —
И понятно, что сразу же
был он отмечен особым постоем:
В нем стояли танкисты,
вальяжные, важные фрицы.
В общем, немцы, замерзшие — в доме,
а бабка с детишками,
как и другие, в подвале ютится.

Немцы печь затопили,
а дрова не горят — толку нет никакого от печки.
Вот беда:
не случилось, похоже, у немцев подобной осечки.
И кричат они бабке из дыма:
«Эй, матка!
Проклятая печка твоя нам срывает пирушку!»
Что же делать?
И бабка бежит — открывает им, иродам, вьюшку.

Сразу печь разгорелась. Дым стал уходить, потеплело.
И бабушка — к двери. Но, видимо, этого мало.
«Матка, матка!..» — кричат.
Что же делать? И бабка им жарит картошку и сало.
Дело знает она,
ведь в колхозе лет пять она кряду, —
А доверят не каждой! —
свою полевою кормила бригаду.

Ах, как сало шипит!
Ах, как домом родным вкусно пахнет картошка!
Немцы ждут — не дождутся...
И вот заиграла губная гармошка.
Немцы рады, гогочут:
выходит пирушка на славу!
И не «маткою» бабку зовут,
а уже уважительно «фрау».

«Ладно, — ей говорят,
 по-немецки, но все же понятно, —
 Вон какая метель —
 твоим деткам в подвале сыром неприятно.
 Знаем русский мороз!
 Чтоб не мерзли твои человечки,
 На ночь — ну, так и быть — полезайте на печь.
 Ночевать мы не любим на печке...»

Ну а утром, едва рассвело, немцы снова за стол,
 да случилась у немцев оплошка:
 Немцы злые как волки —
 пропала губная гармошка.
 Немцы к будущей бабке моей
 подступают с наганом:
 «Где гармошка? Верни!
 Нужно лучше смотреть за своим хулиганом!..»

Ни жива ни мертва!
 Ужас в уши стучит,
 разрывает ей клетку грудную:
 Каково было видеть,
 как сын возвращает фашистам
 гармошку губную!
 Каково было знать:
 и за меньшее даже
 другие лежат под забором!
 Да силен ее Бог: ей везло!
 Даже сын — дядька будущий мой,
 когда вырос,
 не стал хулиганом и вором.

Его высекли, правда:
 Ну что же, за дело, я думаю —
 так, поделом непоседе...
 Тут, пожалуй, пора бы и точку
 поставить нам в нашей беседе.
 Раньше так бы и сделал.
 Теперь же, когда я и сам на правах ветерана,
 А другие герои — мертвы,
 точку ставить, мне кажется, рано.

Дед мой был на войне,
 дед мой в письмах читал: все в семье его цело.
 Дед рассказывал мне:
 в плен однажды немецкого взял офицера.
 Дед сказал напоследок:
 чуть что бы не так,
 он его б застрелил непременно —
 Да спасло его фото, где фрау и дети.
 И теперь офицер тот, наверно,
 живой возвратился из плена.
 И теперь, может быть,
 в знаменитом роду его прусском,

Существует легенда
о добром разведчике русском...

Нет! Не добрые мы,
ведь живем на земле, в облаках не витаем,
Но добром — за добро,
злом — за зло мы платить не устанем!
И я внукам своим расскажу,
хоть всю жизнь ненавижу фашистов,
Нашу с ними историю эту:
про бабушку, дядьку, губную гармошку
и добрых немецких танкистов.
Пусть все сами решают: платить — не платить,
но пусть они знают при этом,
что есть у того и другого народа
Нетипичная правда,
легенды особого рода!..

СУМАСШЕДШИЕ

В старинных зданиях Петелинской больницы
Надежны стены, окна — крепости бойницы.
Фашисты ставили в те окна пулеметы —
Какие мощные естественные доты!
Какой обзор — в бинокль Упа почти что рядом.
Их не достанешь тут ни пулей, ни снарядом...
Ну а больных, чтоб не мешались под ногами,
Гони на улицу прикладом, сапогами.
Зачем психованным пилюли и постели:
Лежачим — пули, остальным — гулять в метели.
Так поднимай же их с кроватей, полусонных —
Пусть убираются в чем есть: в одних кальсонах...

Гора Осиновая, Упское, Барьково,
Вы столько видели, но только не такого!
А не хотите ли еще вы этих, шедших
Куда глаза глядят, раздетых сумасшедших?
А если кто из них и вылечен — понятно,
От лютой стужи он с ума сошел обратно...
Присады Нижние и обе Еловые,
Недалеки до вас дорожки полевые,
Но если ноги, если руки — как сосульки,
Не добрести, не доползти до вас за сутки.
А доползешь — не трогай лихо, если тихо —
Кому же нужен лишний рот, к тому же психа...

Помог ли кто им? Знать — не знаю. Но едва ли:
Их немцы — гнали, и свои — не принимали.
Спроси в Никитино, в Бредихино, в Ильинке —
Ну кто их вспомнит? И нужны ли им поминки,
Тем, что по улицам прошли, как привиденья,

За восемь лет почти
До моего рожденья?
Ну, разве только моя тетка пожилая
Поставит свечку им и рая пожелает.
Забьется сердце у нее, как у синицы.
Она всю жизнь свою работала в больнице.
Теперь она за всех убогих молит Бога.
Наверно, тоже сумасшедшая немного...

СИБИРЯКИ

*Сибирским дивизиям, спасим не только
Москву и Тулу, но и мои родные деревни
Сергиевское (Упское) и Нижние Присады*

Мне рассказали старики,
Здесь жившие когда-то,
Как перешли сибиряки
Рубеж Упы и Шата.
Навек запомнили они
Не пушки их, не танки —
А полушубки и ремни,
И шапки их — ушанки.

В подвалах жившие, в сених,
От стужи чуть живые —
Запомнили, как на санях
Шли кухни полевые,
И как усатый старшина,
Махоркою пропахший,
Налил похлебки из пшена,
Побаловал их кашей...

И снится им, теперь седым,
В глухих сугробах тропка,
Солдатской кухни сладкий дым,
Та пшенная похлебка,
Те полушубки и ремни,
И валенки, и шапки.
И как поверили они,
Что их вернутся папки!
О, лица бравых молодцов
Неведомой Сибири,
Что им напомнили отцов, —
Отцы ведь их любили! —
Они смотрели так светло,
Что враг уже не страшен,
Вернув отцовское тепло,
Тепло домов и каши...

ОВРАГ

Есть особая земля за Рогожинским оврагом:
Знал татарин про нее, говорил о ней Ильич —
От оврага до кремля четверть часа быстрым шагом,
Но внезапно здесь врага разбивает паралич.

Говорят, что даже волк здесь становится овечкой,
Говорят, что вражий конь здесь лишается подков,
И, Европу всю пройдя, танки вспыхивают свечкой.
Тайна ль это, колдовство? Расспросите туляков.

Любознательных друзей хлебом-солью мы встречаем,
Любознательных друзей, обожаемых друзей
Пряниками одарим, напоим, конечно, чаем.
Пусть гуляют, не боясь — весь наш город, как музей.

Любознательным друзьям — слава Богу, их немало —
Мы расскажем все, как есть, ничего не утая,
Даже можем показать кое-что из арсенала,
Даже спляшем и споем: «Тула — родина моя!..»

Но найдется ль хоть один, — стал бы сам ему я гидом, —
Кому истина нужней прочих всех туристских благ,
Кто захочет грязь месить — братским кланяться могилам,
Кто захочет посмотреть на Рогожинский овраг.

Быстрым шагом до него здесь каких-то четверть часа.
А устал, так ничего: есть двенадцатый трамвай
И буквально в двух шагах современной трасса —
В общем, ближе до разгадки, чем до Кипра и Гавай.

Мы бы, плюнув на фуршет, вышли бы из ресторана,
И, кто б ни был он, за то, что он выбрал этот путь —
Пусть потомок он Гирея,
Правнук пусть Гудериана —
Я уважил бы его. Он заглядывает в суть!

* * *

Расскажут очевидцы откровенные,
Коль ты еще застанешь их в живых,
Про то, как наш поселок немцы пленные
Построили в конце сороковых.

Как жили они здесь, терпя лишения,
Как вспоминали жен своих и дом,
Как тяжкий грех убийств и разрушения
Замаливали мукой и трудом.

И, видно, был тяжелый труд строительный
Им радостью, утехой от бед —
И встал из мук поселок удивительный,
Запавший в душу с юношеских лет...

И полюбил я улочки недлинные,
И школу, и моих учителей —
Их повести, теперь уже былинные,
Про защитивших нас богатырей.

И полюбил я дворики уютные,
Где с дядькою гулял, фронтовиком —
Где истины рождались абсолютные
И заполняли душу целиком...

Но сказочные маленькие домики!
Я вдруг сейчас расслышал, как поют
В них по-немецки
Маленькие гномики,
Цветы любви
Сажая в абсолют.

И лишь сейчас не воскрешаю стоны я
И как гремел культяпкой инвалид,
Когда «хрущевки» валяются бетонные,
А шлакоблок немецкий все стоит.

Сейчас, когда мою Россию куцую
Судьба швырнула к натовским ногам —
Но немцы не просили контрибуцию,
А помогли нам, вроде бы врагам, —

Сейчас, сейчас, когда величья мания
Слезой с души смывается, как грим —
Во мне объединяется Германия
Военнопленных тех
И братьев Гримм...

ЛЕТЧИК

*Дорогому тестю
Михаилу Дмитриевичу Смирнову*

Подождите — не будите,
Юный свой уймите крик:
Сел в любимый истребитель
Старый летчик-фронтовик.
Он теперь в германском небе,
Там, где выше только Бог,
Он опять — прекрасный лебедь
И опасный ястребок.

Позади — его ведомый,
В перекрестье — «мессершмитт»,
Что свинца наелся вдоволь:
Миг еще — и задымит,
И на запад, уж не страшен,
Понесет он черный знак:
Забивайтесь в щели ваши —
Атакует русский «Як»!..

Подождите — не будите,
Юный свой уймите крик:
Сел в любимый истребитель
Старый летчик-фронтовик.
Он теперь в германском небе,
Там, где выше только Бог,
Он опять — прекрасный лебедь
И опасный ястребок!

Где найдете вы такого?
Он один теперь из тех,
Кто к ногам родным Чулкова
Положил великий рейх!
И осталось так немного
В снах его
Высоких трасс —
Не комэска он, а Бога
Скоро будет лучший ас.

Молвит, глядя Богу в очи:
«Не умеющий летать
Прилетал тут ангелочек —
Из училища, видать!
Чтоб над нашим райским домом
Не смеялись бы в аду —
Я возьму его ведомым
И на бесов поведу!..»

* * *

Последние фронтовики,
Как ни прискорбно, старики
Уже,
И времени потоком
Их кружит в омуте глубоком.
А я стою на берегу —
Хочу помочь, да не могу.
А что могу?
Вглядеться в лица,
Спросив: «Не холодна ль водица?..»

Когда настанет мой черед:
Мой закружит водоворот,
И, словно сломанную лопасть,
Меня вот-вот затянет в пропасть,
Когда пойму, хрипя от слез,
Насколько глуп такой вопрос, —
Я с внуком
Все ж хочу проститься
Его: «Не холодна ль водица?..»

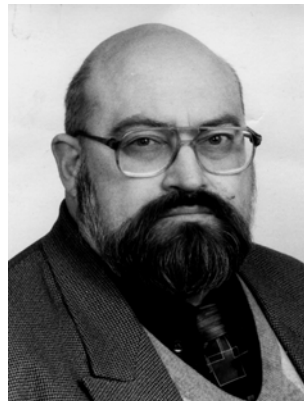
* * *

Я был рожден во времена,
Когда закончилась война
Победою!
О них шпана
Теперь кричит как о суровых,
Где правил злобный вурдалак.
Не знаю: врут иль было так —
Я помню гордость, а не страх,
И хлеб,
Бесплатный хлеб в столовых.

Уроки кончены, и вот
Туда, где свой, родной народ,
Сережка в очередь встает,
А мы, пока он достоится —
За стол!
И солюшки щепоть
Посыплешь щедро на ломоть.
Как радуются дух и плоть —
Ах, видели б вы наши лица!..

В краю пятнадцати столиц
Таких сегодня нету лиц!
Не зря рекламный русский фриц
Мне предлагает все и сразу:
Лишь только бы молчал я впредь
О гордости победной, —
Ведь
Я — хлеб,
Какому не черстветь,
Я — соль та,
Равная алмазу!..

Александр Хадарцев



РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ПРИРОДЕ

Где Снежедь обегает Бежин луг,
водой холодной омывая берег,
там совпадает наш житейский круг
с понятием: люблю, надеюсь, верю!
Там ничего не значат «шестьдесят»,
и — семьдесят, и — сто, и — даже боле,
пока глаза на этот мир глядят
и не дрожит стакан в хмельном застолье!

Наукой — очень трудно управлять,
когда она действительно — наука!
Ученым надо просто не мешать,
а поддержать — еще полезней штука!
Бюджетных слез не хватит ни на что!
От жажды засыхает стебель знаний.
И даже, если выпьем мы по сто,
не видеть нам финансовых вливаний!
Но юбилей — на то и юбилей,
чтоб сбросить дел несделанных вериги
и стать для всех важнее и нужней,
чем суть любой, пусть сверхнаучной книги!
В заздравных тостах кроется тепло,
курится фимиам чуть скрытой лести...
Так хочется, чтоб всем нам повезло
в большом пути, где бега нет на месте!

Пусть пенсия карманы тяжелит!
Пусть будет, кроме пенсии, — работа!
Пусть никогда нигде не заболит!
Пусть с каждым мигом хочется чего-то!
Ведь впереди — еще немало дел!
Их и на сотни лет, конечно, хватит!
Кто хочет — сможет! Тот, кто захотел,
Своей судьбе лет сто еще накатит!

2006

РОВЕСНИКАМ ВЕКА

Пусть никто из нас не «суперстар» —
все хорошо в нескучном нашем мире!
Никто из нас до сотни лет — не стар!
Но сквозь очки — мы видим много шире!

Видней, кто враг, кто друг, а кто — никак!
Слышней весенних нот чарующие звуки!
Понятней, почему вокруг царит бардак!
И почему в беде — не опускаем руки!

Нас не страшит досужая молва!
Не трогает в делах отсутствие участия
со стороны всех тех, кому важнее слова,
а не реальность истинного счастья!

Вступая в дни, где каждый год за пять
взметнули стрелки жизненных приборов, —
теперь не стоит широко шагать!
«Науку побеждать!» — не зря писал Суворов!

«Штык — молодец», затем, что «пуля — дура»!
Мы побеждали только в штыковой,
где пешек — нет! Где каждая фигура
за каждый бой ответственна собой!
За каждый год мы отвечаем тоже!
Не скорость и не ширина шагов
в преддверии ста лет — нам не поможет!
Реальность — только в искренности слов!

В спокойном ожидании удачи,
которая когда-нибудь придет!
В делах детей и внуков! Это, значит,
что нам бесценен каждый новый год!

2006

НАВЕЯЛО

Когда погаснет вдохновенье —
наступит горечь темных дней!
Тогда и тем, и слов значение
упрячут облака теней...
Иссохнет яблочная мякоть,
уйдя в морщины кожуры...
И не придется больше плакать,
купаясь в блесках мишуры.
Утихнет гимн любовной жажды,
иссякнет рифм журчащий ток,

пока на склоне лет однажды
не вспыхнет юности росток!
Зазеленится нежным светом,
желая всем назло цвести,
а это значит, что поэтам —
придется в вечность прорасти:
под бугорком, в уединенье,
там, где живые не живут,
не помышляя о прощенье
за недосказанность минут...
Реальных дней былые краски
уста сомненьем возбудят...
И нет конца у этой сказки,
и в юность — нет пути назад!
Об этом Ясная Поляна
листвой осенней прошуршит,
плеснув дождем на дно стакана,
пока зима не запуржит...

2006

* * *

Как у вас в московской суматохе?
Так же грязь развозится колесами?
Так же на «крутых» ишачат лохи?
Так же озадачены вопросами?
Или переполнены ответами
лабиринты мозговой премудрости?
Или просто дружите с запретами?
Или сонно нежитесь по утрости?
Ну, а, может в скуке закидаете?
Дайте знать, исправим ход сознания!
Я летал в Махачкалу, вы знаете,
чтобы не сорвалось заседание!
Передал привет гористой местности,
чьей-то колыбели приснопамятной!
Хоть была погода — в неизвестности
и назад летел не в полной памяти...
Не болейте! Годы наши множатся,
но здоровья рост не наблюдается!
Друг о друге — лишь друзья тревожатся,
как в старинных песнях отмечается.
Быть добру, любви и нежной чуткости!
Встречам — быть, пока надежда теплится!
Не страшны нам сказочные жуткости,
потому что в счастье очень верится!

2006

ВЕСНА ПРОШЛА

Курительной трубки табачный нагар...
Душистый табак капитанский...
Цейлонского чая горчайший отвар...
Романс под гитару цыганский...

От женского шарфика нежно струит
душистый поток феромонов...
Настольная лампа стыдливо горит,
наслышавшись охов и стонов.

Разбросаны вещи, маркируя путь
от двери до старой кушетки...
Пытаясь в квартирную суть заглянуть,
в окошко царапают ветки...

Два тела уставших застыли внахлест,
отбросив пожар одеяла...
Сегодня они перекинули мост
от будущей скуки — в начало,

В весеннюю свежесть наивных забот,
где солнце чуть-чуть припекает,
где лед отношений и мелких невзгод,
как сахар рассыпчатый тает.

Связующей нитью обыденный день
их мыслей скрепил разночтенье...
Ритмичной капли призывная звень
разрушила крепость сомненья.

Табак ароматный, как символ, лежит...
Валяется трубка без толку...
От чая остывшего голос дрожит,
сливаясь на улицу в шелку...

2007

ЖЕНЩИНЕ СЕМЕЙНОЙ

Женщине — семейные заботы
суждено нести, как тяжкий груз.
Правит в воскресенья и субботы —
дама трэф, а не вальяжный туз!
Я ее по-доброму жалею!
Ей бы в ванну с лепестками роз!
Но стальным штыком пронзая шею —
атакует остеохондроз!
А потомство — обиходить надо,

научить уму, одеть, обуть!
Пусть родные люди где-то рядом,
женский «дао» — уникальный путь!
От ремонта внуковых сандалий
до покупки галстуков мужских —
все на ней! Глаза ее устали
от мельканья улиц городских.
Ей, конечно, хочется признанья,
восхищенных «охов» от подруг,
и мужчин безмерного вниманья —
каждый день, а не внезапно вдруг!
Пусть проблемы биотуалетов
не волнуют женское бытие!
Пусть зарплаты хватит ей на это,
чтобы погрузиться в забытие!
Пусть на кухне все само свершится,
без усилий, «Ферри» и жары!
Надо только отдохнуть решиться
и дожидаться сказочной поры:
сказки, где сбываются желанья,
где любовью полон каждый вдох!
Там введен запрет на расставанья
в сложном перекрестии дорог.
Женщина, способная светиться,
вдруг уснула, голову склонив...
Пусть ей спится, верится и снится
разноцветной нежности мотив!

2007

Алексей Скаредов *



РОМАНС

Из Эдгара Аллана По

Когда романс — любимец дрем —
слетел со сложенным крылом
на зелень трепетных ветвей
в глубинах озера теней —
он расколол мне скорлупу
и алфавиту моему
стал обучать меня. Но мне,
лежавшему в глухом лесу
птенцу со взором мудреца,
он не давался до конца.
Я — кондор. Свой бессмертный век
в небес бездонных гулкий стон
бросаю я — хохочет гром!
Мне не до праздности и нег!
Взор зорек в небе грозовом.
Но в час покоя, словно пух,
слетает вниз мой гордый дух:
среди звучных рифм и звонких лир
текут минуты тайных дум.
Преступен был бы сердца пыл,
когда бы не дрожанье струн...

СОНЕТ КАПИТАНА

Не привыкать! Плыдем небесной твердью,
на жидком топливе спиваясь и кружа.
Наместники сверяются с поверьем,
и достают берданки сторожа.
А нам плевать! Под нами океаны,
но не любви, увы, простой воды.

* Скаредов Алексей Сергеевич. Публиковался в журналах «Алый парус», «Смена». В 1993 году был издан сборник его стихов «Соль-бемоль седьмой октавы».

Матросы там не вяжут лыка — пьяны —
и капитаны с вечностью грубы.
Там женщины приносят лишь несчастье,
хотя в других местах несут беду,
но этого достаточно, чтоб снасти
трещали, словно спички во спирту.
«За борт княжну! За борт и без раздумий!»
Бузит команда. Я ее люблю!

ГИТАРА

Во чреве плохонького бара
роскошная расплакалась гитара.

Гитара плакала, о чем — сама не знала,
но ей хотелось, и она рыдала.

Рыдала не стесняясь: то негромко
похлопывала, то стенала тонко.

Стенала тонко и вздыхала томно
о том, что у нее душа — бездонна!

Бездонна, бесконечна, даже вечна —
так ей казалось. Но растаял вечер...

Растаял вечер, ночь настала, и гитара
умолкла в алом бархате футляра.

* * *

Гитара — женщина! Не требуй от нее
ума большого, мудрости, прозрений!
В нее лишь легкостью прикосновений
вольется вдохновение твое.

Изгиб кленовых бедер, нагота
изящной шейки — простота святая!
Не многострунна и темна душа пустая...
Но музыку рождает — пустота!

* * *

«Сегодня» — ночь,
вчера казавшаяся днем.
А «завтра» — день,
который станет ночью,
лишь обратится в настоящее...
Все прочее
зовется прошлым —

им мы и живем,
поскольку ничего светлее
воспоминаний нет
на этом темном свете...
А что на том?
Увидим — проживем...

* * *

Мыслей нет, остались только чувства.
Взят — не взят? Услышан или нет?
Успокойся — это пьяный бред,
да любви несмелое искусство.
От души отрезав по куску,
улетели в просмоленный лес,
канув в ожидание небес,
пересилив смертную тоску...
И с утра — в траве блеснет роса,
и опять надежда на спасенье!
Через день всего лишь — Воскресенье,
а до смерти — долгих три часа...

СОНЕТ СЛОВ

Бойтся юность смерти, старость — славы,
хотя должно быть все наоборот!
Мир сброшюрован кем-то для забавы,
и мы попали в этот переплет.
Штамповщики идей нас расписали,
карандашом редактор оскопил,
и фиговым листком из прочной стали
наш срам тетрадный ханжески прикрыл.
Уж не до крыл! Не до любви несчастной!
Живем бездумно, позабыв про пыл.
Лишь червь нас беспокоит, сладострастно
съедая буквы в белизне могил.
Вот уж поистине скучнейшая забава:
гадать, что раньше будет — смерть иль слава?

Александр Вишневецкий



РАССВЕТ

То ли скрутило похмелье,
То ли лютует тоска...
Кто опоил меня зельем
Намертво, наверняка,

Чтобы не мог шелохнуться,
Спуганный окриком: «Стой!»?
Тут бы очнуться, проснуться,
Выплеснуть: «Братцы, я свой!»

Но неподвластные путы
Туго и хрипло скрипят —
Перед рассветом минуты
Тоже, наверное, спят...

Шторы с заплатами света...
В форточку бьются шаги...
Ждет огонька сигарета...
— Эй, кто-нибудь, подмоги...

ПУСТОЦВЕТ

Загулял пустоцвет по грядке —
Самый спелый и яркий цвет.
Верить хочется — все в порядке...
Только проку чего-то нет...

Результат пустотою колет...
Отчего же? — а цвел... и как!
То ли цвет выел соки? То ли
Подурачился просто так?

Где же семя, хотя б и плоше?
Или корень на новый свет?...
А зачем? Он и так хороший,
Замечательный пустоцвет!

Очень пусто и очень сочно,
Для тебя, для меня, для нас...
Проку нет, и не будет,— точно...
Но ведь радует чей-то глаз...

* * *

Бьется сердце, сердце бьется...
Даже слышу бой его.
Отчего ему неимется?
Разгулялось отчего?

Тщусь неведомою силой
Дотянуться до небес:
Боже, Господи, помилуй,
Если это злобный бес...

Если ж милостью природы
Солнце плюнуло огнем,
Я спрошу другой погоды
У природы ясным днем...

Если ж сам в потемках воли
Обнажаю грудь штыку —
Дай-то Бог: побольше боли,
Как... трещотку дураку...

* * *

Рокот шеренг под «Прощанье славянки»
Памяти миг прострелил навсегда.—
«Звездный» стакан на прощальной полянке,
Может — суббота, а может — среда?

Дни, как шрапнель, не попад, но по цели,
Рваным металлом прошлись по годам.
Кто в орденах, а кого-то отпели
Водкой вздох со слезой пополам...

Где ж Вы теперь, лейтенант непутевый?
Где «подшофе» офицерская статья?
Или теперь Вы уже не готовы
Душу и плоть безрассудно отдать?

Китель в шкафу пиджаками задушен.
Вешалкой старой распят по стене.
Эх, лейтенант, ты по-прежнему нужен,—
Смутное время ползет по стране.

Кто не в злобе, да не будет судимым.
Бог Вам — судья отмеряет часы.

Чтоб не больницей, а порохом дымным
Горько, но сладко пропахли усы.

Был ведь когда-то, еще непутевый,
Дерзкий, живой, как весенняя новь...
Дай-то Вам воли, чтоб в сердце по новой
Что-то кольнуло и вздыбило кровь!

* * *

Небо луной облито —
Холод к утру пророчит...
Что это? —
 Бьют копыта,
И Вороной хохочет:

Кто это поздним в гости?
Кто там с ответом медлит
И выдирает гвозди,
Вбитые насмерть в петли?

Надают на пол полки...
А, это ты...
 Наверно,
Конь заплутал.
 И волки..
И на душе прескверно?..

Что это? — Тихо... Тихо
Бьется тревога... значит
Скоро проснется Лихо —
Напрочь переиначит...

И, подзабыв о лете,
Заледеенеют воды,
И на ночной карете
Время стрясется в годы.

То ли в тумане небо
Высится нелюдимо.
То ли понюшкой хлеба
Выслезился от дыма.

Только взамен кареты —
Что-то людское мнится...
Может быть крикнуть:
 «Где ты?» —
В эти чужие лица?

Чтобы услышать —
 хором

Каркают, тычут палкой.
И громоздится Ворон
На «воронок» с мигалкой...

* * *

То не мухи в небе —
 злые.
То на отблеске зари
Шестигранные резные
Хлопья застыт фонари.

Фонари устали
 светом
Отмечать примерный путь.
Где дорога даже летом
Ковыляет как-нибудь.

Где ухабы —
 по привычке,
И колдобины —
 под «мат»,
И мерцают невелички —
Огоньки у редких хат.

Закружится снег в метели,
Обметая рыхлый лик,
А в дорогу еле-еле
Фонаря качнется блик.

И ругнемся, попрекая,
Что опять чудит зима,
И огни местами... с краю...
И...
...не вашего ума.

«Эх, расейская дорога...» —
Как наотмашь зычный стон.
А еще припомним Бога...
Есть, что вспомнить... испокон...

А потом ползти украдкой,
Разбивая путь и плоть...
И еще... ругнуться —
 сладко...

И...
 прости меня, Господь...

* * *

Стынет снег на голых ветках.
Солнце тает вдалеке.
А в окне, как в тесной клетке,
Блик синички налегке —

То нырнет под куст колючий
От испуга без ума,
То вспорхнет почти под тучи,
Что упали на дома.

Пригляделся — где ж синичка?
В красных яблоках закат;
Не хотят о землю биться —
Замороженно висят.

Дотянуться бы руками
И согреть, чтоб талый сок
По усам и под усами
Зимней свежестью потек.

А одно, сторонкой, льется
В желто-синий теплый свет:
То синица мне смеется
И клюет морозный цвет.

* * *

Дай тепла — глоток,
И скажи —
пока,
Чтобы дальний срок
Пережить
...слегка.
Чтобы где-нибудь
В суматохе Вед
Вышел долгий путь
На осенний цвет.

Где туман —
живой
До беспечности
И горят листвою
...бесконечности.

* * *

Вдоль по улице выла собака
В тишину без намека луны,
В тесноте городского барака
Разгоняя пугливые сны.

Где-то громко заплакал ребенок,
Закатился, сорвался на крик.
И закашлялся хрипом спросонок
За стеной недовольный мужик.

А туман распаленный и рыжий
От мерцающего фонаря
Опускался все ниже и ниже...
И, наверное, вовсе не зря.

Вдоль по улице выла собака... —
Помнишь: ветер и дождь, и луна,
И на месте ночного барака
Нерассерженная тишина!

И дышалось привольным и сладким:
И хотелось, не чуя вину,
И брехать, и любить без оглядки,
И восторженно выть на луну!..

А туман по-осеннему стыло
Обнимал и дома, и тела...
А собака все выла и выла...
...Не пришла, не пришла...
...не пришла...

* * *

Не подруга, не подружка,
Приютилась на постой
Алюминевая кружка.
Да не быть тебе пустой!

Было дело — вечеряли,
А еще — на посошок
Окрестясь, благословляли
Пополнее, чтобы — впрок...

Чтоб на дальнем полустанке
Кипятком оттаять кровь...
Чтоб с лица, а не с изнанки
Пить и горе, и любовь...

Кто-то пил, а кто-то — правил
Этот пьяный русский бал...
Я ж тебя в запас отставил,
И нечасто наливал.

Поболтаем: помнишь?
— помню...
Ночи, праздники, погост....

Я ж держал тебя, как ровню,
Поднимаясь в полный рост!

Оттого ли я хмелею,
Жизнь, как скатерть, теребя?..
Помнишь? — помню

...и жалею

Одинокую тебя.
Пусть дурак тебя осудит!..
А ведь кто-то,
 нас храня,
Обещался: все прибудет! —
Дай-то Бог ...и для меня!

РАЗГОВОР

Памяти отца

Вот я свиделись: ветер в поле,
Зелень первая, я и крест.
По своей или Божьей воле
На земле не хватает мест —

Бьется озимь весенней дрожью,
Оживляя степной наряд.
Будет лето и будет рожью
Опоясан могильный ряд.

Здесь бы церковь поставить надо,
И с нее — колокольный глас,
И еще — чтобы ссудным взглядом
Не тревожили в тихий час.

А быть может — пускай в достатке
Колосятся окрест хлеба,
И веснянки играют в прятки,
И вершится крестом судьба.

Только кажется — не до срока,
И стучит в висках — почему?
И доносится издалека:
— Я и сам себя не пойму...

Ветер злится и пахнет летом,
Но совсем невдомек ему —
Это я повторяю следом.:
— Я и сам себя не пойму...

* * *

А над бруствером лютик желтый
Прячет голову в облака.
Для кого, для чего расцвел ты
От окопа за полштыка?

Вышло солнце в походном марше,
Наступая на пятки звезд:
«Эй, косматые, кто тут старший? —
Прочь с дороги!»
И в полный рост

Зашумела листвой лещина,
И заутренний ветер стих,
А у нас под ногами — глина
И во-первых, и во-вторых...

А над бруствером лютик желтый
Прячет голову в облака.
Для кого, для чего расцвел ты
От окопа за полштыка?

А по небу летают кони.
Кони белые в золотом,
И луна неприметно тонет
В развидневшийся окоем.

Мы по горло в усталой глине,
В желто-глиняных сапогах...
Мчатся кони в прозрачной сини,
Обгоняя небесных птах...

А над бруствером лютик желтый
Прячет голову в облака.
Для кого, для чего расцвел ты
От окопа за полштыка?

У НАС В ГОСТЯХ

Рудольф Артамонов*
(Москва)



БАБОЧКА

Была у доктора Трушечкина мечта, тайная, о которой он не хотел говорить даже Але, жене. Не поймет, а может, и посмеется.

Однажды не выдержал, но разговор начал издали.

— Не могу понять, почему сегодняшние врачи так себя роняют. На работу ходят без галстука. Могут выругаться матом. Как-то встретил нашего профессора, интеллигентный пожилой человек, в очках. На голове кепка. Почему не шляпа? Ты можешь себе представить в начале века профессора в кепке?

Разговор происходил летом на даче, за пасьянсом. С годами Роберт Петрович пристрастился к этому времяпровождению. Вроде занят, а можно поразмышлять. За окном шел мелкий, при солнце — грибной дождь. Аля сидела за столом напротив, читала.

— Ты тоже интеллигент, уже не молод, а ходишь в кепке, — сказала она, не поднимая лицо от книги.

— Во-первых, я не такой уж пожилой человек. Мат не употребляю, даже когда это следовало бы сделать. Самые заядлые матерщинники хирурги. Это понятно — экстремальные ситуации, нервы на пределе. Но когда матюгается какой-нибудь уравновешенный терапевт или невозмутимый невропатолог, понять не могу. А что касается шляпы, с завтрашнего дня буду носить берет.

— Его еще надо купить, — заметила жена.

Он углубился в пасьянс. Но думать о том, о чем хотел сказать, продолжал.

Конечно, размышлял он, к этому надо что-то еще. Приличный костюм, хорошую обувь. Говорят, что мужчине, чтобы достойно выглядеть, надо иметь хорошие шляпу, перчатки и штиблеты. Шляпу можно заменить беретом. Перчатки и штиблеты, если поднапрячься, можно приобрести.

Но предметом его вожаемой мечты было еще одно, стоимости чего он не знал и где купить, тоже не ведал. Роберт Петрович недавно стал заведующим отделением. Не то, чтобы он хотел иметь подобающую солидность, — нет. Тут было другое.

* Рудольф Георгиевич Артамонов — врач-педиатр, профессор Российского государственного медицинского университета, член Союза журналистов г. Москвы. Пишет рассказы, повести, публицистику. Публикуется в «Медицинской газете», в сборниках Российского общества медиков-литераторов.

«Почему надо выглядеть затрапезно? — вопрошал он себя в своем безмолвном монологе. — Кажется, прошли времена, когда надо было быть как все. Не высовываться — не только в словах и взглядах, но даже и в одежде. Посмотришь, на конгрессах и симпозиумах иностранные врачи — безупречно одеты, раскованны и улыбчивы, гладко выбриты и хорошо причесаны, у многих вместо галстука на шее бабочка».

— Хочу бабочку! — неожиданно воскликнул Роберт Петрович и широким движением руки разметал по столу карты. Мысль о предмете тайных мечтаний так занимала его, мешала сосредоточиться, что пасьянс никак не сходился. Мечта приобрела, наконец, словесное выражение и вырвалась наружу.

— Чего? Бабочку? — Аля не смогла удержаться, так поразило ее восклицание мужа. Она подняла глаза от книги.

— Да, бабочку! — твердо сказал муж. — Бабочку! Бабочку! Красивую, синюю, в белый горошек.

Только теперь жена поняла, какую бабочку Роберт Петрович имел в виду.

— С каких это пор наши врачи... — начала она, но муж прервал ее.

— С сегодняшнего дня. И во все другие дни — и в праздники, и в будни.

— И на работу?

— И на работу. И больных буду смотреть в бабочке. И на заседание общества пойду в бабочке.

— И дома?

— Не надо. Я серьезно.

Слово было сказано. Мечта оглашена. Теперь ее надо было претворить в жизнь. Но одно дело сказать, другое — сделать. Как это сделать, пока не представлял. Где что можно найти и купить, не знал. Его мало занимали житейские дела. Рубашки, ботинки, прочие предметы мужского гардероба ему покупала Аля. Если было в пору, он носил. Идет, не идет — Роберта Петровича не волновало. Так было в недалеком прошлом. Теперь он вошел в некоторый возраст, когда мужчина, считал он, должен быть не то, чтобы солидным, но и не представлять собой некое инфантильное существо, не заметившее переход в другую возрастную категорию. «Он был прежним, но прежнее ему не шло» — это изречение древних, когда-то и где-то прочитанное, ему хорошо запомнилось, и теперь часто приходило на ум. Оно вспоминалось, когда видел мужчин той самой возрастной категории, одетых под мальчиков, желающих одеждой и видом своим обратить на себя внимание окружающих. «Хорошо, ты артист, художник или поэт. Тогда ладно. Имеешь право быть замеченным, чтобы запомнили. Возьмем Евушенко. Как хочет, так и одевается. Но если таланта тебе Бог не дал, стоит ли придавать себе экстравагантный вид? Есть в этом что-то нездоровое, — размышлял в таких случаях доктор Трушечкин, и считал: — Нет, не стоит».

«С другой стороны, — продолжал размышлять он, вновь раскладывая пасьянс, — профессия может и должна накладывать определенный отпечаток. Например, я врач. Значит, я должен всем своим видом внушать доверие и почтение к себе своим пациентам. И не только им. Персоналу тоже».

Эпизод на даче в ближайшее время последствий не имел. С окончанием отпуска доктор Трушечкин вышел на работу чисто выбритый, в светлой рубашке и строгом галстуке. Он стал подчеркнуто вежливо раскланиваться не только с коллегами, но и со средним медицинским персоналом. Называть молоденьких медсестер по имени-отчеству. Следил, чтобы халат блистал белизной. Для этого пришлось приносить его домой и отдавать для стирки жене. Из больничной прачечной халаты выходили белые, но с каким-то сероватым оттенком, что портило доктору настроение.

Работа поглотила своей будничной повседневностью. Но мысль, мечта, высказанная на даче летом, не оставляла его.

Не озадачивая жену, втайне от нее, Роберт Петрович начал поиски вожаемого предмета. Беда была в том, что он не знал, где искать. Город наполнился дорогими магазинами. Огромные витрины, ярко освещенные залы с изящными молодыми девушками около полок и стоек с одеждой, самораскрывающиеся двери, дюжие охранники в черном при входе пугали Роберта Петровича. Сдерживало от входа в эти блистающие дворцы незнание цены того, что искал. Вдруг оно стоит больше, чем есть в бумажнике. Будет неловко. Как посмотрят на него эти юные холеные существа, подчеркнута вежливые и предупредительные, если не окажется нужной суммы? Не отдадут холодно-презрительным взглядом, не отвернутся к другому, более состоятельному покупателю с обворожительной улыбкой, которая могла бы достаться ему? Еще в далеком студенчестве он робел перед дверями кафе, куда вел свою девушку, с опаской перебирая в кармане влажными от волнения пальцами бумажки денег и прикидывая, хватит ли расплатиться за самое скоромное угощение.

Однажды в длинном подземном переходе из метро в одной из многочисленных лавочек он увидел то, что искал. Сердце его колыхнулось. За стеклом в ярко освещенной витрине на черном бархате лежала она. Красная. Без какого-либо рисунка. Маленькая, узкая. «Наверное, для кошки или собачонки, вроде шпица,— подумал Роберт Петрович. — Нет. Не она». Сердце его стало на место.

Время шло. Мечта оставалась мечтой.

Порой Роберт Петрович забывал о ней. Другие мысли и дела вытесняли заветную мечту из головы доктора. Иногда вспоминал о ней, внутренне улыбался при этом, как забавной прихоти, которая не обязательно должна превратиться в реальность.

Но имидж, который он считал для себя необходимым, продолжал поддерживать. Появилась шляпа. Еще пара строгих галстуков и белая рубашка. Хорошие черные туфли. Все это несколько напрягло семейный бюджет, но Аля на это пошла. Ее всегда, еще в первые годы совместной жизни, озадачивало невнимание мужа к своему гардеробу. Сначала даже думала, что вот, пока ухаживал, следил за собой, а теперь считает это излишним. Поэтому с пониманием отнеслась к желанию Роберта Петровича «приодеться».

Более того, ее посетила мысль, которая сейчас же ей понравилась. Она непременно решила ее осуществить. Стала заходить в магазины, которые так пугали Роберта Петровича. Ее они не пугали. Бывала там, знала, что ничего страшного нет, если не хватит денег на приглянувшуюся вещь. Могла поторговаться, договориться о скидке. С третьей попытки ей удалось найти то, что искала. Поторговалась. Договорилась. «Мужу подарок. Он так об этом мечтает». И продавщица «пошла навстречу».

Для доктора Трушечкина это было тихим потрясением. Он держал в руках ее, синюю, в белый горошек, и не мог найти слова благодарности. Аля наслаждалась произведенным на мужа впечатлением. Сняв «затрапезную» домашнюю рубашку, Роберт Петрович облачился в белую и не сразу, повозившись, повязал бабочку. Подошел к зеркалу, посмотрел на себя. Для полного впечатления надел еще пиджак и снова подошел к зеркалу.

— Ну, и вид у тебя! — засмеялась Аля.

Муж стоял перед зеркалом в белой рубашке, бабочке и пиджаке, из-под которого виднелись тренировочные штаны с вытянутыми на коленках мешками, и в шлепанцах.

— Я так и знал, что тебе не понравится.

— Я не потому. Отойди подальше и посмотри на себя.

Роберт Петрович тоже рассмеялся, увидев себя в зеркале целиком.

На другой же день доктор Трушечкин явился на работу в бабочке. С некоторым волнением он переступал порог отделения, ожидая удивленных взглядов, вопросов,

суждений — идет или не идет ему новый предмет его «туалета». Однако ничего этого не последовало.

Он надел халат, накинул на шею фонендоскоп и пошел в ординаторскую принимать дежурство. Сестры доложили о поступивших новеньких, о состоянии больных, находившихся под наблюдением дежурного, и разошлись, ни взглядом, ни видом не выразив ни удивления, ни внимания к новому виду заведующего отделением.

«Не до меня. Устали за дежурство», — подумал Роберт Петрович.

Никак не прореагировали и ординаторы, когда он раздавал им поступивших за ночь новых больных для курации.

«Стесняются, наверное». Роберт Петрович не мог понять, почему никто не заметил, что в его облике произошла перемена.

Только на праздничном вечере, посвященном Дню медработника, в компании заведующих отделениями больницы, стоявших в кружок с рюмками в руках, его коллеги обратили внимание на непривычный вид доктора Трушечкина.

— Петрович, я дурею, — сказал один из них, показывая рюмкой на синюю в горошек бабочку, красовавшуюся на белой рубашке Роберта Петровича.

Роберт Петрович пожал плечами.

— Это надо обмыть, чтоб долго носилась, — предложил другой.

Все дружно поддержали предложение. Налили, звякая о край рюмок бутылкой, и выпили.

— Понимаешь, Петрович, не всем идет, — сказал заведующий реанимацией. Отстранившись и наклонив голову набок, он окинул взглядом Роберта Петровича, — Но тебе идет.

— Ты бабник теперь. Одна дома, другая — на шее.

Шутка Дмитрия Ивановича, заведующего неврологией, вызвала всеобщее веселье.

Снова выпили. Пошли анекдоты.

И здесь Роберт Петрович сказал речь. Он говорил о том, что имидж врача заметно упал в глазах общества. Теперь врач всего лишь оказывает медицинские услуги, а не помощь страждущему человеку. Дело даже не в низкой зарплате. Хотя и в ней тоже. Потому что в глазах обывателя раз ты мало получаешь, значит, твой труд мало ценен. Значит, ты больше и не заслуживаешь. Значит, ты... здесь запнулся, подбирая нужное слово...

— Значит, ты говно, — подсказал заведующий реанимацией.

Роберт Петрович не обратил внимания на подсказку. Алкоголь слегка шумел в его голове. Он волновался, потому что хотел как можно яснее донести до слушающих его коллег свою мысль. Он говорил, что врачи сами себя роняют в глазах общества. Одеты неряшливо, речь груба. Что врач перестал быть образцом интеллигентности, образованности, чистоплотности. Внешней и внутренней. Ни одеждой, ни речью, ни образом мыслей он не отличается от обывателя. Что и профессию свою исполняет спустя рукава. Что...

— Ну, ты, Петрович, загнул, — обиженно сказал невролог.

Доктор Трушечкин продолжал говорить. Все также увлеченно, захлебываясь словами, торопясь досказать все, что хотел, потому что видел, как круг его слушателей редет.

— Самое главное, не стесняться быть белой вороной. Сохранять свое достоинство. Не давать стричь себя под общую гребенку. Быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически. Слышите!?

— Все. Петрович готов. Пора брать, — сказал реаниматолог, отходя.

Роберт Петрович замолчал. Говорить больше было некому.

Тем вечером доктор Трушечкин, возвращаясь домой, в троллейбусе ввязался в историю. Напротив него сидели два парня и через фразу поминали нецензурные слова. Он сделал им замечание. Раз, два. Они пригласили его выйти с ними на ближайшей остановке. Он вышел. Был короткая, но энергичная схватка. Победа осталась за ними.

Когда он вошел в дом, Аля поняла все. Муж не раз был героем историй, подобной той, что произошла в троллейбусе. Не мог быть равнодушным человеком доктор Трушечкин.

— А где бабочка? — только и спросила Аля, когда он стал снимать парадный костюм.

— Улетела моя бабочка. Упорхнула, — Роберт Петрович показал рукой, как летают бабочки. — Осталась ты у меня, — добавил, вспомнив шутку невролога Дмитрия Ивановича.

ЛЮБОВЬ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

I

Мой дорогой!

Я увижу тебя только через неделю. Боже мой, целая вечность! Никогда мы не разлучались так надолго. Я привыкла видеть тебя рядом всегда. А теперь целая неделя без тебя.

И вот, что я придумала. Буду писать тебе каждый день. Но отсылать письма не стану. Я приеду к тебе раньше, чем они придут по почте. Ты узнаешь, как я прожила эти дни без тебя.

1

Когда тебя подняли в самолет, и ты обернулся и слабо помахал мне рукой, сердце мое сжалось от горьких предчувствий.

Всю дорогу из Шереметьева я плакала. Тихо. Слезы сами текли из глаз, я ничего не могла с ними поделать. Впервые в жизни молилась Богу. Просила за тебя. Это была молитва без слов, потому что я не знаю молитв, не знаю, какие слова надо говорить Богу.

Мы прожили вместе так недолго. Каких трудов стоило нам, чтобы быть вместе. Но ни ты, ни я не отступились друг от друга. Господи, какие были времена! Как всем хотелось залезть нам в душу, в нашу постель. Мне было не стыдно за себя. Мне было стыдно за них. Интеллигентные люди! Мне нечего было терять. Работу?! Работа потеряла для меня интерес с тех пор, когда за каждый свой шаг надо было давать отчет или оправдываться.

А вот ты мог потерять все — работу, положение. Таких пируэтов тогда не прощали. Блудить — сколько угодно. За доблесть почиталось. Но развод — ни-ни. Аморально. Несовместимо.

Мы выстояли. Ты стал моим. Каждый день этих десяти вместе прожитых лет были для меня счастьем, праздником.

Да, мой дорогой, я не преувеличиваю. Я не говорила этого, когда мы были рядом друг с другом. Теперь говорю. Теперь ты должен, знать, как сильно я тебя люблю.

Написала слово «теперь», и оно вернуло меня к сегодняшней нашей разлуке. Все было так хорошо. Ты мой, весь. Ты любишь меня. Я это знаю и вижу. Тебе хорошо со мной. Мы стали одним целым. Мы любим одно и то же. Одни и те же книги, одну и

ту же музыку. Я угадываю твои мысли, а ты мои, прежде чем мы друг другу скажем о них. Я растворяюсь в твоей любви. В твоих руках я забываю себя. Господи, как было хорошо! И вот это «теперь». Все как будто оборвалось, рухнуло. Видимо, так хорошо долго быть не может. Но почему? Почему?!

Не помню, как я добралась до дома.

В квартире пусто и гулко. Ты присутствуешь только запахом твоего любимого трубочного табака. Побродила по комнатам. На кухне взяла кусочек печенья, но есть не смогла. Прошла в твой кабинет. Села за твой письменный стол. Он такой большой, просторный. Книги, стопка бумаги. Фотографии в рамках. Я. Я и ты. Я — когда мне двадцать. До тебя. Ты любил эту фотографию. Ты всегда говорил, глядя на нее: «Где же ты была раньше?» А я отвечала: «А ты?» Я и ты. Это после нашей «расписки». Какое глупое слово. После этой «процедуры» мы зашли в ателье и сфотографировались. Ты потом говорил, что на этой карточке у тебя такой глупый вид, который бывает, когда на человека неожиданно и незаслуженно сваливается счастье.

Твой сын. И моя дочь. Милый, ты так хорошо принял мою дочь. Не сразу. Да и трудно было принять ее хорошо сразу. Она была трудным ребенком. Мудрено в семье, в которой она росла, быть нетрудным человеком.

А твой сын мне понравился сразу. Он очень похож на тебя. Такой же большой, надежный и добрый. Я приняла его сразу. И он недолго чурался меня.

А потом наши дети приняли и нас. Это оттого, что они увидели и поняли, как мы любим друг друга. Когда они обзавелись собственными семьями, они поняли, какое это трудное дело быть счастливыми вместе. И простили нас.

Как хорошо все складывалось. Наша жизнь улеглась, наладилась. Все успокоилось и свыклись. Со мной снова стали здороваться. Поняли, что мы не просто так, что у нас все по-настоящему. Перестали показывать на нас пальцами. Тебя снова уважали.

Стала налаживаться семейная жизнь наших детей. Мы стали ждать внуков, и все гадали, кто первый сделает нас бабушкой и дедушкой, твой сын или моя дочь.

И вот это «теперь»! Теперь все рухнуло, все оборвалось и покатилося. И куда прикатится? Господи, за что?!

Знаю, ты не одобрил бы мое теперешнее состояние, сказал бы свое привычное и уверенное «без паники, дорогая». И мне бы стало легче. Но тебя нет со мной. Этих слов я не услышу, поэтому побороть свое отчаяние мне никак не удастся.

Предчувствие надвигающейся беды у меня было. Слишком все было хорошо. Так хорошо не может быть долго. По какому-то неведомому человеку закону. Я как могла, сопротивлялась этому закону. Давала тебе аспирин. Говорили, предупреждает инфаркт. Просила переходить осторожно улицу. Не пить холодное пиво в жаркую погоду. Ты, большой и сильный, посмеивался надо моими страхами, но покорно делал все, что я просила. Но все оказалось напрасно. Беда пришла оттуда, откуда ее не ждали.

Я начинаю понемногу успокаиваться, беру себя в руки. Все обойдется, мой дорогой. Я верю. Села даже смотреть телевизор. Твою любимую «Джазофрению». Никак не могла понять, ты такой умный, со вкусом человек, а тебе нравятся эти хрипящие негры и дергающиеся музыканты. А сейчас слушаю, думаю о тебе, и джаз не кажется мне безобразной музыкой. В нем что-то есть. Его надо не смотреть, а слушать.

Устала смертельно. Валюсь в постель. Нашу с тобой постель, в которой тебя сегодня нет. Как ты там? Хорошо тебя устроили? Хорошо за тобой ухаживают? Фу, какая глупость! Кто может за тобой хорошо ухаживать, кроме меня.

Спокойной ночи, дорогой мой.

Все, закончила все свои дела. Сажусь за твой стол и начинаю писать тебе письмо. Боль притупилась, стала не такой острой и жгучей, как вчера.

Я уже думаю о том, куда мы поедем, когда этот кошмар пройдет, и мы снова будем вместе.

На дачу? В наш дом, который построил ты. Или за границу? Как скажут врачи.

Мой дорогой, дача хороша тем, что там тишина и покой. Мы будем одни. Даже детей не станем звать. Буду предупреждать каждое твоё желание, буду ухаживать за тобой так, как ни одна сиделка на свете. Буду подавать тебе кофе в постель. Тебе можно будет кофе? По вечерам буду усаживать тебя в кресле на веранде, укутывать в плед, сама усаживаться у твоих ног и читать тебе твоего любимого Набокова. А когда ты окрепнешь, будем ходить с тобой на речку, на наше любимое место — на высоком берегу под ивой — и оттуда смотреть на закат. Хорошо?

Я только боюсь, что на даче ты не утерпишь и примешься за работу. Мне всегда было тоскливо, когда ты по утрам, после кофе, поднимался на второй этаж в свой кабинет и на несколько часов оставлял меня одну. У тебя и на даче рабочий кабинет. Потом я привыкла. Но сейчас, после всего этого кошмара, который нам еще только предстоит пережить, я не хочу быть без тебя даже минуту.

Еще хуже, если ты примешься что-нибудь мастерить. Мастер ты мой! Ты у меня такой рукастый. Никогда не думала, что такие высоколобые люди, как ты, могут быть мастерами на все руки. Не верила, что ты по сути дела одинстроишь наш дом. Ах, какое было время! Ты в кирзовых сапогах и телогрейке пилил, строгал, забивал гвозди, иногда подпускал матюжком. Я кашеварила на печке-временке. Мы засыпали в спальном мешке в обнимку. Не знаю, сохранилось ли где это наше двухспальное ложе. Это была наша вторая молодость.

Если тебе будет противопоказана физическая нагрузка, я не подпущу тебя к верстаку на пушечный выстрел. Удастся ли мне тебя удерживать? Почему ты всегда пренебрегал советами врачей? Думал, что ты семижильный, что тебя хватит на десяти-рых? Я начинаю занудствовать? Прости.

Нет, мы не поедem на дачу. Если врачи разрешат, мы поедem за границу. Поедem на наш любимый Кипр? Кипр был нашей первой границей. Поселимся в том же самом уютном маленьком отеле о трех звездах. На Кипре ты уже не сможешь работать — ни умственно, ни физически, и всецело будешь моим.

Ты бывал за границей, в командировках. А вот так, для отдыха, никогда, как и я. Господи, теперь мы поедem за границу из-за болезни!

Как в ту первую поездку все было в диковинку — и мне, и тебе. Шведский стол, белье меняют каждый день, в ванной шампуни — для тела, для головы. Мой дорогой, я не заболтала тебя? Ты никогда не интересовался мелочами. А женщины — они все из мелочей состоят. Я тоже.

Сейчас мне доставляет большую радость вспоминать, вспоминать, вспоминать. Слава Богу, есть, что вспоминать. Эти десять лет были для меня такими насыщенными, яркими, полными настоящей жизни и чувств. Ничего фальшивого, ничего мелкого и обыденного не было в наших отношениях. Ничем и никогда ты не обидел меня. Спасибо тебе, мой дорогой. Это все так непохоже на то, что было до тебя. До тебя вообще ничего не было. Все началось только с тебя. Все эти десять лет были наполнены для меня открытиями. Открытиями в тебе, открытиями в любви. С тобой я узнала, что такое настоящая мужская любовь, любовь без мелочных придирок, без себялюбия, без «перетягивания каната».

На Кипре, в Ларнаке мы зашли с тобой в церковь Святого Лазаря. Тут я впервые увидела, как ты перекрестился, коротко, как бы украдкой. Это меня так поразило. Ни-

когда не думала, что ученые могут верить в Бога. Я сделала вид, что ничего не заметила. Я видела, с каким благоговением ты переходил от иконы к иконе, рассматривал их внимательно, точно искал в них что-то, только тебе известное. Меня поразило выражение твоего лица в эти минуты. Мне кажется, что ты даже забыл, что я рядом.

Потом мы спустились в подвал церкви. Там стояла гробница Святого Лазаря. И опять ты удивил меня. Украдкой, на мгновение ты опустился на одно колено перед гробницей и тут же встал.

Когда мы вышли из церкви, ты стал рассказывать мне, кто был Святой Лазарь. В твоём рассказе о Христе, о воскрешении им Лазаря было столько живости и картинности, будто ты сам все видел.

— Понимаешь, Женюра, перед такими персонажами, перед такой древностью нельзя не преклонить колени, — сказал ты, словно зная о моем недоумении относительно своего поведения в церкви. — Чтобы в полной мере почувствовать себя русским, нельзя не быть православным, — задумчиво добавил ты.

Ты долго и интересно рассказывал мне о евангельских событиях. Мы сидели на скамейке, на берегу. Перед нами плескалось Средиземное море. И море, и земля острова превращались для меня из места приятного времяпровождения в сцену дивной и древней истории. По этому морю плавали апостолы Христа, по этой земле ступала нога Лазаря, воскрешенного Христом.

Я помню, в тот вечер мы просидели у моря до самого заката. Ты говорил, что христианская религия — самая великая мировая религия. Величие ее в том, что она провозглашает — Бог есть любовь. Я с готовностью с этим согласилась.

— Ты мой бог, — сказала я, — потому что ты моя любовь.

Ты улыбнулся и сказал: «С женщинами положительно нельзя говорить о серьезном».

— Дорогой мой, — сказала я в ответ, — что для женщины может быть серьезней, чем любовь.

Итак, решено. Если врачи разрешат, мы едем с тобой на Кипр, в Ларнаку. Поселимся в том же самом отеле. Мы обвенчаемся в церкви Святого Лазаря. В тот вечер у моря мы решили, что «расписка» слишком банально и примитивно, что не человек, а Бог должен соединять женщину и мужчину для жизни и любви.

3

Вечер. Я в твоём кабинете. Почти совсем выветрился запах твоего трубчатого табака. Он едва слышен. Но мне и этого достаточно, чтобы ощущать тебя рядом. Почти реально вижу тебя, склонившегося над бумагами и попыхивающего трубкой. Иногда ты позволял мне сидеть в твоём кабинете, когда ты работал. Я сижу тихо как мышь и, чтобы не отвлекать тебя, делаю вид, что читаю. А сама посматриваю на тебя. Когда в голову твою приходит нужная мысль, ты откладываешь трубку и быстро, не отрываясь, пишешь. Из оставленной трубки вьется сизый ароматный дымок. Потом, когда мысль легла на бумагу, ты откидываешься в кресле — для размышления, тогда колечки дыма летят медленно к потолку. Я замираю, чтобы ничем не напомнить о своём присутствии, не отвлечь тебя от размышлений.

Когда работа удавалась, ты вставал из-за стола, довольный, потягивался и крепко обнимал меня.

Сегодня ездила на дачу. Только что вернулась. Надо было попросить соседку Нину Ивановну присмотреть за нашими цветами, пока нас нет.

Она стала расспрашивать о тебе.

— Не знаю, дорогая Нина Ивановна, ничего не знаю. Что будет? Как будет? — сказала я.

Мы поговорили о погоде, о цветах. Я сказал, какие цветы и когда поливать, какие рассадить и куда.

— У моего тоже был рак,— начала было она, но увидев мои глаза, осеклась.

Я пошла в дом. Наш дом. Села в шезлонг и включила магнитофон. Поставила Пономареву. И воспоминания охватили меня, как озноб. Это ты привил мне любовь к русскому романсу.

— Ни один народ не создал таких романсов, как мы,— говорил ты мне.

Да, милый мой. Я слушала, как одержимая, все подряд — Пономареву, Брегвадзе, Церетели, твоего любимого Штоколова. В них, этих романсах есть все — все самые мыслимые и немыслимые чувства и переживания, переливы настроений, боль и радость невыразимые, восторг, упоение и отчаяние, мольба и покорность, каприз и жеманство. И все с таким невероятным вкусом, тактом, чувством меры и такой безмерностью переживаний.

Слушая, я думала о нас. Я уверена, что все, о чем поется в наших любимых романсах, было и у нас. Все, все, кроме коварства и обмана, неразделенного или неоцененного чувства, наступившего безразличия одного к другому, когда этот другой еще исполнен любви. Ведь были и у нас с тобой тайные свидания, и цветы, и шампанское, и медленный танец в объятьях друг друга, и восторг соединения, когда я не знала, где я — еще на земле или уже на небе.

Какая это сладкая мука слушать наши любимые романсы и думать, думать о тебе!

Неужели все это никогда не повторится?! Не верю. Верю, мы снова придем в наш дом, сядем в шезлонги, включим наш старенький магнитофон, и ты спросишь меня: «Что ты хочешь послушать, Женюра?» Я отвечу: «Что хочешь ты». — «Тогда начнем с Пономаревой».

Мы будем сидеть покойно в наших шезлонгах, слушать и молчать. И только время от времени, когда нас охватит одинаковое чувство восхищения от услышанного, мы посмотрим друг на друга понимающе и опять погрузимся в слушание.

Знаю, о чем ты подумаешь, когда будешь читать эти строки. Ты всегда звал меня своей маленькой девочкой, хотя я младше тебя всего на пятнадцать лет. Да, я чувствую себя рядом с тобой намного моложе, чем есть на самом деле. Не потому что ты старше меня, а потому что я влюблена в тебя, как девочка. Бог или судьба не дали мне раньше испытать то чувство, которое я испытываю к тебе. Ты моя настоящему первая любовь. Я не могу сейчас скрыть своих чувств. Я никогда бы не сказала, глядя в твои глаза то, что говорю сейчас. Постеснялась бы. Знаю, ты нелюбишь «высокий штиль», преувеличения. Ты бы смутился и перевел разговор на что-нибудь другое. Или отшутился бы. Наверное, сказал бы: «Это не обо мне». Поверь, я не знала, что есть на свете такие мужчины, как ты. Весь мой опыт, горький опыт жизни «до тебя» изо дня в день убеждал меня, что такие мужчины существуют только в воображении несчастливых женщин. И не искала больше ничего, а смирилась и жила «как все». Так было до тебя. Моя жизнь, настоящая жизнь, началась с тебя.

Не смущайся, милый, дорогой мой, от этих слов. В них чистая правда. Ты достоин лучших слов. Но твоя сорокалетняя «девочка» не умеет их сказать.

Отерев слезы с лица, я встала, но ничего делать по дому не могла. И не стала. Попила кофе. Выкурила сигарету. Посидела на крылечке. И поехала домой. В электричке читала «Лолиту». Вот уже Бог послал человеку любовь! Но написано так чисто, с таким тактом, что не испытываешь отвращения к этому несчастному Хумберту, а только сострадание. Настоящая любовь не может быть нечистой.

Приехала и сразу к тебе в кабинет, за твой письменный стол.

Хоть бы ты приснился мне сегодня.

Сегодня на работе в корректуру пришла твоя статья. Я взяла ее себе. Читала с удовольствием. Сначала как читатель, а потом уже как корректор.

Какой ты у меня умный. Как хорошо пишешь. Насладившись, принялась «выковыривать» ошибки и опечатки. Твой стиль безукоризнен. Только пореже употребляй союз «и». Часто начинаешь фразу с «и». Не стоит.

Каково, мой дорогой, а?! Я — учу тебя как надо писать! Но если помнишь, я в свое время писала неплохо. Главный недавно обещал сделать меня литературным редактором. Конечно, методички для студентов и научные статьи не ахти какое творчество. Но все же. Мой бывший шеф так писал, что сам потом не мог понять, что написал. Обзоры поручал писать мне, а свою фамилию ставил первой. Теперь, небось, локти кусает. Не надо было строить из себя высоко морального человека, пекущегося о нравственном климате в педагогическом коллективе.

Недавно встретила Людку, доцентшу. Говорит, шеф снял в своем кабинете портрет вождя и повесил на его место портрет своего учителя. Забыл, как подсиживал его, и, наконец, выжил с кафедры. Тоже мне, высокоморальный облик. Интересно, кто теперь ему пишет обзоры.

Прости, но когда вспоминаю все тогда пережитое, из дальних закутков сердца начинают всплывать недобрые чувства. Они хорошо тогда надо мной поиздевались. Мне казалось, что я хожу среди них голая. Когда я пожаловалась тебе на их чрезмерное «участие» в моей судьбе, ты, помнится, сказал: «Дорогая, за все надо платить».

Да, все имеет свою цену. Тебе ведь тоже досталось, мой дорогой. Только ты об этом ничего не говорил. Говорили другие. За то счастье, которое ты даешь мне, я не только была готова потерять место, но взойти не эшафот.

Твоя статья выйдет в ноябрьском номере «Вопросов». Когда ее прочитают, тебя назовут классиком еще при жизни, мой дорогой, мой умный человечиче!

Позвонил Сережа. Сказал, что уезжает в командировку и заскочит на минутку.

Он привез бутылку шампанского.

— Это для папы,— сказал он.

Я заплакала. Я вспомнила, как Чехов, чувствуя, что умирает, спросил шампанского, выпил бокал, отвернулся к стене и умер. Господи, почему мысль о смерти преследует меня неотвязно?!

Сережа положил свои большие ладони мне на плечи и сказал:

— Не надо, Евгения Ивановна, все будет хорошо.

Его руки, такие, как у тебя, и его голос, совершенно твой, так напомнили мне тебя. Я прильнула к его груди, он обнял меня. Как мать. Это дорогого стоит.

Мне так трудно было завоевать его расположение. Он всего на десять лет моложе меня. Помнишь, сначала он никак не называл меня. Позвонит и сердито скажет: «Позовите папу». Потом понемногу его сердце стало оттаивать. Ты, мой умный человек, не давил на него. И был прав. Потом он стал бывать у нас. Стал звать меня Евгенией Ивановной. Если бы ты знал, как много для меня значит эта перемена в его отношении ко мне, к нам.

Он торопился. Но я уговорила его выпить со мной чашечку кофе. Видимо, чтобы успокоить меня, не оставлять в расстроенных чувствах, он согласился.

Мы пошли на кухню. Я сварила кофе. Достала бутылку твоего любимого коньяка, и мы полчаса посидели — как мать с сыном. Говорили только о тебе. Тебе будет приятно узнать об этом.

Он уезжает в Екатеринбург и вернется через неделю. Письмо написать не успел. Просил обнимать тебя, передавал привет.

И ушел.

И опять мне стало одиноко в нашем пустом доме.

Я решила устроить себе вечер поэзии. Твоей поэзии. Забыл, как в самом начале нашего романа ты писал мне стихи? Потом ты их стеснялся, говорил, что это было мальчишество.

Да, мой дорогой, ты влюбился как мальчишка. Когда ты принес мне свое первое стихотворение, нет, не принес, а сказал — я написал тебе стихи, если хочешь, я прочту,— я обомлела. В определенном возрасте все влюбленные мальчики пишут стихи любимым девочкам. Без этого не обходится ни один первый роман между юными Ромео и Джульеттами. Но чтобы взрослые люди, уже пожившие и многое пережившие,— и стихи! Да, мой дорогой, ты был влюблен в меня как мальчишка. Моя влюбленность не исторгла из меня стихов, но по-своему, по-женски я сумела доказать, как люблю тебя.

Наверное, чтобы я не видела твоего лица, ты ходил по комнате нашего тайного свидания, и читал мне это свое первое стихотворение. Ты волновался, голос твой слегка дрожал.

Потом я попросила продиктовать его и записала на листке бумаги, который храню до сих пор. А потом на каждое наше тайное свидание ты приносил стихи уже отпечатанными на машинке. Я собирала эти листки в большой конверт. Сейчас этот конверт у меня в руках. Вынимаю листки, читаю и стараюсь вспомнить те дни наших тайных встреч, когда ты их приносил. Раскладываю в хронологическом порядке. Это летопись нашей любви. С самого ее начала. Потом, когда мы стали жить вместе, ты перестал писать мне стихи. Когда я спросила — почему? Ты сказал — всему свое время. Время сгорать от любви и время наслаждаться любовью. Я хорошо запомнила эти слова. Кто ярко горит, рано или поздно перегорает. А мы все эти десять лет, что вместе, спокойно и уверенно наслаждаемся нашей любовью.

Но только почему это счастье такое недолгое!? Не хочу! Хочу еще и еще! Опять плачу. Не буду! Буду думать только о хорошем. Я от слез совсем подурнела.

Весь вечер наслаждалась твоими стихами. Включила Вивальди и стала читать. Потом поняла, что твоим стихам больше подходит Брамс. Все-таки это стихи «не мальчика, но мужа». Мальчики, современные, кажется, сонетов не пишут.

Один из твоих сонетов кончается словами: «Любимая, я шел к тебе всю жизнь,/Она в конце тебя мне обещала».

Дорогой мой, почему «в конце»? Мы с тобой будем жить долго. Правда? Это не конец. Ты выздоровеешь. Ты такой сильный. Ты никогда не болел. Ты поборошь любую болезнь. Мы будем жить с тобой долго-долго и умрем в один день. Эти слова затерлись от частого употребления, но тот, кто их сказал первый, выразил самое сокровенное желание всех влюбленных всех времен и народов.

Через два дня я тебя увижу.

5

Ну вот, совсем другое дело. Покрасила реснички, пощипала бровки. Сделала маску. Мой парикмахер отступил на шаг, посмотрел на меня, как художник на свою картину, и сказал: «Порядок, Евгения Ивановна. Можно ехать за границу».

Когда ты после наркоза откроешь глаза, твоему взору предстанет вполне еще привлекательная женщина, которой неполных два месяца назад исполнилось всего-то сорок лет.

Не буду плакать. Из всех сил не буду плакать, чтобы не испортить макияж.

Меня уже захватила предотъездная лихорадка. И хорошо. Силы мои на исходе. Не могу и не хочу больше думать о болезнях, операциях, смертях. Думаю, что с тобой брать, чтобы выглядеть за границей соответствующим образом. Сидеть с тобой

возьму цветастый халатик со сплошной застежкой спереди и белые замшевые шлепанцы. Ходить по городу буду в бежевом костюме с черным топом. Два платья возьму, две пары туфель, одну на дождь, другую на ясную погоду. А когда тебя выпишут, мы задержимся на пару дней, сходим в какой-нибудь ресторанчик попить немецкое пиво. На этот случай я беру белый костюм с короткой юбочкой, он меня очень молодит, и белую шляпу с широкими полями. Из украшений возьму только бижутерию. Говорят, за границей не принято носить настоящие драгоценности. Косметики беру самую малость. Ты не любишь, когда на женщине много косметики.

Чемодан не беру. Возьму сумку через плечо. Так современной и по-заграничному. Как видишь, вещей беру немного. Думаю, обойдусь. Больше недели тебя в госпитале не продержат. Лидия Ивановна говорила, что на Западе долго на больничной койке не держат. Она знающий доктор. За время твоей болезни я так с ней сдружилась. Мы перезваниваемся. Она знает, что я еду к тебе, и дает мне всякие полезные советы. Читать возьму Набокова. Когда ты будешь в состоянии слушать, буду читать тебе «Другие берега».

Что-то моя паршивка не звонит и не заглядывает. Ее гражданский муж дурит, и она не находит себе места. Ко мне не идет, выдерживает характер. Пусть набьет себе шишки. Станет умнее. Все мы, дуры, в молодости делаем одни и те же ошибки. Я в двадцать такая же была. Повезет ли ей когда-нибудь, как повезло мне? Дай Бог. Я ее люблю. Когда она первый раз увидела тебя, сказала: «Мама, мужик что надо». Откуда это было у десятилетней девочки?! Теперь дети взрослеют рано. Но когда она узнала, что мы с тобой будем жить вместе, в ней заговорила ревность — и за себя, и за своего папашу, будь он помянут не к ночи. Лизка, наверное, позволила бы мне «дружить» с другим мужчиной, но отдавать мать кому-то насовсем — это ее не устраивало. Должна ли женщина жертвовать любовью ради своего ребенка, не знаю. Я посвятила бы ей всю жизнь, а когда она вырастет, у нее будет своя жизнь, и в этой жизни место матери, как правило, не находится. Или ее задвигают в дальней угол, и все претензии матери на участие в жизни ребенка отвергаются. В моих словах нет логики, но сердце мне подсказывает, что десять лет назад я поступила правильно. Тогда я полюбила тебя и поняла тебя и сказала себе — этот человек будет мне не только прекрасным мужем, но и хорошим «отчимом». Он даст моему ребенку больше, чем я сама, а тем более ее собственный папаша. Женщина, как бы ни была она влюблена, всегда остается способной о некоторых вещах судить трезво. И я, к моему счастью, не ошиблась. От этого мое счастье стало еще более полным. Дорогой мой, я невыразимо счастливая женщина и мать. И «мачеха». Твой Сережа не чурается меня. А вчера вообще вел себя как любящий сын.

Я так расфилософствовалась! От тебя научилась, мой философ. Сажу в твоём кабинете, за твоим столом. Наверное, поэтому в мою голову приходят такие умные мысли. Смотрю на нашу фотографию. Запах твоего любимого трубочного табака совсем выветрился за время твоего отсутствия. Ничего. Скоро ты будешь дома, и дом опять наполнится таким родным, твоим запахом. Какое-то время после операции тебе нельзя будет работать, и ты всецело будешь мой. По вечерам мы будем сидеть в этом кабинете. Усажу тебя в кресло, укутаю пледом и буду тебе читать. Или будем слушать твои любимые романсы. Раньше нам это редко удавалось. В Москве никогда. На даче мы отводили душу. Наши дачные дни всегда были наполнены музыкой. Купила несколько новых кассет. Смольянинова. Евгения Смольянинова. Тебе это имя что-то говорит? Очень интересная певица. Приедешь. Послушаешь. Ты прав, романсы поют не голосом, а душой, а душа должна быть страдавшей «от любви и печали».

А перед сном я буду выводить тебя на прогулку. Куплю тебе красивую трость, и будем медленно идти рука об руку. Ты будешь рассказывать мне о твоём любимом

Василь Васильиче Розанове — женолюбце и большом оригинале. Если ты будешь говорить, как однажды, что тебе, старому, седому и больному, неловко идти рядом с молодой женщиной, я тебя побью. Не больно, но побью.

Сначала, впервые услышав такое, я подумала, что ты кокетничаешь, напрашиваешься на комплименты. Оказалось, ты в самом деле стесняешься разницы в возрасте. Я не стесняюсь. Я готова всем и каждому сказать — этот большой, умный, сильный человек, такой добрый, умеющий быть бесконечно нежным, этот человек мой муж, мой мужчина. Он дает мне такое счастье, какое «вам и не снилось». А сколько тебе лет, для меня не имеет никакого значения. Как хорошо, что сейчас, правда, благодаря столь печальным обстоятельствам, я могу сказать тебе все это. Ты не любишь патетики. Но это не патетика, мой дорогой. Мы будем ходить с тобой в театр, в твой любимый Малый, в консерваторию. Начнется новая жизнь, без страха, ощущения беды.

Мой дорогой, послезавтра я обниму тебя.

6

Прошлой ночью мне приснился ужасный сон. Я встала вся разбитая, с головной болью.

Сначала снилась всякая белиберда. Я ее не помню. Потом — ты. Мы гуляем в лесу, или в парке. Может быть, идем по нашему Суворовскому бульвару вниз, к Арбату. Точно сказать не могу. И вдруг ты побежал от меня. Быстро-быстро. Я бросилась за тобой. Бегу, ветки деревьев хлещут меня по лицу. Ты бежишь впереди, мелькаешь меж деревьев, я вижу тебя. Ты почему-то голый. Твое тело смутно белеет. Мне никак не удается тебя догнать. Потом эта погоня продолжается в каком-то городе, чужом городе. Я думаю: как же ты голый бежишь по улицам? Но, как ни странно, на тебя никто не обращает внимания. На меня тоже. Мы бежим по городу как бы одни. И вот я почти догнала тебя. Я протягиваю руки, чтобы остановить тебя, дотрагиваюсь до твоих плеч. Ты оборачиваешься ко мне. И, о, ужас! Это не ты, а какой-то страшный мужик. Он хватает меня. И вдруг я вижу, что я тоже голая, а мужик, который схватил меня — мой бывший муж. Я кричу от страха и стыда и просыпаюсь. Сердце мое колотится как сумасшедшее. Руки дрожат. Посмотрела на часы — пять утра. Заснуть больше не могла. Боялась, что сон повторится или будет иметь еще более страшное продолжение.

Господи, к чему этот сон!?

Я не суеверная, но как всякая женщина склонна верить в сны. Голый, значит больной. Почему ты убегаешь от меня? Причем здесь мой постылый бывший муж? Последние дни никакие предчувствия беды меня не терзали. Я была занята только приготовлениями к отъезду. Я жду только встречу с тобой, только этим живу. И вдруг такой сон. Это предвестник беды?

На работе заметили перемену моего настроения. Сочувствуют. Рассказала свой сон нашей главной толковательнице Клавдии Петровне, из набора. Она выслушала, покачала головой.

— Да, Женюра, серьезный сон. Но вы не переживайте. Только пятьдесят процентов снов сбываются.

Пятьдесят процентов! Надо же! Мне не нужен и один процент. И потом, что значит — сбывается. Что сбудется? Что сбудется?!

Весь день работа валилась у меня из рук. Смотрю в словарь и не могу найти нужное слово. Как пишется: «корректировать» или «коррегировать», так и не нашла.

Наши «корректные» девочки, видя мое состояние, сказали — Евгения Ивановна идите домой, хватит вам.

Я зашла к главному попрощаться. Он встал из-за стола, шагнул мне навстречу, протянул руку.

— Передавайте супругу пламенный и пожелание скорейшего. Скажите, что ждем его новых статей.

Это его обычная манера, говорить прилагательное, а существительное опускать: «пламенный», значит «привет», «скорейшего» — «выздоровление».

Я ушла из редакции. Зашла в магазин. Хотела купить тебе что-нибудь по завещенному у нас обычаю для «передачи». Потом подумала — какие передачи в германском госпитале? Все-таки купила твои любимые луковые печенья. Буду кормить тебя. Занятное зрелище — такой большой и сильный, а я буду кормить тебя с ложечки, а ты будешь послушно открывать рот.

Сон не идет из головы. Мой дорогой, какой бы ни был ты, лишь бы живой был. Лишь бы мой и со мной. Я поставлю тебя на ноги. Я жилистая. Моя жизнь тоже не была сахар. Трудности меня не пугают. Болезнь, тревоги, заботы — это тоже жизнь. Для меня любая жизнь с тобой, даже самая тяжелая, это жизнь с тобой. Это то, чего я так хотела с тех пор как встретила тебя и полюбила. А уж какой она будет — тяжелой или безоблачной — особого значения для меня не имеет. Поверь. Знаю, ты не любишь обременять своей персоной окружающих, и даже меня. Поэтому и говорю тебе это.

Женщина всегда остается матерью. Женщине приятно видеть рядом сильного мужчину. Но когда этот сильный мужчина сделался слабым, беспомощным, он становится еще роднее и ближе. Вам, мужчинам, это трудно понять. Сознание того, что ему без тебя не обойтись, вызывает такие нежные чувства, какие могут быть только у женщины, матери — к маленькому ребенку. Большой ребенок, как и сильный мужчина, может без тебя обойтись, уйти от тебя. А так ты будешь весь мой. Навсегда. Сильный или слабый, здоровый или беспомощный, которому я буду нужна каждую минуту.

И не думай о мужских делах. У нас было столько счастливых минут, что хватило бы не на одну жизнь. Вспоминаю начало твоей болезни, твои испуганные и умоляющие глаза. Ты думал, что с моей стороны последует реакция. И испугался. Глупый мой умный человек! Мне достаточно твоих рук, твоих глаз, твоих слов...

Хватит об этом. Ты должен твердо знать, что ты мне нужен любой. Ты это ты и этим все сказано.

Сидела допоздна. Дула кофе с коньяком, чтобы уснуть сразу и без сновидений. Завтра я лечу к тебе.

7

Это строчки последнего моего письма. Пишу их в самолете. Хочу донести до тебя все минуты, прожитые без тебя.

Павлик, твой друг и «оруженосец», подбросил меня до Шереметьева. Всю дорогу старался развлечь меня разговорами о тебе. Вспоминал вашу студенческо-туристскую молодость, какой Жора был в походах заводи́ла и выдумщик, как девочки-туристки бегали за тобой. И ты, оказывается, тоже был равнодушен к женскому полу. Я слушала без ревности. Если ты среди других женщин выбрал меня, мое женское самолюбие удовлетворено. Павлик так нахваливал тебя, словно сватал тебя мне. Или убеждал в правильности сделанного мной десять лет назад выбора. Недоумевал, откуда у такого здорового мужика, как ты, могла взяться болезнь.

Я слушала и не слушала его. Мое состояние и чувства можно обозначить одной фразой — скоро я увижу тебя.

В аэропорту перед таможенным контролем я поцеловала и отпустила Павлика.

Он велел тебе сказать: «Держись, старик, мы еще покоптим небо». Он в этот момент был мне мил, как мило все, что имеет отношение к тебе.

Тут появилась моя Лизавета. Откуда она вынырнула, я не заметила. Я уже поставила сумку на транспортер — она, с букетом алых роз.

— Это Георгию Петровичу от меня. Пусть живет.

Паршивка.

И вот я в самолете. Кругом немецкая речь, которую я не понимаю. Наверное, тургруппа. Смотрю на чужие лица, и когда окружающие замечают мой взгляд, они улыбаются мне. Сначала недоумевала, почему они это делают. Неужели не видят, что я вся напряжена, что я еду в неизвестность, может быть, к самой большой своей беде. Но потом стала думать, что, наверное, у них тоже в жизни не все гладко, у кого-то несчастье, трудности, болезнь. Но они улыбаются. Мало-помалу я начала улыбаться в ответ. Зачем думать о плохом. Через несколько часов я увижу тебя. Это самое главное. И я улыбаюсь.

Попросили пристегнуть ремни.

II

Женюра, врачи не разрешают мне заниматься, писать науку.

«А просто писать? Например, письмо любимой женщине?» — спросил я. Герр профессор Гофман поднял высоко брови, улыбнулся, сказал: «О!» Потом: «Можно, но не более получаса». Ох уж эти немцы! «Данке шон», — сказал я с российско-советским акцентом и взялся за перо.

* * *

Мне лучше. Перелет и новая обстановка взбудоражили меня. Я чувствую некоторый прилив сил.

Не буду описывать сей немецкий «дом скорби». Все как в виденных нами кино. Чистота, порядок, размеренность. Все вежливы, внимательны, улыбчивы. Только улыбки кажутся мне служебными. Сиделка, что будет со мною в течение дня, похожа на учительницу математики. Железные очки, скучный немецкий нос. Тонкие губы, изредка растягивающиеся в улыбке. На голове туго накрахмаленное, безукоризненно белое замысловатое сооружение, неизвестно как удерживающееся в блеклых кудряшках. Я для нее не больной, а «герр профессор».

— Герр профессор хочет пи-пи?

Да, герр профессор хочет пи-пи, но пока может обойтись без тебя, старая гримза.

Я не говорю это вслух. Я полон к ней нежных чувств и благодарности, но не показываю ей этого. Боюсь, не поймет. У них ведь все по ранжиру.

Как к ней обращаться, не знаю. «Нянечка», «Егоровна», пардон, «Хансовна» или «Фрицевна»? Говорю «мадам», «фрау». Она не возражает. Все она делает ловко, профессионально. Загляденье.

Не знаю, что лучше. Дома была Егоровна. Сначала звала меня «больной», потом «Петрович». Сиделкой ее назвать трудно. Нянечка. Халат на пупке лоснится. Шапочка на ухе. А то вообще простоволосая. Зато участливая.

«Ты сегодня, Петрович, молодцом», «Ну-ка повернись, я тебя оприходуя», «Потерпи, скоро на заграничное лечение поедешь».

Прав Бердяев, а может, Василь Васильич: русские — женская нация. Нам душевность подавай, а еще лучше — задушевность. Чтобы, значит, за душу брало.

Скучаю по тебе.

* * *

Начались анализы и обследования. Не доверяют нашим. Может, так надо. В меня вставляют разные трубки, что-то ищут. Безжалостно берут кусочки моей плоти на исследование. Все, что только можно взять из меня, берут на анализы. Кладут на разные аппараты, просвечивают разными лучами. В моем теле не осталось для них секретов.

Единственное, куда они не смогут заглянуть, это мое сердце, точнее душа. А если бы смогли, там увидели, что там — ты.

Болезнь и возможный печальный ее исход дают мне право расслабиться и говорить о том, что я всегда привык доказывать делами.

Я люблю тебя.

Этих слов, этой фразы я, возможно, никогда не говорил тебя. Мне казалась она слишком банальной, затертой от частого употребления, как пятак. Эти слова, сказанные теперь, думаю, не откроют тебе «америки». Надеюсь, ты никогда не сомневался в подлинности моих чувств. Но как всякая женщина, ты прочитаешь их с удовольствием. Кто-то сказал, что женщина любит ушами: любят, когда им говорят о любви. От себя добавлю — мужчина должен любить делами. Сейчас, перебирая в памяти жизнь, нашу с тобой жизнь, мне кажется: я мало делал для тебя. Времени не хватало. Теперь оно есть. Но, к сожалению, это время слов, а не дел. Что ж, изойду словами. Но не о высоких материях, а о любви. Впрочем, какая же материя в мире выше материи любви.

Хочу курить. Нельзя. Подержу в зубах свою короткую походную трубку — и все.

* * *

Обследование меня закончилось. Результаты готовы. Донора подобрали. Интересно, во мне будет сотворяться чужая кровь. Я стану другим? Не русским человеком Георгием Петровичем? А немцем Георггом-Петером? Б-р-р. А впрочем... Немецким философом быть неплохо. Немцы мастера создавать философские системы, строить величественные конструкции мира. Русские философы размышляли все больше о душе, о духе, о внутреннем мире человека, нации — и непременно русской.

Но если чужая кровь сделает меня чужим тебе человеком, не согласен ни на какие трансплантации. Бог с ними, с мировыми конструкциями и с немцами. Умру русским человеком. Любящим тебя и любимым тобой.

Пришел герр профессор Гофман. Стал рассказывать мне о моей болезни и о предстоящей операции, чтобы я осознанно дал согласие на трансплантацию. Так у них принято.

Мне слушать было скучно. Половину медицинских терминов по-немецки не понимал.

— Спасибо, я доверяю вам, герр профессор. Я очень высокого мнения о немецкой медицине, — сказал я.

Герр Гофман высоко поднял брови. Лицо его выразило недоумение. «Как можно кому-то доверять, не выслушав всю информацию, когда речь идет о собственной жизни и смерти», — как бы говорили его белесые немецкие глаза.

Когда он закончил свое повествование, я спросил:

— Что изменится во мне после операции?

Он не понял вопроса. Я пояснил:

— Останусь ли я русским человеком после того, как во мне будет циркулировать немецкая кровь?

Он расхохотался. Легонько хлопнул меня по плечу: «Йа-йа».

Женюра, я останусь Георгием Петровичем, безмерно любящим тебя мужчиной, русским человеком, для которого мысль и чувство неразрывны и не могут существовать порознь. В этом беда и счастье русского человека.

Моя «мадам-фрау» строго следит, чтобы мои писания не продолжались более получаса.

* * *

Меня готовят к операции. Вливают литры всяческих жидкостей. Я поедаю килограммы таблеток. Чувствую некоторую слабость и слегка подлихораживаю. Они говорят, все правильно, так и должно быть. Все бы ничего, но голова становится тяжелой, мысль утрачивает ясность. Хочется лежать и ни о чем не думать. Облысение мое продолжается. Становлюсь похожим на старую обезьяну.

Правы были древние греки. Они добровольно уходили из жизни, не дожидаясь наступления одряхляющей и обезображивающей человека старости. Выпивали кубок вина. Ложились в мраморную ванну с теплой водой, вскрывали себе вены и засыпали вечным сном. Помнишь Феокрита? Что это — мужество или трусость? С точки зрения христианской морали — это недопустимое самоубийство. С точки же зрения культа жизни — жизни здоровой, активной, полной подвигов ратных и спортивных, красивых женщин и утех любви, коему древние греки поклонялись, лишиться возможности вести такую жизнь было для них смерти подобно. Они и уходили из жизни — красиво и без страданий.

Я боюсь того, что будет со мной после операции. Не боюсь страданий, боли. Боюсь стать дряхлым, немощным инвалидом, неспособным вести активную творческую и всякую другую жизнь. Стать тебе обузой. Заедать твой женский век. Из четырех углов своего жилища смотреть, как вокруг бурлит настоящая жизнь, и быть лишенным возможности броситься в ее водоворот.

Я никогда не болел. Я всегда был здоровенным мужиком. Любил физическую работу, трудности, ходил в туристские походы, лазил по горам, плавал на байдарке. Моя профессия не сделала меня «книжным червем».

Перспектива быть прикованным к постели, в лучшем случае — к стулу, меня не устраивает. Быть неспособным дарить тебе любовь?! Быть иждивенцем твоей любви?! Что ждет меня впереди?

* * *

Это все интоксикация, лекарства и болезнь мутят мою голову. Так объяснил мне герр Гофман. Сказал, что у некоторых больных разыгрывается даже лекарственный психоз. Обрадовал!

Сегодня гоню от себя всякие черные мысли. Буду думать только о тебе, о твоей и своей любви.

Один мой приятель сказал мне: «Что ты нашел в ней?» Что я в тебе нашел? Все, что мужчина хочет найти в женщине. Я ему сказал: «Эта женщина не боится передать». Он не понял. Я не стал объяснять.

Помнишь Некрасовских «Коробейников»? «Катя бережно торгуется, все боится передать...».

Ты никогда не боялась «передать». Дать мне любви больше, чем получить от меня. Я таких женщин до тебя не встречал. Когда я понял, какой ты редчайший экземпляр, я сказал себе — эта женщина должна быть моей. Ты не сопротивлялась. Мне. Ты сопротивлялась им, которые не хотели отдавать тебя мне. Мы вместе сопротивлялись им. И мы их одолели. Правда, не без потерь. Но что значат эти потери по сравнению с тем, что мы приобрели. Мы приобрели друг друга.

Я никогда не говорил тебе это раньше. Есть чувства, о которых лучше не говорить словами, если ты не поэт. Слова могут принизить чувства. «Мысль изреченная есть ложь». Это относится и к чувству, не только к мысли. Из меня выползло несколько стихотворных строк, но когда я увидел, что они бледная тень того чувства, которое я к тебе испытывал, то устыдился их.

Теперешними своими признаниями я только объясняю, а не выражаю свою любовь. По роду своей профессии я привык выражать мысль, а не чувства. Тебе не было скучно со мной?

Но не только твоя редчайшая способность «передать» пленила меня в тебе. Ты — гениальная женщина. Помнишь Стендаля. Он умел увидеть гениальность женщины в том, как она садится в карету, как обмахивается веером, как поворачивает голову. Ты тоже гениальна, Женюра. Гениальна по-женски. Ты гениально улыбаешься. Твое лицо в улыбке преображается, начинает светиться изнутри. Так улыбаются дети. Ты гениально обаятельна. Есть женщины умные и красивые, но лишённые обаяния. Они как манекен в витрине. Ты обладаешь способностью возбуждать только добрые чувства. Тебя не полюбить нельзя, невозможно. И еще ты обладаешь способностью, которой я, увы, не наделен. Ты умеешь завести разговор любым человеком — молодым и старым, ребенком, женщиной и мужчиной, глупым и умным. Как ты находишь тему для разговора? Как только узнают твое имя, тебя называют не Евгенией, не Женей, а Женюрой.

В палату входит моя «фрау-мадам». С блокнотом в одной руке и карандашом в другой я делаю вид, что давно уже сплю и для убедительности даже похрапываю.

* * *

Утром был консилиум. Перед операцией. Вошли несколько человек. Все в белом, в шапочках и масках на лице, как куклуксклановцы, только видны глаза. Осмотрели, прощупали мое брэнное тело. Сказали друг другу «йа-йа» и, не торопясь, чинно покинули мою светелку, оставив меня наедине с моей «фрау-мадам». Начинаю привыкать к ней и находить ее в некотором роде симпатичной. Она, конечно, не Арина Родионовна и даже не моя московская Егоровна. Но оттого, что уже в течение шести дней я вижу рядом только ее, готовую по первому моему знаку помочь мне сесть, встать и так далее, она стала мне ближе и родней. Русский человек не может долго оставаться в формальных отношениях с незнакомым человеком. Быстро переходит на «ты», лезет «в душу» и с готовностью раскрывает свою. Мои попытки заговорить с ней она пресекает. Считает, наверное, что для меня это непосильный труд. Мы с ней, кажется мне, ровесники. Интересно, какую жизнь она прожила. Если мы ровесники, ее детство, как и мое, пришлось на годы войны. Значит, голод, лишения, страх перед русскими, как и у меня — голод, страх перед немцами. Интересно, меняла ли она круто свою жизнь или прожила, неукоснительно делая только то, что положено, как сейчас делает свою нехитрую работу. И что лучше, прожить, как надо, или прожить, как хочешь? Я прожил, как хотел. Но и у нее вид отнюдь не несчастной женщины, хотя вряд ли она когда-нибудь позволила себе нарушить раз и навсегда заведенный порядок вещей.

Она замечает мое разглядывание и вопросительно поднимает брови, не понимая, что я хочу. Потом сдержанно улыбается мне.

Я прошу помочь мне подойти к окну. Она ведет меня под руку и усаживает в кресло у окна.

С десятого этажа госпиталя мне видно полгорода. Город старинный. Во время войны не пострадал. Или уже все восстановили трудолюбивые немцы. Крыши. Крыши. Остроконечные шпили кирх. Небо, подернутое облаками, веером идущими от

горизонта. Городского шума почти не слышно. Мне нельзя выходить из палаты. Из-за болезни и лекарств круг моего общения ограничен моей верной «фрау-мадам». Я долго сижу у окна. И начинаю понимать, что именно такая жизнь ждет меня впереди.

Фрау-мадам смотрит на часы, качает укоризненно головой, увозит меня на коляске к моей кровати и помогает перебраться в постель.

Моя немощь угнетает меня.

* * *

Завтра операция. Я спокоен, раз это неизбежно. Все мои мысли с тобой, о тебе. Мы были вместе слишком мало для человеческой жизни. Десять лет! Мне, чтобы насытить мою любовь к тебе, нужно десять раз по десять. Эка хватил, скажешь. Согласен на пять. У меня всегда было желание прожить с любимой женщиной долго-долго. Быть окруженным многочисленными детьми, внуками, правнуками. Чувствовать себя среди них этаким патриархом. Философы живут долго. Это нужно, чтобы понять жизнь и мир. Как жалко, что я встретил тебя на излете своей жизни. Чтобы встретиться нам раньше! Мы сделали бы с тобой пяток-другой детишек. Я ненасытен в любви. Любовь должна быть плодотворной. Или много детей или большие свершения. Хорошо, когда и то и другое.

Те женщины, которые были у меня до тебя, ничего мне не дали. Они только брали, нет — отнимали. Время, мысли, силы — духовные и физические. Они вызывали во мне только горечь, потом озлобление, разлад с самим собой и миром.

Ты, Женюра, дала мне все, что нужно мужчине от женщины. Я тоже старался дать тебе все, на что был способен. Самое главное, ты дала мне возможность понять, что можно любить человека и оставаться самим собой. Не совершать над собой насилие. До тебя я даже не подозревал, что во мне столько хорошего, доброго. До тебя я даже не подозревал, что могу так любить женщину, как люблю тебя. Что женщина достойна любви. Цинизм мужчины по отношению к женщине по большей части напускной. Или от примитивности душевной организации данной особи мужского пола. Поверь мне, старому человеку.

Мой опыт и неудачи прежней семейной жизни дали мне повод много размышлять на эту тему — женщина и мужчина. Я многое не мог понять в этом вопросе до тебя. С тобой я понял всю истинность евангельского выражения — Бог есть любовь. Дерзну добавить — и любовь есть Бог. Не красота спасет мир, а любовь. Можно и нужно любить все — женщине мужчину, мужчине — женщину, человеку — братьев наших меньших. Надо любить деревья, небо, воздух, которым дышим, воду, которую пьем, рассвет и закат, день и ночь, землю, по которой ходим.

Я полюбил даже свою фрау-мадам. Ее лицо строго и сосредоточенно, только когда она выполняет свои обязанности сиделки. Она со мной целый день. Мы почти не разговариваем. Она считает, что мне это вредно. Но она понимает меня с полуслова, с полувзгляда, а мне все приятней тишком разглядывать ее немецкое лицо и стараться угадать, какой она была молодая. Как и кого она любила. Она, несомненно, кого-то любила — у нее такие нежные, легкие руки.

Кстати, прошлой ночью мне приснился сон, в котором главной героиней была она. Мне приснилось, что моя дорогая фрау-мадам берет меня с постели на руки. Как ребенка — под спину и под коленки. Сначала я боюсь, что она меня уронит — я здоровенный мужик, а она хрупкая пожилая женщина. Но потом вижу, что я маленький, худенький человечек, как мальчик, в белой до пят ночной рубаше. Она несет меня бережно куда-то и потом кладет. Кладет в мраморную ванну прямо в рубаше. Потом я вижу или чувствую, что это вовсе не ванна, а большая река. Вода в ней темная и теплая. Река течет медленно, плавно. Берегов не видно. Кругом темно. Вода несет меня куда-то. Я

не сопротивляюсь течению. Я плыву без усилия, не двигая руками и ногами, а тихо лежу, вытянув руки вдоль туловища. Фрау-мадам становится все меньше и меньше. И перед самым пробуждением я начинаю понимать, что это не фрау-мадам, а ты...

Будешь на даче, поставь кассету с романсом на стихи Тютчева «О, как на склоне наших лет сильнее мы любим и суеверней ...». Не знаю, кто написал музыку.

* * *

Завтра операция. Момент истины. Фрау-мадам вышла. Пока ее нет, быстренько беру карандаш и блокнот: мне разрешено писать полчаса только один раз в день.

Неужели заканчивается жизнь? Я имею в виду не жизнь как существование в живом виде, а как деятельность, творчество, общение, любовь женщины. В моей жизни было многое. Я с жадностью учился. Безоглядно влюблялся. Ходил в трудные походы, чтобы испытать себя на прочность тела и духа. Курил. Выпивал. В детстве дрался. Построил дом. Насадил сад, который мы с тобой так любим. Любил — не утомило — тебя, мою единственную настоящую любовь. Что еще надо человеку?!

И вот у меня осталось единственное желание, которому, увы, уже не суждено сбыться.

Я хотел бы с тобой в ранний зимний вечер катиться по лесу на тройке в санях. Кони — серые в яблоках. Красное зимнее солнце мелькает в остроконечных верхушках елей. С них сыплются на наши лица холодные колючие снежинки. Мы, укутанные в лисьи (почему в лисьи, не знаю) шубы, тесно прижавшись друг к другу, сидим на душистой соломе. Коренник держит лебединую шею прямо. Пристяжные изогнули шеи на стороны и крупным на выкате лошадиным глазом смотрят на нас, целующихся холодными вкусными губами. И мы едем, едем. Не кончается лес. Не кончается езда...

III

Операция должна была начаться в восемь утра. Самолет приземлился в 15.00. Не заезжая в гостиницу, с букетом роз и сумкой через плечо Евгения Ивановна помчалась в госпиталь.

Там ей сказали, что Георгий Петрович умер рано утром, в пять часов, от профузного кровотечения.

Немцы недоумевали, почему этот русский не позвал медсестру, когда началось кровотечение. Кнопка экстренного вызова дежурного персонала расположена очень удобно, надо было только протянуть руку к изголовью кровати.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, РЕЦЕЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ

Алексей Третьяков

ПОТОМОК ВОЕВОД И ЗЕМЛЕПАШЦЕВ

Два года назад в издательстве «Неография» (Тула) вышла книга В. И. Ксенофонтова «Пять веков на службе Отечеству», посвященная жизни и трудам Георгия Николаевича Шеина, человека из Тульской глубинки, одного из тех трудяг советской и партийной работы, чьими головой, руками и недюжинной волей было построено величественное здание Советской Империи, сверхдержавы социальной справедливости и раскрепощенного труда — прообраза грядущего устройства мира. Понятно, при условии, что человечество не обезумеет и не уничтожит саму жизнь на Земле, к чему мы сейчас очень даже близки. Но — это все о грустном.

...А недавно известный тульский журналист Валерий Иванович Ксенофонтов, заместитель гендиректора — главный редактор ИПО «Лев Толстой», кандидат экономических наук, презентовал мне расширенное и переработанное издание этой книги* (рецензенты: д-р истор. наук В. В. Моисеев; проф., член Союза писателей России А. А. Яшин). Предисловие написал Герой России, генерал-полковник В. В. Булгаков, а в приложении приведены отзывы о первом издании книги, принадлежащие бывшему зам. министра нефтяной промышленности СССР в 1965—1989 гг. Ш. С. Донгаряну, гендиректору ОАО «Сибтранснефтепродукт» А. К. Молодцову, главврачу Шиловской участковой больницы Н. Я. Литвин, Адриане Л. Гауинг (США, Калифорния), профессору А. А. Яшину, шиловским землякам главного героя книги.

Зададимся вопросом: почему такой неслучайный интерес современных авторов, а значит и читателей, к жизнеописанию рядовых, или почти рядовых, строителей страны реально победившего социализма? Ответ: очевидно, пришло время оценить ретроспективно историю советского периода страны, воочию увидеть ее глазами очевидцев, активных участников и исполнителей великого эксперимента всемирной истории. Именно взгляд «снизу» зорче и убедительнее, нежели политкорректно выверенные мемуары околорежиссерских «небожителей», не говоря уже о неимоверно расплодившихся в последние 10–15 лет воспоминаниях о своих трудовых свершениях певцов и танцоров... Понятно, при всей полезности и этого рода занятий.

Действительно, время человеческого бытия — категория относительная. В свое время А. М. Горький основал две серии книг, выходивших вплоть до начала 90-х годов: «История заводов и фабрик» и «Жизнь замечательных людей». Это понятно, героическое, динамичное время требовало монументальных портретов. Сейчас —

* Ксенофонтов В.И. Одна семья и вся Россия. — Тула: «Неография», 2007. — 456 с., 40 стр. цв. вкл. эк, ил.

иное время; как покореженная годами и заботами старушка присела на уцелевшее бревно у сгоревшей в одночасье избы, смотрит немигающими глазами на дико торчащую из наметенных сугробов почерневшую трубу русской печи, вспоминает прошедшее... А ее старик, отошед от горя, уже стаскивает в кучу все то, что может пригодиться для строительства нового дома.

Время осмысления прошедшего, время собирать камни, время вновь возводить Здание, но уже с учетом предшествующего опыта.

То есть интерес последних лет к жизнеописаниям свидетелей и активных участников построения социально ориентированного государства не есть случайное совпадение, но требование времени.

Надеемся, что читатель не соскучился расширенным «идеологическим обоснованием», а потому обратится к прекрасно изданной, щедро и информационно иллюстрированной книге В. И. Ксенофонтова о жизни Георгия Николаевича Шеина, судьба которого прослеживается в ретроспективе хорошо известного со времен князя Ивана III рода Шеиных, полтысячелетия (отсюда и первоначальное название книги), то есть половину всего исторического времени Руси, служивших верой и правдой своему Отечеству: от княжества Московского до мировой сверхдержавы СССР, служащих и поныне. Сам автор книги называет эту фамилию героической: «Героев и большинство персонажей этой книги объединяет общая фамилия — Шеины. Она появилась в Средневековье у потомков боярина Василия Михайловича Морозова, по прозвищу Шея... На первый взгляд, фамилия происходит от слова «шея», обозначающего известную часть тела. Но это ошибочно. Родовое имя стало известно в XV веке. Тогда эту часть тела называли русские «вья». Шеей, или шией... было основание церковной матицы. По ассоциации такое прозвище могли дать человеку высокому или, что еще важнее, возвышенному».

Действительно, представители этого боярского рода (стольники и чашники великих князей и царей) вписаны золотыми строками в русскую историю XV—XVIII веков, стояли у истоков русской государственности, были верными сподвижниками Ивана Грозного, собственно и создавшего царство Россию. Известен тульский воевода Борис Васильевич Шеин, создавший засечную черту — линию обороны государства от набегов крымских татар. А всякий читавший историю Смутного времени или книги о нем, например, «Юрия Милославского или русских в 1612 году» Загоскина, знает как одно из центральных событий этого трагического времени польско-литовской и просто бандитской (казаки, беглые воры, разбойники-шиши и пр.) экспансии героическую оборону Смоленска — форпоста Русского государства — в 1609—1611 гг. под руководством воеводы Михаила Шеина. Как то на Руси водится — уже царь Михаил Романов «отблагодарил» знаменитого полководца, казнив в 1634 году за то, что тот, в свою очередь, не смог отвоевать Смоленск у поляков.

Не менее знаменит в отечественной истории и Алексей Семенович Шеин — первый русский генералиссимус, предшественник в этом высшем воинском звании Суворова и Сталина, герой и руководитель Второго Азовского похода, в котором сам царь (тогда еще не император) Петр I именовался капитаном роты в морском караване под именем Петра Алексеева...

Еще многие Шеины из разветвившегося боярского рода верой и правдой служили Отечеству пятьсот лет в больших и малых чинах, но уже в «век цариц», в век восемнадцатый потомков Морозова-Шей стали теснить с первых ролей в государстве, как, например, и род Пушкиных. Именно к таким фамилиям применима формула Александра Сергеевича: «...Игрою счастья обиженных родов». Постепенно Шеины стали простыми дворянами, потом однодворцами, а затем и вовсе государственными крестьянами.

Сама книга В. И. Ксенофонтова задумана и отменно реализована как широкое

историческое полотно, где строители русской государственности, объединенные родовой фамилией Шеины, предстают перед читателем в современности и в исторической ретроспективе. И что особо стоит отметить — вырисовывая характеры Шеиных, автор постоянно отмечает их воинское и трудовое усердие, бескомпромиссность, кристальную честность и главное — ничем необоримую веру в свою страну. О таких людях сказано в Книге премудростей Соломоновых: «Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его, ибо Он обретается неискушающими Его и является не неверующим Ему. Ибо неправые умствования отдалают от Бога, и испытание силы Его обличит безумных. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, поработанном греху, ибо святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды. Человеколюбивый дух — премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних Чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его».

Являлся ли Георгий Николаевич потомком бояр Шеиных? — Кто знает... да и важно ли это? — Всяк достоин фамилии, если внес своей жизнью, осязаемыми трудами и подвигами достойную лепту. Правда, глядя на фотографии Георгия Николаевича, любой знаток человеческой антропологии, науки ранее и даже сейчас во многом не признаваемой, сразу отметит: герой книги имеет характерное лицо, выделяющее его, как семнадцать миллионов потомков Чингисхана, как Багратидов, из среды местного населения. Недаром давний предок «вышел на Русь» из Пруссии, отсюда и прозвище первых Шеиных — Прушанины. Имеются в виду пруссы, родственное литовцам балтийское племя, полностью к XVI веку уничтоженное Тевтонским орде- ном, великим магистрам которого сейчас русские скульпторы ставят памятники в Калининграде. Вот они-то (скульпторы и опекающее их «общественное мнение») и близко не были Шеиными...

И вот, разобравшись с историей и канвой книги, книги замечательной, не имеющей прецедентов, обратимся к ее главному герою — Георгию Николаевичу Шеину, жизнь и судьба которого — полное отображение 70-летней истории России — СССР, самого величественного периода 1000-летней истории нашей страны, нашего народа. Собственно говоря, в начале настоящего очерка мы уже вкратце рассказали о жизни «советского Шеина». Остается добавить малое, но и главное по содержанию книги о нем и его предках.

Родился он в 1920 году в деревне Дубки тогдашнего Октябрьского района. Потом названия областей и районов многожды изменялись; ныне это Ефремовский район, а Дубки и Шилово, места, связанные с жизнью и трудами Георгия Николаевича, его малая родина, стоят на реке Красивая Меча — это юго-восточный выступ Тульской области, рядом с Куликовым полем. Именно там с XVII века осела одна из ветвей потомков бояр Шеиных. Надо заметить, юг и запад современной Тульской области — это некогда «страна князей» по меткому определению В. Я. Грекова, писателя и краеведа из Белева*, где все нынешнее поселение потомки захудевших (понятно, в материальном смысле) в порубежных с Литвой и Диким полем князей и бояр. Тож и потомки боярского рода Шеиных — их тульской ветви.

Жизненный путь его был нелегок, особенно в тридцатые годы: по доносам «добрых» соседей был арестован и умер в заключении его отец, пострадали и другие родственники. Автор книги совершенно справедливо пишет, что большинство сидельцев по 58-й статье — это безвинные люди, которых (вместо себя) подставляли завистники, холуи, подлые душой люди. И юному Георгию пришлось бежать из родной деревни в Москву, а после ареста отца бродяжничать, в итоге — воспитательная ко-

* См. «Приюские зори»: № 2, 2006; № 3—4, 2006.

лония и на полжизни клеймо: сын врага народа. Даже в ВЛКСМ его приняли в военный 42-й год. А после демобилизации и до середины седьмого десятка жизни — активная трудовая жизнь в родных местах на различных советских, партийных и хозяйственных постах в Дубках и Шилово — не выше сельпо, сельсовета, колхоза и совхоза.

Именно это низовое звено и являлось стеновым хребтом советской власти, ее лицом для всего народа. Даже в наше торгово-воровское время биологическое выживание людей во многом обязано сохранившимся трудягам этого звена. Так что пресловутое перерождение КПСС, отказ от идеи социально ориентированного государства, ползучая контрреволюция — это все сверху, от прогнившего руководства страны, умело подтасованного агентами влияния, а может, и просто агентами западных спецслужб. Но, повторимся, снова пришло время собирать камни, а стране вновь потребовались тысячи, сотни тысяч новых шеиных, петровых, ивановых — честных тружеников, людей просветленного ума и души, не покупаемых и собой не торгующих, девиз которых от апостола Павла: «Не нам, не нам, а Имени Твоему». В книге — это потомки советского Шеина Георгия Николаевича.

И немного еще о замысле В. И. Ксенофонтова, создавшего (написавшего — это слишком просто) замечательную книгу. Замысел этот полностью, любовно и выверенно реализован: показать на конкретном примере рода Шеиных — от прущанина Морозова до Георгия Николаевича и его детей — преемственность поколений, пятьсот лет строивших русское государство, не щадя живота своего, не за страх, а за совесть. Пора и нам, пережив очередную 15-летнюю смуту, задуматься: кто мы и что мы, для чего живем на этом свете? Это сверхзадача книги.

ВОЙНА И НАША ПОБЕДА — ВЕЧНАЯ ТЕМА

Леа Мозес

ПРАВДА О ШТРАФБАТЕ*

Уважаемый Валентин Васильевич!

Ваша газета уже писала о фильме «Штрафбат». Возможно, читателям будет интересен взгляд на фильм из США.

И.А.С. (Москва).

Слово «штрафбат» сейчас у всех на устах — благодаря одноименному фильму Эдуарда Володарского, пользующемуся огромной популярностью. «Штрафбат» смотрят пожилые люди, которым он напоминает проведенную в окопах юность; молодежь, которую привлекает сочетание жестокого реализма с элементами «экиш-филма»; люди среднего возраста, которые хотят узнать правду о еще одной странице истории Второй мировой войны. Но вот показана ли в фильме правда, или она, по традиции, приукрашена и реализм сведен к непотопляемому соцреализму?

По словам Льва Бенционовича Бродского — настоящего штрафника, авторы фильма погрелись против истины, однако не приукрасили правду, а, напротив, драматизировали достаточно прозаичную действительность...

22 июня 1941 года Лева Бродский сдал последний экзамен и перешел на второй курс Харьковского планово-экономического института. Через неделю он уже проходил подготовку в Харьковском военно-медицинском училище. Закончил его в эвакуации в Ашхабаде в июне 1942 года. И сразу же был направлен на Брянский фронт в качестве военного фельдшера. Служил в 387-й стрелковой дивизии, в третьем пехотном батальоне 1275-го стрелкового полка.

— Такое респектабельное начало военной биографии... И вдруг — штрафбат. Как вы там очутились?

— В том-то и дело, что не вдруг,— говорит Лев Бенционович.— Благодаря Эдуарду Володарскому и его фильму люди думают, что штрафбаты формировались из одних лишь уголовников, что это была своего рода фронтовая тюрьма. А в нашем штрафбате 90 процентов бойцов составляли бывшие военнопленные.

— То есть вы побывали в фашистском плену? Как же вам, еврею, удалось из него вырваться?

— Такой же вопрос мне задавали чекисты во время проверки, которая длилась целый месяц. Но для начала, наверное, лучше рассказать о том, как я в плен попал. Немцы, получившие хороший урок зимой 1941 года, летом 1942-го пытались занять Москву с юга, со стороны Тулы (так называемое «южное наступление»). 14 сентября наш полк оказался в окружении. В течение двух недель мы старались из него выйти, но тщетно. Потом, согласно указанию командования, стали выходить маленькими группами — по четыре человека, чтобы немцы нас не обнаружили.

— Тем не менее они вас обнаружили?

— К несчастью, да. Окружили нас около деревни Сеничкино Белевского района,

* «Советская Россия», № 98 (12712) от 23.07.2005, С. 4 (перепечатка из газеты «Еврейское слово»).

погрузили в автомашину и отправили в лагерь для военнопленных, который находился в деревне Середичи Орловской области.

— *Представляю, какой ужас вы ощущали...*

— Да, мне было тяжелее, чем остальным,— ведь евреев фашисты расстреливала на месте. У меня на глазах расстреляли четырех человек: они были из небольших местечек, плохо говорили по-русски, и их сразу распознали. Я выдал себя за украинца, взял себе фамилию моего соседа, но спасло меня не это.

— *А что же?*

— Многое. Внешность (голубые глаза, светлые волосы), знание украинского и русского языков. Но что самое главное — мои однополчане меня не выдали, хоть и знали о приказе немцев, согласно которому каждый военнопленный, выдавший еврея, комиссара или цыгана, получал свободу. Напротив, мои друзья старались всячески меня «подстраховать»: окружали меня, когда мы шли купаться, брили наголо, когда волосы отрастали и начинали подозрительно виться...

Помогло мне и то, что немцы не отправили нас в Германию, как это делали с гражданским населением. По мере отступления они везли нас глубже в тыл. Когда лагерь оказался на территории Белоруссии, двое военнопленных, которые имели право покидать территорию лагеря, наладили связь с местным населением и узнали, что в 18 км от нас, в районе города Рогачева, находится партизанский отряд. В декабре 1943 года я вместе с тремя товарищами по несчастью бежал из плена.

— *И началась вторая серия мытарств?*

— Увы, да. В партизанском отряде мы прошли проверку, потом нас перевели через линию фронта, и мы опять попали в действующую армию. Там — снова тщательная проверка. И только после этого — штрафбат. 8-й отдельный штрафной батальон Первого Белорусского фронта. Вес в строгом соответствии с приказом Сталина от 4 июня 1942 года, гласившим, что офицеры, побывавшие в плену у немцев, должны искупить свою вину...

— *Вину, состоящую в том, что они посмели сдаться врагам, в не покончили с собой...*

— Именно. В штрафбат я был направлен на три месяца. Согласно уставу батальона, все бойцы освобождались, если он выполнял возложенную задачу. Раненых освобождали даже в том случае, если штрафбат не справлялся с заданием, а погибших — посмертно. Были случаи, когда штрафники вынуждены были отступить; тогда их не освобождали, а бросали на другие опасные участки.

— *Какая задача стояла перед вашим штрафбатом?*

— Мы должны были пройти к немцам в тыл, занять город Рогачев, форсировать реку Друть в месте ее впадения в Днепр и соединиться с регулярными частями. Это было в феврале 1944 года. Мы свою задачу успешно выполнили (я при этом получил средней тяжести ранение в спину), и всех нас освободили. Приехал представитель Реввоенсовета фронта, зачитал приказ, выдал нам соответствующие документы. Офицеров восстановили в звании, выплатили зарплату задним числом — и за время пребывания в плену, и за время пребывания в штрафбате. После этого я был направлен в главное санитарное управление Первого Белорусского фронта в должности младшего лейтенанта медицинской службы, назначен фельдшером 199-го отдельного зенитного бронепоезда.

— *Вернемся, однако, к штрафбату. Насколько я знаю, вы считаете, что фильм Володарского не дает реальной картины происходившего, что по фильму нельзя судить о штрафных батальонах.*

— Таково мое мнение. Но я не могу говорить «за всю Одессу». Может быть, по нашему штрафбату нельзя судить об остальных. Может быть, это был образцовый штрафбат, поэтому там и не было эксцессов, какие показаны в фильме. Ведь, как я уже сказал, 90 процентов бойцов составляли офицеры, побывавшие в плену у немцев,

и лишь 10 процентов — уголовники, которых не посадили в тюрьму, а отправили на фронт. Да и просуществовал наш батальон всего три месяца. Впрочем, я думаю, и в остальных штрафбатах не было времени для насилия, зверств, убийств и т.д. Все выполняли устав, все хотели освободиться.

В фильме еще показано, будто командование штрафных батальонов тоже состояло из штрафников. В нашем штрафбате все командование — от командиров взводов до командира батальона — составляли штатные офицеры.

— ***По какому принципу отбирали командование штрафбатов?***

— Мне трудно судить. Может быть, туда направляли офицеров, которым больше доверяли. А может быть, наоборот, молодых и неопытных, только что закончивших училище. У нас таких было больше. Им льстило, что они командуют бывшими офицерами. Впрочем, это было формальное «начальство». В бою командовали сами штрафники, которые уже участвовали в сражениях, обладали некоторым опытом...

— ***Какие у вас еще претензии к фильму «Штрафбат»?***

— На мой взгляд, там не показано, как воевали солдаты, акцент сделан на том, как с ними бесчеловечно обращались.

— ***А с вами не обращались бесчеловечно?***

— Ну, дисциплина в штрафбата, конечно, была железная — более жесткая, чем в регулярных частях. За невыполнение приказа могли расстрелять без суда. Но в целом — обычная военная обстановка.

— ***И многих расстреляли за три месяца существования вашего штрафбата?***

— Представьте себе, никого. Дисциплина у нас была, на высоком уровне. Да и в командовании не было жестоких, кровожадных людей. Начальник штаба, майор Носач, взял меня к себе ординарцем. И он никогда не делал мне замечаний, напротив, помогал, подсказывал, ведь у него было больше опыта.

Перед боем к нам приехал маршал Рокоссовский, чтобы вдохновить нас. Он нам сказал: «Забудьте, что вы — штрафники, выполните свой долг перед Родиной, и будете освобождены». А во время боя нам в помощь прислали огнеметчиков, которые уничтожали танки, и специалистов-подрывников.

— ***Вы понесли большие потери?***

— В батальоне было 700 человек, погибли 32. Из них 18 — в бою, который длился три дня, а 14 — в результате бомбежки нашей авиации. Когда мы заняли Рогачев, то не успели сообщить об этом в регулярные части. Налетели наши самолеты, стали бомбить город, потом с земли была дана команда, и они улетели.

— ***А как насчет обязательных представителей МВД в штрафбате? Были такие? Или это тоже миф?***

— Может, и были, но мы об этом не подозревали.

— ***Ваша семья знала, что вы находитесь в штрафбате?***

— Нет, не знала. Когда я попал в плен, моим родным сообщили, что я пропал без вести. Первое письмо маме я послал только после освобождения из штрафбата. Наша семья находилась тогда в эвакуации в Ташкенте. Когда пришло письмо, мамы не было дома — она пошла в магазин, где семьям погибших офицеров выдавали продуктовые пайки. Сестра побежала туда, показала письмо маме... А мама от радости лишилась чувств...

— ***Последний вопрос: когда и с кем вы приехали в Америку?***

— Приехал с женой Анной и двумя детьми в ноябре 1993 года. Сын Александр закончил здесь медицинский колледж, работает помощником врача. Дочь Ирина — вице-президент банка в Квинсе.

— ***Что ж, огромное вам спасибо, Лев Бенционович, и желаем всех благ вам и вашей семье.***

Лея Мозес (из газеты «Еврейское слово»).

ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА

Василь Симоненко



Василь Симоненко — украинский поэт-шестидесятник (1935—1963 гг.) Его поэзия широко известна в Украине, переведена на многие языки мира. Многие его стихи стали хрестоматийными. Сегодня мы публикуем некоторые из стихов В. Симоненко в переводе Н. Мыха-Степняка.

УКРАИНЕ

...Не искал я к тебе ни дорожки, ни броду
(Никогда от тебя стороной я не брел),
Для тебя я горел, украинский народ мой,
Только, видно, не ярко, не сильно горел.

Только, может, не мог, как болид, полыхнуть,
Чтобы мыслью своей осветить небосвод,
Озарить, как звезда, подвиг гордых моих предков,
Мой великий и вечный народ.

Скромен труд мой, и не пышна окраса,
Но в том я, ей-богу, не вижу беды.
Что-то есть у меня и от деда Тараса
и от прадеда Сковороды.
Не ищу я к тебе ни дорожки, ни броду.
Ты в груди у меня, в голове и в руках.

Упаду я зарей,
Вечный народ мой,
На трагичный и долгий
Чумацкий твой шлях.

* * *

Люди — прекрасны.
Земля — как сказка.
Лучшего солнца нет,
Краше нет и огня.
Погрыз я по сердце в землю вязко,
Крепко держит она меня.

И хочется быть сильным, и хочется так любить,
Чтоб даже бездушный камень захотел ожить — и жить!

Воскресайте, каменные души,
Отворяйте сердца и чело,
Чтоб не сказали о нас в грядущем:
— Их на земле и не бывало!

* * *

Когда б я тебе желал и слез, и мук,
И кары страшной тебе пожелал,
Я б не выкручивал твои слабые руки,
И в хмуром подземелье не держал.
Нет, я бы не стал тебя огнем палить,
С тобою расквитался я бы враз:
Я б пожелал тебе кого-то так любить,
Как я тебя люблю сейчас.

* * *

Может, так и надо непременно,—
Что годами уж привыкли мы,—
Падать нам послушно на колени,
Перед гениальными людьми.

Восхвалять и славить и кричать,
Раздувая фимиама дым,
Гениев меж нами небогато,
Почему ж не поклоняться им?

Но собрал бы всех титанов
И сказал им, снявши капелюх:
Я не буду петь для вас пианов
И лестью ласкать ваш слух.

Все вы и разумны, и полезны,
Но скажите откровенно мне:
Кто же и за что вам подарил бессмертье,
Кто да и за что продолжил ваши дни?

Скажете, что все узнали сами.
Сами до всего дошли,
Смертные бессмертье подарили,
Слабые продлили ваши дни.

Чтоб надежно крылья соколиные
Вас бы в небо вечности несли,
Мудрости своей по капельке, как пчелы,
Смертные вам отдали.

Вас, как знамя, поднимали люди,
В борьбе за правду против тьмы.
Гении! Бессмертные! На колени
Станьте перед смертными людьми!

* * *

Моралисты нас долго учили,
Выбиваясь из слабых сил,
Человеку, мол, потребны крылья,
Ну, никак не может он без крыл.

Я плюю на слова эти предвзято,
Обозленный я от них без меж,
Гуси и куры всегда крылаты,
Воробьи и синицы — тож.

Я готов кричать изо всех сил,
Надрывая голос свой:
Нет, не нужны человеку крылья,
Сердце и разум ему нужны.

ПРИРУЧЕННЫМ ПАТРИОТАМ

Обмывши губы в нарзане иль какао (кофе),
Дожевывая свежий бутерброд,
Становитесь вы горды, величавы
И любите Отчизну и народ.

Нет, не шуты вы и не лицемеры —
Никчемного презренья не убить.
И свой народ вы любите без меры,
Когда вам в меру выгодно любить.

За плату вы влюбляетесь в идею,
Морщины морщите на сытом челе,
Кому вы служите, прирученные Антеи,
Оторванные от матери-Земли?

Кто ваш народ, какая его доля,
Куда его корни проросли?
И чьи могилы стонут среди поля,—
Одичало забредая и в село?

Хоть раз услышите, грамотные руины,
Никчемные слуги черного добра,
Как, опершись ветру на спину,
Кричит Тарасова гора: —
Немае другой Украины,
Немае другого Днепра!

ДЕРЕВЯННЫЙ ИДОЛ

Я увидел, как у тебя сгибаются ноги,
И от удивления едва не умер.
Деревянный мой идол, это для кого же
Ты дугою согнулся так?

От тебя я в экстазе, я пальцы грызу:
Как ты дуба в себе совместил и лозу?
Чести нет в тебе, забыл ты и стыд.
Процветай и живи, деревянный гибрид.

Будешь ты, идол мой, крепкий и здоровый,
Пока будет тебя оживлять дождь бумажный.

ДЕД УМЕР

Вот и все.
Схоронили старенького деда,
Закопали навеки в землю святую.
Он теперь не встанет и не пойдет утром ранним
С косою своей под гору крутую.

И не станет брусом будить тишину,
Заглядываться в небо, смотря как гаснут звезды.
Лишь рососою по нем будут плакать травы
и плыть над ним незаметно века.

Вот и все.
Похоронили хорошего человека,
Спрятали навеки в лоно земли.
Да неужели же поместились в тесную домовину все заботы его,
Все надежды, сожаления, боли?

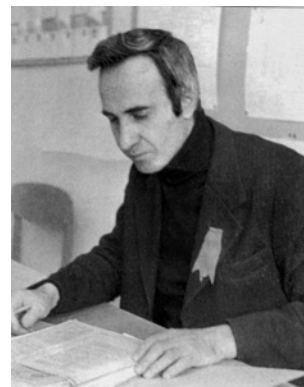
Да неужели же то ему все отныне безразлично —
Светит ли солнце, наплывает ли ночь!
Боль ужом заползает мне в душу,
Отчаянье наполняет мне душу и рвет.

Я готов поверить в царство небесное,
Потому что не хочу, чтобы в землю шли безызвестные,
Безымянные, святые, несравнимо чудесные, гордые дети земли,
Верные дети труда.

Пусть сумасшедшие гудят над планетою весны,
Пусть трава стремится ввысь,
Сквозь старую листву.
Я не верю, что дед из земли воскреснет, но верю,
Что нет — он весь не умирает.

Его думы нехитрые додумают внуки,
И в очах вечно будут пламенеть:
Его пристрастность и гнев,
Его радости и муки,
Те, что, умирая, он передал живым.

Левон Абрамян



А ВЕДЬ БЫЛО

Хочешь, не хочешь, а побежишь однажды к врачу. Поторопишься занять очередь, ведь у врача время приема ограничено, да и в очереди сидеть нудно. А к узкому специалисту запись заранее, да и не каждый день он работает. Теперь добавились и другие трудности. Порой лечение не по карману.

И вспомнилось мне далекое.

В 1943—1945 годах в далекой Киргизии на весь обширный горный район остался один врач и один фельдшер. Врач, молодая женщина лет тридцати, и фельдшер, пожилой мужчина, да несколько медсестер — недавних колхозниц, учившихся премудростям медицины по ходу работы. Врач была небольшого росточка, хрупкая, но подвижная, энергичная. Взгляд быстрый, внимательный, слегка суровый, как у многих в дни войны.

Районное село большое, по меркам Киргизии, заселено в основном русскими и украинцами, переселенцами, еще с дореволюционного времени. В селе на улице Ленина располагалась больница, во дворе которой стояло небольшое здание родильного отделения. На этой же улице располагалась поликлиника, которую в народе звали амбулатория, с обширным двором, где находилась конюшня, склад и сеновал. На поперечной улице в метрах двухсот-трехсот стояло одноэтажное здание инфекционной больницы.

И все заботы лечения, руководства, обеспечения больных легли на плечи единственного врача. Обход больных в больнице, прием в поликлинике, прием родов, вызовы ее и фельдшера на дом, да поездки в горные аулы. Шла война, а женщины хоть и реже, а рожали, особенно в аулах. В отдаленные аулы можно проехать только верхом. Вот и пришлось учиться верховой езде.

На этом заботы врача не кончались. Кормить больных надо было из подсобного хозяйства. При поддержке райкома партии была выделена земля, и ее засевали пшеницей. С помощью колхозников косили и молотили зерно. Этим поддерживали питание больных, да молоко выделяли колхозы района. Косили траву, чтобы заготовить сено для лошадей, которые были незаменимы для перевозки больных, имущества, продуктов.

С трудом сейчас верится в это, не будь я свидетелем тому в течение нескольких лет. Лечили больных бесплатно, при скудном наличии лекарств. Наверно, больше добрым словом да заботой, вниманием. И недавние колхозницы-медсестры, у которых руки дрожали при первых уколах, становились опытными медсестрами, делавшими в отсутствие врача и внутривенное вливание. А самым главным в их деятельности - отзывчивость сердец в трудное для всех время.

Болезни, несчастные случаи не различали день или ночь, и тогда родственники больного бежали к врачу и в полночь, и за полночь, стучали в окно и звали оказать

экстренную помощь. И всякое бывало. Не удавалось спасти человека, и были потери не на фронте, а в мирном селе или в ауле, и было горько не только родственникам, но оставались рубцы на сердце у врача. И не всегда ему прощали неудачу, по глупости, некоторые односельчане. А врач иногда стоял перед проблемой, когда надо одновременно принимать роды и бежать спасать пожилого тяжелобольного.

И так шли сутки за сутками. Хотелось написать дни за днями. Но это сейчас мы их четко отличаем. Тогда был свой отсчет — круглосуточный. А у врача была своя семья и, чтобы прокормиться, огород, и не будь старой матери, некому было бы приготовить и присмотреть за шестилетним сыном, да подоить корову и накосить травы.

И уходила семья у нашего доктора на второй план, а сердце от этого было неспокойно. Но тогда дома не было разговора, что забыла о семье, и не говорили высоких слов о долге перед обществом. Просто иначе не могло быть. И люди имели великие сердца, где жила любовь к ближним, и не только по крови.

После окончания войны стали возвращаться мужчины, в том числе врачи. И жизнь входила в мирное, более достойное для человека русло.

Прошли годы.

...В этот день в поликлинике мне повезло. Взял номерок, карточку и был третьим в очереди к врачу. Врач недавно начал прием больных, был отдохнувшим и в хорошем настроении. А завтра повезет?..

ГОРНЫМИ ТРОПАМИ

Горы всегда удивляют причудливостью форм. Одни покатые, мирно возлежащие, поросшие травой и кустарниками. Другие вздыбились к небу и свирепо оскалились, иногда почти отвесно нависая над пропастью.

Хребты извиваются и террасами уходят все выше и выше, стремясь к облакам и за облака.

Когда поднимаешься на гребень, кажется, что он самый высокий и за ним откроются дали.

А взойдешь, там гряда за грядой, и не видно конца этим извивающимся волнам.

С высотой меняется растительность. Склоны, покрытые травой, кустарниками, а иногда дикими яблонями, грушами или орешником, сменяются стройными елями, за ними альпийские луга, а выше снежный покров, даже летом.

Летней порой тропы хорошо различимы. Они как бы опоясывают бока отрогов.

В расщелинах с речками они повторяют все изгибы русла, иногда перебираясь с одной стороны бурной речки на другую.

Вода в речках устремлена вниз, а тропа ведет все выше и выше под нависшими стенами скал.

Горные аулы затерялись среди причудливого хаоса гор и маленьких долин, окруженных этими громадами, и не так просто их найти.

В осенние, дождливые дни тропы раскисают, местами размываются потоками. А в зимние времена под белым покровом снега тропа становится почти незаметной, и не всякий житель аула рискнет отправиться в путь.

Но особенно коварны навесы снега над расщелинами. Они манят своей широкостью, гладкостью. Но ступи нога человека или лошади, и карниз, образованный снегом обвалится, унося с собой неопытного спутника вместе с лошастью.

В одном из таких горных районов работала в годы войны молодая врач, приехавшая по месту назначения мужа.

Семья приехала из Поволжья, и все здесь казалось необычным.

Больница и поликлиника располагались в большом селе в предгорье. Но район обслуживания простирался далеко в горы, где к некоторым аулам не было дорог и только неширокие тропы вели к ним.

Это сейчас врач может экстренно вылететь в труднодоступный район на вертолете, а тогда единственным средством передвижения по тропам были лошади.

Аулы объезжались, как правило, маленьким отрядом: врач, работник военкомата, представитель районного начальства.

Сопровождал проводник из местных жителей, которые менялись по мере продвижения, от аула к аулу. Летом, когда начиналось кочевье, жители снимались с обычных мест, перемещались на высокогорные пастбища вместе со стадами и жили в юртах.

На этот раз экспедиция собиралась в разгар зимы. Намечалось провести профилактический осмотр жителей, назначить лечение заболевшим и обеспечить отбор молодежи в армию.

Врач была единственной на весь район. Небольшого росточка, хрупкая, она казалась еще меньше среди собиравшихся в дорогу мужчин.

Еще недавно она не знала, с какой стороны подойти к лошади, а сейчас предстоял длинный и опасный путь верхом.

Лошадь ей выделили приземистую, лохматую, киргизской породы, но именно такие подходили для горных троп.

В этом году зима была более суровая, снежная. Горы побелели и только морщинистые, почти отвесные бока крутых скал являли темно-серые гранитные или рыжеватые из песчаника острые многоликие выступы. Тропы на уступах скал терялись под снежным покрывалом и угадывались по едва заметным и известным только проводникам признакам. И только внизу в расщелинах по прежнему бурлили бешеные воды горных рек.

Все это было известно участникам экспедиции и поэтому готовились тщательно, но вряд ли можно все предусмотреть в экстремальных условиях.

Лошади и сбруя тщательно подбирались. Приторочены были канаты к седлу каждой лошади. Проверили еще раз, как подкованы, здоровы ли, в том числе запасная лошадь.

Люди постарались одеть теплую, но удобную одежду.

Врач в таком одеянии уже не выглядела хрупкой, и казалось, что одежда на ней весит больше, чем она сама.

Она старалась наладить контакты с лошадью, дать корочку хлеба, пучок сена, горстку овса. В то время это было роскошью.

И вот маленький отряд тронулся в путь. Впереди проводник, за ним доктор, товарищ из военкомата и местное начальство.

Поездка по дороге была спокойная, но когда кончился накатанный участок и начался подъем, лошадям стало тяжело. А тут и дорога стала переходить в тропу. Тропа петляла вдоль речки и то шла на маленький спуск, то круто поднималась. Пока она шла не очень высоко над речкой, но постепенно разница высот нарастала и речка уже шумела где-то глубоко в расщелине. Скалы становились все угрюмей, а тропа все уже. Проводник каким-то чутьем угадывал ее под снегом. Слева пропасть, справа почти отвесная стена скалы, с нависшими местами глыбами, образующими грозные карнизы.

Маленький отряд продвигался медленно, осторожно. Иногда останавливался, чтобы дать передохнуть лошадям. Держали дистанцию друг от друга.

И вдруг лошадь под врачом то ли споткнулась, то ли наступила на «живой» камень, как выражаются альпинисты о шатающихся камнях.

Одна из задних ног лошади сорвалась, и лошадь повисла на брюхе, удерживаясь передними и одной задней ногами за уступ тропы.

Врач едва усидела в седле и стала понукать лошадь встать. Проводник приглушенно крикнул: «Не шевелитесь!»

Маленькая докторша замерла, не дыша. Мужчины осторожно сошли с лошадей. Обвязали ее веревкой, для страховки, потихоньку, чтобы лошадь не потеряла опору, сняли с седла, отвели немного назад по тропе и приказали прижаться к скале.

Теперь стали спасать лошадь. Под брюхом у задних ног с трудом продели веревку и закрепили один конец на седле лошади следующей за ней, другой к седлу лошади проводника.

Проводник заставил свою лошадь подвинуться вперед, так чтобы веревка натянулась. Сзади стоящую лошадь удерживали на месте.

Проводник взял под узду лошадь врача и стал энергично понукать встать.

Лошадь, видимо, не раз бывала в таких переделках. До этого лежала не шевелясь, как бы приросла к тропе, а тут почувствовала помощь от натянутых и приподнимающих ее веревок, доверилась проводнику, рванулась и встала на тропу четырьмя ногами.

Все облегченно вздохнули. Некоторое время путь продолжали пешком, ведя лошадью, пока не вышли на площадку, где тропа расширилась.

Снова сели на лошадей и почти в сумерках добрались до ближайшего аула.

Через день продолжили путь.

Тропа была менее опасная. Кто-то уже проехал по тропе, и это облегчало ориентировку.

Но тут наш милый доктор чуть снова не попала в беду.

Ей показалось, что тропа расширилась. Впереди был большой пласт чистого нетронутного снега, а тропа резко поворачивала за скалу и выныривала из-за нее дальше. Врач молча решила проехать прямо и стала подгонять лошадь плеткой. Лошадь стояла как вкопанная.

Благо проводник не дремал: «Вы куда, там пропасть!»

Как потом объяснили незадачливому ездоку, что пласт снега навис над пропастью. Лошадь чуяла это и не шла. Тем самым спасла жизнь молодой хозяйке.

Много раз милый доктор вспоминала в семейном кругу об этих случаях, хотя были и другие моменты риска.

СЕЛЬСКИЙ ФЕЛЬДШЕР

Далекая Средняя Азия. Но не для всех она далекая: миллионы выходцев из России, Украины живут тут со времен реформ Столыпина.

Вот и это большое районное село, со странным непереводаемым названием Куршаб, расположилась среди холмистых предгорий Памира — «Крыши мира».

Далеко им, этим холмам, до гигантов поднебесья. Село тихое, зеленое, в обширных садах. И живут здесь в основном переселенцы-украинцы. На весь район один врач да фельдшер Шабалкин. Мужчина в возрасте, старой закалки, поговаривали из бывших эсеров. Начитан, говорит складно, образно. Заслушаешься. Его супруга безропотная, смиренная, заботливая, вечно суесящаяся, да внук смысленный пострел Юра.

Идет фельдшер Шабалкин по вызовам от дома к дому, с улицы на улицу.

А в каждом доме, где больной, гостеприимные хозяева. Ведь врачевал он хорошо.

Уговорят, усадят за стол, да угостят одним да другим стаканчиком самогонки с

закусочкой, да послушают его байки. Больной и тот иногда, хоть охнет, да улыбнется.

Долго не засиживался. К другим больным надо спешить. А там точь-в-точь, хотя бы даже на ходу, но попотчывают.

Хорошо если больных в этот день раз-два, да обчелся. Труднее с каждым посещением идти, да еще, если из конца в конец улицы.

И пришла к нашему фельдшеру неожиданная слава, да такая, что не знаешь то ли смеяться, то ли плакать.

Деревенские мальчишки, играющие в лапту, когда надо остановить игру, наступят на мяч и орут на всю округу: «Мяч больной, Шабалкин пьяный». Да не один раз, а пока вновь не наладится игра.

Село большое, но моментально вся детвора подхватила эту присказку.

Взрослые только разводили руками, а если идущий фельдшер мог услышать, то и меры принимали к крикунам, забывшим обо всем в азарте игры.

Прошло много лет, а детская память хранит случай, когда хоть и дурная слава, а все же слава.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАМЯТЬ

Владимир Суворов



Поэт Владимир Сергеевич Суворов родился 2 марта 1947 года в Удмуртии, в селе Кизнер, куда во время эвакуации попали его родители, коренные москвичи. После войны семья переехала в город Сокольники, тогда еще Московской области (ныне Тульской). Отец поэта, Сергей Яковлевич, работал школьным инспектором. Позднее родители устроились работать в Гремячевскую школу Сталиногорского района. Отец стал завучем, а мама учила детей географии. Семья даже по тогдашним меркам была немалой, пятеро детей. Жили, конечно, не богато, но интеллигентность сказывалась — у Суворовых была большая библиотека, все дети рано начинали читать.

Воспоминания о детстве и родителях легли в основу целого ряда стихотворений и поэм, отмеченных теплотой и любовью («Вот мать пришла», «Хлеб», «Школьный хор», «У нас была хорошая семья»).

Стихи начал писать еще школьником. Первые опыты двенадцатилетнего мальчишки попались на глаза С. Я. Маршаку. Мэтр советской поэзии увидел в них проблески нарождающегося таланта и подарил юному дарованию свою книжку с пожеланием: «Володя, будь великим!» В шестнадцать лет Суворов выступал на собраниях Новомосковского литобъединения. Появились первые газетные публикации.

По окончании школы Суворов поступил на филфак Тульского пединститута. Но с последнего курса ушел в армию и учебу продолжил уже гораздо позднее в московском Литературном институте, который закончил в 1982 году. Между этими двумя заходами в вузы Владимир вволю хлебнул из горькой чаши житейского опыта, о котором распространяться в небольшом предисловии нет возможности. Отметим лишь, что стихи, которые он писал в те годы, получали немало добрых отзывов, но все его попытки напечататься упирались в стену. Он был очень неудобным и для многих своих собратьев по цеху и для тех, кто решал, кого печатать, а кого «придержать».

С 1984 года он осел в селе Гремячем, стал работать учителем словесности в школе. Поэзия В. С. Суворова так же прозрачна, чиста и не подвержена воздействию времени, как и сама окружающая природа.

Он продолжал писать, несмотря на то, что издаваться было все труднее. В 1987 году, наконец, появился тоненький сборник с очень подходящим названием «Нить». Вторая книга была сдана в набор, но в свет не вышла и осталась в единственном сигнальном экземпляре. Всего при жизни поэта вышло четыре издания его стихов. Он скончался после тяжелой болезни в 2002 году.

РОДНИК

Я к потерям таким до сих пор не привык,
Хоть испытан судьбою суровой.
На родимой земле умирает родник,
Как нам жить без воды родниковой?

Я его ограничил бетонным кольцом,
Я над ним колдовал до заката,
А теперь вот стою с потемневшим лицом,
Словно друга зарыл или брата.

А в деревне моей все страда да страда,
День и ночь трактора завывают,
И у всех на Руси питьевая вода,
Только вот родники умирают.

ПЕСНЯ

А песню ту, пронзающую душу,
Ту, русскую, из нашей стороны,
Певал, как плакал, дедушка Лавруша,
Товарищ мой, прошедший две войны.

Он был старик, но добрым был мне
другом.

А как пройдем по скошенным лугам,
Как грянем под гармошку: «По за-лу-гам!»
По всей деревне кошки по столбам.

Нет, наших душ не купишь за целковый.
Кто слушал нас? И кто нас понимал?
Но пели мы, и сельский участковый,
Смахнув слезу, нам руки пожимал.

Мы шли домой, не сломленные духом.—
Не уставал Лавруша повторять:
«Споем, сынок! Не все ж своим старухам
Нам новые корыта добывать!»

Темны овраги и пусты залуги,
Им не вернуть ушедшего певца.
И что сказать, когда во всей округе
Мне не с кем спеть ту песню до конца...

* * *

Куда меня дорога привела?
Зачем я вспоминаю день вчерашний?
От нашего до вашего села
Одни поля зеленые да пашни.

Могилам братским нет у нас числа,
И в той, родной, гремячевской сторонке,
От нашего до вашего села
Давно уж заросли в полях воронки.

Но что за песня душу обожгла?
Неслышно юность по тропинкам бродит.
От нашего до вашего села
Еще в полях осколки мин находят...

У ОБЕЛИСКА

Ты все твердишь,
Что вечно одинок,
Что жизнь прошла,
Что песня не сложилась,
Но здесь — ты видишь — почернел венок,
И проволока каркаса обнажилась.
Мы никого с тобою не спасем,
Но по-иному дни свои оценим,
Когда цветы к подножью принесем,
Когда венки увядшие заменим.
Давай с тобой,
Не отвернув лица,
Опять читать
Бойцов погибших списки.
Им нет конца.
Им нет и нет конца!
Земля моя!
Поля да обелиски...

* * *

Застыв средь городского гула,
В начале солнечного дня,
Смотрю на смену караула
Ребят у Вечного огня.

Идут, совсем еще галчата.
Но в них и мужество, и статья.
Уже умеют шаг печатать
И автомат в руках держать.

Игра? Рисовка?
Нет, пожалуй,
Поскольку ноша тяжела,
Поскольку боль и скорбь державы
На плечи детские легла.

Людскую совесть беспокоя,
Идут, идут, хрустя снежком.
А небо чистое такое —
Как эта девочка с флажком!

* * *

Мы жили, горестей не зная,
Тем бытом щедрым и скупым.
Я удивлялся, наблюдая,
За этим юношей слепым.

Он был ни грустным, ни веселым.
Он с нами пел. Он с нами пил.
И о достоинствах футбола
Авторитетно говорил.

Нет, он не требовал участия.
Не говорил, что трудно жить.
Он нам читал стихи про счастье,
Про море, женщин и ножи.

А был он, братцы, слеп и тонок,
А улыбался оттого,
Что даже маленький ребенок
Самостоятельней его.

Легко жилось нам. Лихо пелось.
Смеялись шуткам мы любим.
Но мне однажды захотелось
Себя почувствовать слепым.

Глаза зажал я плотно-плотно
И очутился в пустоте.
Как стало тихо. Как дремотно.
Как страшно стало в темноте!

ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ

И после зимних холодов,
Познав сполна тепла и света,
Душа запросит не плодов,
А только яблонь вешних цвета.
Так здравствуй, яблоневый цвет!
Ты ветки в белое окутал.
И мне опять покоя нет,
Я все на свете перепутал.
И благодарен я судьбе
За то, что сердце не остыло.
Я б столько песен спел тебе,
Да горло мне перехватило...

* * *

Ничего, что песня коротка.
Ничего, что правда так горька.
Ничего, что сердце перебоем
Отзовется на твои слова.
Кто сказал, что мы дружны с тобою?
Мы с тобой знакомы лишь едва.
Вечер тих. Калитка на задвижке.
Вот и мне пора к столу присесть.
Что за мелкий шрифт у этой книжки?
Не могу заглавие прочесть!..

* * *

Не любите по указке,
Образумиться пора.
Не судите по окраске
И по яркости пера.
Вы, живущие так мало,
От строки и до строки,
Все над вами генералы,
Петухи да индюки.
И поют, тая кручину,
Песни тихие свои,
Не имеющие чина
Рядовые соловьи.

САД

Была зима с повадкой незнакомой.
Ломалась сталь, и цепенела речь
Морозом корни ело, как саркомой,
Я так хотел беду предостеречь!
Я каждый ствол окутывал соломой,
Но не сумел ни деревца сберечь.
Мой юный сад, еще не повзрослевший,
Вступивший в пору зрелости едва,
Был по весне как будто обгоревший,
И годен стал лишь только на дрова.
В кругу друзей мне стало одиноко.
Уехал я, не взявши ничего.
Лишь через год, вернувшись издалека,
Раскрыл калитку сада своего.
Раскрыл — и замер в радостном испуге.
Былой картины не было и нет!
Мой сад бурлил в кипящей белой вьюге,
Куда ни глянь — повсюду белый цвет!
О, как, борясь, копил ты силы тайно!
И я скажу под отзвуки беды:

Цветите, уцелевшие случайно
В жестокой стуже, люди
и сады!

ЗЕМЛЯ

Оттаявшая, теплая, родная,
Вновь отдохнуть тебе не суждено.
Земля моя! Прими, не отвергая,
В хранилищах уснувшее зерно.
Уже травой, как яркою обновой,
Покрылся склон у горлышка реки.
Прими, прими
зачатки жизни новой,
Пусть зеленеют первые ростки.
Тебе опять железом угрожают,
Земля моя.
Но этому не быть!
Ведь здесь такие зреют урожаи,
Что целый мир сумеем накормить!
Ведь здесь работа видится такая,
Такие песни будут здесь звучать!
Оттаявшая,
Теплая,
Родная,
Мы за тебя сумеем постоять!

* * *

И от тюрьмы, и от сумы
Мы зарекались то и дело.
Как жадно жить хотели мы,
Как приспособились умело!
И как, избегнув гор крутых,
Гордились, совесть не тревожа,
Что вот, не ходим мы в святых,
И в бессребрениках — тоже,
И часто, меж словесных глыб,
С трудом дочитывали строчки,
Что снова голову расшиб
Бунтарь какой-то одиночка.
Весна, возьми меня в тиски,
Ошеломи своим размахом!
На эти ветви и листки
Смотрю с надеждою и страхом...

ХРАМ

Когда на торжище окрестном
Стоял, ободран, нем и наг,

Не ты ли был отхожим местом
Для заблудившихся бродяг?
Не ты ль смотрел в смирение кротком
На этот стыд, на этот срам? —
Твои ажурные решетки
Ржавеют где-то по дворам.
Но там, где крест еще не срезан,
Благословясь, начнут с азов
И оцинкованным железом
Прикроют ребра куполов.
Не здесь ли, Русь, твое спасенье?
Твоя любовь, твоя мечта?
Когда в Христово Воскресенье
Откроют Царские Врата...

* * *

Ну что ж, судьба, давай поставим точку,
Забудем про беду и про молву.
Как Робинзон, продрогший в одиночку,
Опять к родному берегу плыву.
Так здравствуй, школа!
Здравствуй, беспокойство
За устный счет, за четкое письмо!
Есть у детей таинственное свойство,
Они теплы, как солнышко само.
Пусть с неба сыплет ледяная крошка,
Но стоит жить наперекор всему,
Отогревая детские ладошки,
Чтоб, наконец, согреться самому!

* * *

Там, за селом, где дремлют тихо
Под снегом желтые скирды,
Охотник радостно
И лихо
Читает заячьи следы.
А мне смотреть на это больно.
И не к лицу мне,
Стало быть,
С какой-то пушкою
Двуствольной
По насту снежному
Бродить.
И меж полей
Морозно-чистых
Себе тихонечко иду,
И всех ушастых,
И пушистых
Благословляю на ходу.

* * *

Здесь был когда-то книжный магазин.
Теперь торгуют требухой и мясом.
Эпоха, стой! Я не ошибся часом!
Как жить среди этих жалких образин!
Такой судьбой унижен я стократ.
Как уцелеть от жизненного шторма!
И алчность, возведенная в квадрат,
Уже не алчность, а как будто норма.
Сейчас любое дерево спили,
Там нет кругов, там пинии кривые.
Смотри, смотри, в обратную пошли
На свежем срезе кольца годовые.
Как не встряхнуться! Как не закричать
И эти годы, полные позора,
Забыть, забыть, и заново начать
Земной спектакль, сменивши режиссера.

* * *

До чего ты Родина, грустна,
Со своей былинною тоскою.
Нет тебе ни отдыха, ни сна,
Нет тебе ни счастья, ни покоя.
Нет, не Бог над нами суд вершит,
Это вновь очередной затаейник
Суковатой палкой ворошит
Жалкий дом — российский муравейник.
И бегут тоскливо мураши,
Проклиная снова чей-то промах.
Ни любви у них и ни души,
Да и где душа у насекомых?
Потому и я и нем, и глух,
Словно виноват я в самом деле.
Жалко мне бессмысленных старух,
Кои хлеб грызут два дня в неделю.
А какие долгие века
Нас природа радостью лечила!
У России память коротка —
Ничему нас кровь не научила.

* * *

Когда вокруг черемуха цвела,
Объяв округу радостно и смело.
Душа очнулась и себя рвала,
Чтобы впитать вот этот кипень белый.

Да как же этим можно пренебречь!
Как не прийти на праздничную встречу?

Окрепли чувства, изменилась речь,
Я вновь люблю! Я вновь тебя замечу!

Какое чудо — русская земля,
В нарядах ярких, светлых и знакомых.
Нам так нужны цветущие поля,
Нам душу рвет цветение черемух.

О, сохранить бы только этот вид!
Но в этом каждый волен и неволен.
И нас тогда Христос благословит.
Когда он вновь пройдет российским полем.

* * *

Не затыкайте уши ватой,
Кто б вас о том ни попросил.
А я вот помню галстук мятый,
Который с гордостью носил.
Еще крепка семья народов,
И нет захлопнутых дверей.
Поездок столько и походов,
И пионерских лагерей.
И пусть повязан узел криво
(Ты за него меня прости),
Но это было так красиво —
На белом красное нести!
Вот только время изменило
Всем юным гражданам во вред.
Страну, где будущее было,
В страну, где будущего нет.
Теперь над прошлым все глумятся,
Но не забыть мне той поры.
И все мне снятся, снятся, снятся
Те пионерские костры!

* * *

Продирает мороз до костей.
Се — ноябрь сумасшедшего года.
И опять своих глупых детей
На разрыв испытует природа.

Хорошо бы на миг замереть,
Позабыв все заботы земные.
Волчью шубу достойно надеть,
Да и в сани залезть расписные.

К жизни — нет! — не пропал интерес.
Нынче я в настроенье особом.
— Эй, ямщик, завези меня в лес,
Да оставь ночевать под сугробом!

Потому лишь такою ценой,
Возвратясь из лесного похода,
Даст мне посох держать ледяной
Милосердный мороз-воевода...

* * *

Мне незачем в душе разоблачаться,
Хоть я кривых дорог не избежал.
Мне незачем в деревню возвращаться,
Я из нее вовек не уезжал.
Не уезжал,— не думал, не манило,
Меня держала на земле родной
Не то, чтобы неведомая сила.
А некий образ, сотворенный мной.
Волна речная тихо разбежится,
Вон чей-то след оставлен на песке.
И вся Россия молча отразится
В зеркальном и безмолвном роднике.
Мне думалось: все вынесу, не струшу,
Слова найду и в сердце сберегу.
Мне думалось: понять людскую душу
Я только здесь, на родине, смогу.
Вот так и жил, спокойно, помаленьку,
Без подвигов, насилия и зла.
А родина — у речки деревенька, —
То матерью, то мачехой была.
Так отчего застыл я на пороге!
Не так, как прежде, голубеет высь.
И только жаль, что все мои дороги
У дома деревенского сошлись.

«ДРУЗЬЯ МОИ, ОН БЫЛ ПОЭТ...»^{*}

В субботу 3 марта 2007 года писатели, поэты, литераторы отмечали Всемирный день писателя.

В селе Гремячее Новомосковского района состоялся вечер, посвященный памяти Владимира Суворова — поэта, известного далеко за пределами нашей области. На встречу приехали литераторы, общественные деятели Тулы, Москвы, гости из Донского, Узловой, глава Новомосковского района Игорь Михайлович Потапов и другие представители администрации города Новомосковска.

Как сказал Виктор Пахомов, ответственный секретарь Тульской писательской организации, у Владимира Суворова был особый лирический дар. Земля Гремячская породила удивительного поэта, сумевшего рассказать о своем времени поэтическим языком. В середине 90-х была учреждена премия имени Льва Николаевича Толстого, и Владимир получил ее первым! Его стихи проникнуты болью за судьбу русского человека.

Это же отметил и Александр Новгородский, поэт и член Союза художников России: «Россия находится на крутом вираже, и поэты несут людям тему русской духовности. Боль за судьбу человека, русской деревни звучит в каждом стихотворении Владимира Суворова».

^{*} Перепечатано из газеты «Узловский металлист» № 10 (2327) от 15.03.2007 г.

Его близкие друзья: Виктор Терентьевич Бондаренко — доктор филологических наук, профессор Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого, Владимир Григорьевич Лившиц — руководитель информационно-аналитического центра, кандидат политических наук, член Союза журналистов России, Юрий Андреевич Лончаков — консультант департамента культуры Тульской области, многие поэты и писатели Тульской области, не сговариваясь, читали любимые строки из стихотворений Владимира Суворова, и мы вновь открывали для себя известного и неизвестного поэта России.

«При жизни поэта вышло четыре авторских издания его стихов», — написано в предисловии к сборнику избранных стихотворений и прозы. Книга издана тысячным тиражом, благодаря меценату Михаилу Юрьевичу Морозову. С большой радостью было встречено собравшимися его предложение — создать на родине поэта музей села Гремячее, известного своей славной историей в прошлом российского государства, а также собрать в нём все материалы, касающиеся жизни и творчества их «великого» земляка.

Владимир Сергеевич умер в год своего пятидесятилетия. Спустя пять лет в селе снова собрались друзья, односельчане и поклонники его таланта, но теперь уже без него...

Нам остались лишь его стихи.

Лариса Бурцева

***От главного редактора:** Мне довелось учиться с Владимиром Суворовым на одном курсе Литинститута (1975–81 гг.). После регулярно встречались на собраниях Тульской писательской организации Союза писателей России. Не ошибусь, если скажу: в антологии современных русских поэтов его место — одно из верхних. Вряд ли он успел в скоротечной своей жизни выразить свое поэтическое кредо, но душу свою раскрыл полностью: бескомпромиссную, страстную, ищущую вселенской правды — недостижимой, но приближаемой людьми истинного таланта.*

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

ОТ РЕДАКЦИИ: ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В ЛИТЕРАТУРНОМ ОТОБРАЖЕНИИ

В наше смутно-торговое время забывается многое доброе, вечное, общепольное. То же самое и в литературной жизни страны. Напрочь забыт — по крайней мере отечественными СМИ — и Максим Горький*, не только великий русский и советский писатель, но и организатор отечественной литературы XX века. Не говоря уже о создании де-факто Союза писателей СССР, напомним об основании им таких серий книг, как «История заводов и фабрик», «Жизнь замечательных людей». Правда, последняя серий выходила еще до Великой Октябрьской социалистической революции, но Алексей Максимович придал ей характер массовости и книг о действительно замечательных людях всех времен и народов.

...И уж совсем мало кто помнит, что им был основан в 1930 году уникальный, единственный в своем роде журнал «Литературная учеба». То есть страна в 30-е годы стомильными шагами не только строила заводы и фабрики, переводила нашу продовольственную базу с сохи на трактор (что бы там эти самые СМИ сейчас не вопили воплями о великом грехе коллективизации), открывала сотни новых институтов и университетов (кстати, Тульский госуниверситет, соучредитель «ПЗ», ведет свою славную историю именно с 1930-го года), но и на десятки лет наперед активно думала и действовала в части повышения культурного уровня своих сограждан.

...В конце 80-х годов — века, понятно, двадцатого, издание «Литучебы» было возобновлено на волне тогдашнего общественного энтузиазма, к сожалению, использованного совсем «не по назначению». Однако для тех времен то было событием. Журнал — в ранге литературно-критического и общественно-политического — издавался под эгидой Союза писателей СССР и ЦК ВЛКСМ. Кстати, поэтому и формат его был «взэлкэсэмовский» (как «Молодая гвардия», «Смена», тульская «Ясная Поляна» и др.), то есть где-то в четверть листа пишбумаги. Но — это к слову. А состав редколлегии был просто великолепен: В. Гусев, И. Драч, А. Иванов, В. Костров, В. Лигутин, А. Михайлов, Е. Сидоров и другие, не менее известные корифеи прозы, поэзии, публицистики. Сколько новых имен открыл журнал? Сколько мастеров русского и зарубежного слова он вновь открыл для читающей публики и — особенно — для молодых литераторов?

Увы, не долго песня пелась. Рухнул СССР, проигравший Третью («холодную») мировую войну, не стало ВЛКСМ, впал в финансовое ничтожество Союз писателей, и второго Ренессанса «Литучебы» не состоялось.

А теперь к делу. Как нам представляется, сейчас каждый «толстый» литературный журнал прямо-таки обязан ввести рубрику «литучебы», ибо, к счастью, число думающих и пишущих (то есть «письменно» об этом извещающих) людей в России возрастает. Даже не потому, что продавать бананы — на всех не хватит (замечательная фраза из «ментовского» сериала...), но мы — последний народ на Земле — это уже из названия книги замечательного русского современного поэта Олега Кочеткова (Москва-Коломна), последний — в смысле не ставший до конца безличным, безнациональным в мировой мешанине глобализма, для которого и человек, и народ — только бездуховные винтики Молоха-машины, непонятно для чего и работающей...

* Один из членов редколлегии «ПЗ», профессор Тульского госуниверситета, как-то задал вопрос потоку первого курса (то есть сразу после школы) очень престижного факультета: «Как звали Горького?» — Сто с лишним студентов затаились в молчании. Только одна девушка из районной глубинки неуверенно ответила: «Кажется, Максим Алексеевич»... Хорошо хоть не Макс!

За нами стоит великая тысячелетняя Русь-СССР-Россия и почти половина поколений, помнящих об этом.

Наш журнал молодой, а потому по определению и склонный к новациям. Настоящей рубрикой мы открываем, вернее — вносим свой парциальный вклад в литучебу начинающих литераторов, понятно, прежде всего имея в виду и наших читателей, для которых журнал и издается.

Начнем с вечных тем в литературе. А она, достопочтимая, имеет свою историю, свои каноны, жанры, свою атрибутику. Последняя наиболее интересна в плане познавательном. Здесь есть масса традиций, хотя бы и внешних по форме. Мы их назовем вечными темами в литературе. Эта традиция распространяется даже на «канонические» названия произведения и их сюжеты (внешняя канва, скорее — фабула). Например, вспомним о названиях. Все мы знаем «Василия Теркина» А. Твардовского. Название — прямо «в цель». А Твардовский взял его у Петра Боборыкина, известного (в свое время) русского писателя конца XIX века — повесть с тем же названием. Валентин Пикуль, блестящий историк-фантаст, первоначально дал название своему роману о Распутине «У последней черты» (сейчас как-то по-другому называется...), тем самым повторив наименование скандально известного в предреволюционной России романа Михаила Арцыбашева. Кстати, Лев Толстой ставил его выше всех писателей-современников; о именах умолчим, чтобы не смущать читателя (читайте Юбилейное ППС Л. Н. Толстого в 90 тт., 1929—1960 гг.).

...А вот сюжеты — это гораздо серьезнее. Есть вечные темы, о которых писатели и поэты не забывают со времен зарождения письменности. Традиция канонических фабул идет от времен древнегреческих мифотворцев и баснописцев: Аполлодора и Эзопа. Отсюда и миф о Сизифе — в определенном смысле бунтаре, изгое и страдальце пантеона языческих богов и героев Древней Эллады.

...Как современные художники и скульпторы на первых курсах своих вузов приобретают начатки будущего своего творчества, повторяя в эскизах творения великих мастеров, так и писатель постоянно обращается к мифам, отыскивая в древнем сказании черты своего времени.

Итак, Сизиф... Самый загадочный персонаж в древнегреческой мифологии, а потому и самый притязательный объект для писателей.

Представляем читателю два рассказа о Сизифе. В свое время оба они были опубликованы в журнале с 300-тысячным тиражом. Но... время идет, а старопечатные журналы уходят из обычного обихода.

Всеволод Иванов



СИЗИФ, СЫН ЭОЛА*

Всеволод Вячеславович Иванов оставил большое рукописное литературное наследство. Рассказ «Сизиф, сын Эола» был написан в 1938—39 годах, и писатель продолжал работать над ним, как и над другими своими произведениями, не напечатанными им при жизни, до конца своих дней.

Публикация Т. В. Ивановой

Солдат сразу узнал их, родные горы!

В полдень горы угрюмы, щербато-серы, а глубокие ущелья, разрезающие их,— оранжевы. Сразу узнал он и Скиронскую дорогу, что виднелась у крутой южной стороны гор. Дорога схожа с пастушьим бичом, свернутым в круг. Такой видел ее солдат Полиандр в детстве, такой она осталась и поныне. Дорога пользуется дурной славой. Путешественник может внезапно увидеть на ней выступившую кровь или иные знаки грядущих несчастий.

Но что Полиандру несчастья? Они отмерены ему полною мерою, и он выпил их полною чашею. Преждевременно он увял и пожелтел, словно от порчи.

Он давал клятву служить Александру, царю Македонскому, прозванному Великим,— и служил. Позже он служил царю Кассандру, соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие. Царь Кассандр заточил в темницу жену и сына Великого, вскоре после смерти того, перед которым преклонялись боги всех земель и оружие всех земель. А солдат Полиандр продолжал устремлять свой покрытый серебром щит против врагов Кассандра. Он хотел, глупый, чтобы Кассандр думал о нем хорошо! Говорят, вера и гору с места сдвинет. Царь Кассандр оказался неповоротливее самой большой горы. Кассандр не верил солдату Полиандру, всем солдатам,— он боялся его щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислушиваться другие солдаты. Солдату не исполнилось и сорока лет, как царь Кассандр признал его больным пелтастом, слабым для службы в легкой пехоте, и без денег отпустил на родину.

И вот перед ним горы, за которыми находится его родина — богатый город Коринф. Солдат глядел на гору и думал: «Как-то его встретит родной город и кто цел из его родственников?» Прошло много лет с тех пор, когда он последний раз видел родину. Тогда он был силен, а теперь раны его признаны опасными, и он отпущен из армии царя Кассандра. Слаб, слаб!

«Для кого опасны мои раны, клянусь собакой и гусем? Не для тебя ли, о царь? Не тебя ли страшит мое уверенное ожидание, что сын Великого, ныне крошечный и малолетний Александр Эг, подрастая, будет таким же воинственным, как и его отец? Ему-то и буду нужен! Ему-то нужны походы! А тебе, о царь, хватит ума лишь на то,

* Публикуется по изданию: «Наш современник», 1964, № 12, С. 59—70.

чтоб сохранить приобретенное Великим. Да и сохранишь ли ты его, о царь Кассандр?»

Так бормотал он, опасливо поглядывая на Скиронскую дорогу. Ему не хотелось подниматься по ней. Хватит ему и солдатских несчастий! Хватит предзнаменований! Он хочет жить спокойной жизнью честного человека, например, окрашивателя шерстяных тканей.

И он вспомнил о тропе, которая некогда сокращала путь к Коринфу. Правда, тропа трудна, зато без знаков несчастий.

— Гей, вы!

Крестьяне из придорожного селения, убиравшие нивы, смотрели на него с уважением. Спасаясь от жары, он снял латы, но грудь его была так широка, что казалось, он и не снимал лат. Руки его были растопырены — и от привычки держать щит и копье, и от того, что латы не позволяли им прилегать к бокам. Он и спал-то всегда на спине, широко раскрыв свой большой, чувственный рот. Глаза, как у всех много странствовавших, были удивленные и того зеленоватого цвета скошенной травы, которая вот-вот превратится в сено, но еще хранит цвет и запах молодости, обладая в то же время суховатой зрелостью.

Он стоял в картинной и величественной позе, подобающей солдату Александра Великого, который прошел вместе с царем от границ Фракии до студеного Местийского озера, где уже господствуют вечные зимы; который видел Кавказские горы, крайний предел земли, откуда уже начинается Царство Мрака; который видел и Мемфис, и Дамаск, и Сузу, и Эктабан, и все скалистые крепости Ирана, и берега Гидаспа, и топкие берега Инда, вдоль которых шли против него узкоглазые, с крепкими желтыми клыками слоны индийского царя Пора.

Он пожелал крестьянам успехов в жатве, добавив, что Зевс и Афина им помогут, и после того попросил воды. Девочка лет четырнадцати с бойкими глазками и плотными русыми волосами, плохо подстриженными, принесла ему кувшин теплой воды. Из гумна пахло зерном. Мул, сопя, чесал себе бок. Поселянка с крутыми сытыми бедрами, указывающими на близость богатого Коринфа, который умеет покупать и продавать, наклонилась и опять начала ловко и быстро срезать толстые, лоснящиеся колосья пшеницы и складывать их в корзины. Девочка укладывала их — надрезом к югу — на утрамбованную, черно-фиолетовую землю гумна. Легкая пыль поднималась от гумна: к нему шли выючные мулы, и волы везли молотильные телеги с тяжелыми сплошными колесами.

Полиандр сказал, возвращая кувшин:

— Клянусь собакой и гусем, девушки в Коринфе по-прежнему гостеприимны и прекрасны! И мастера по-прежнему помещают их на вазы, в бронзу и на колонны, украшенные листьями акинфа.

Поселяне улыбнулись его мудрым словам, а девочка, подававшая воду, засунула от удивления палец в рот.

— Я спешу в Коринф, — сказал он. — Я устал от славы и хочу мирной жизни! У меня есть настоящий красный сок из пурпуровых раковин, которые я видел, как ловят, клянусь собакой и гусем. Я научился красить ткани в пурпур у финикийян и делал это у лучших мастеров в Тире, Косе, Тизенте.

И он показал свои жилистые пальцы, длинные волосы на которых были окрашены в цвет крови. Поселяне испуганно содрогнулись, и старик с выпуклым и толстым носом сказал ему:

— Ты спрашивал про Скиронскую дорогу? Она перед тобой.

Тогда солдат Полиандр спросил:

— Благополучна ли Скиронская дорога?

— Она благополучна более, чем какая-либо другая.

— В мое время,— сдержанно сказал солдат,— сильные и спешащие путники сокращали путь. Они сворачивали на тропу, которая называлась Альмийской. Мулы и быки там не проходили, но мои ноги хорошо помнят эту тропу.

Крестьяне переглянулись. Солдат прочитал испуг на их лицах.

— Или на тропу обрушилась скала? — спросил солдат.— Или открылась новая пропасть? Или боги пустили водопад?

Старик с выпуклым и толстым носом сказал:

— Плохое место.

— Разбойники? — спросил, смеясь, солдат и показал крестьянам свое короткое метательное копьё и меч, прямой и тонкий, с рукояткой, украшенной серебряными гвоздями и слоновой костью.— Ха-ха! Много их? Ха-ха!

Старик, почесывая крючковатой палкой у себя между плечами, повторил неохотно:

— Плохое место. Иди по Скиронской дороге. Лучше. Тропу Альми много-много лет никто не топчет.

— Где же больше предзнаменований? — спросил солдат решительно.

— На Скиронской.

— Так кого ж мне бояться?

— Сына Эола,— ответил старик, боязливо оглядываясь.

Солдат захохотал.

— Сына Эола? Сына бога ветров? Кто он такой? Ветерок?

— Увидишь,— ответил старик, отходя. Другие крестьяне уже давно покинули беседовавших на такую опасную тему.

Солдат Полиандр, намеренно громко смеясь, поднял свой шлем с султаном из секущихся конских волос, грубые наспинные и нагрудные латы, соединенные наверху посредством измятых металлических наплечников. Он с грустью увидел, что войлок, которым был подбит панцирь, изъеден молью. «А я еще собирался выгодно продать свое оружие в Коринфе. Придется покупать кусок греческого войлока, исправлять панцирь... Не трудна работа, но дело в том, что греческий войлок не ценится, а прекрасный персидский войлок пропал! Неужели и моль — предзнаменование?»

Ворча, взвалил он свое нагретое солнцем оружие на плечи и, широко шагая, как бы стараясь приблизить опасность, пошел к тропе Альми.

Он шел, шлепая подошвами башмаков, кожа которых была проложена пробкой. Умело связанное оружие отдаленно рокотало, напоминая о походах и друзьях, которых время пожрало, как бездонная пучина пожирает мореплавателей.

Выйдя за селение, он увидел пересохший ручей, скрытый кустарниками. Несколько коз, встав на тонкие задние ножки, объедали листья. Ложе ручья было засыпано серовато-синими камнями, и злая безжизненность в виде тонкого, еле уловимого пара поднималась над ним. С высоких стенок ручья струился песок, создавал такой звук, словно кто-то строгал ножом мягкое дерево. Солдату стало не по себе. Он остановился и долго смотрел на коз, пока ему не захотелось есть.

Тогда он достал из коврового мешка лепешку и, кусая ее передними зубами, как козы, чтобы продлить удовольствие и чтобы обдумать положение, перевел свой взор на обнаженные и сверкающие скалы, куда ему следует подняться. «А не пойти ли мне по Скиронской дороге? — подумал он.— Значит, вернуться? Но разве может вернуться солдат, только что хваставший, как он влезал на скалистые крепости Ирана? Стыдно будет солдату Великого!»

И он начал припоминать Альмийскую тропу, по которой впервые поднимался лет тридцать назад, а то и более. Он сидел на плече у дяди. Дядя был молод, могуч. Пахло маслом от его длинных, плотных волос, хитон его был мокрый, и ребенок осторожно дотрагивался до покатоного его плеча. Дядя с шутливой строгостью глядел на

ребенка и совал ему кусок лепешки, от которой пахло дымом и оливковым маслом. Ни одного дурного слова не слышно было тогда об Альмийской тропе, а того менее о нещадном сыне Эола.

«Почему — нещадном? Откуда — нещадном? Кто надел на него это слово — карательное, причиняющее сильную боль и заставляющее повиноваться, как строгий, собачий ошейник? Кто, клянусь собакой и гусем?!»

Он остановился, положил оружие на камень и нетерпеливо поглядел вниз.

Он уже достаточно много прошел по тропе Альми. Он узнавал ее, несмотря на то, что она заросла, и след ее отыскивался с напряженной чуткостью.

Селение внизу слилось с оливковыми деревьями и виноградниками. Долина приобрела цвет дикого, неотесанного камня. Непомерно сильное желание — уйти возможно выше — осуществилось. Он был один среди камней — несокрушимых, негибнущих, вечных. И нетленная, вечная тишина была вокруг него.

Но — не в нем! В нем по-прежнему торопливо росло чувство грядущего зла, которого избежать невозможно, как и невозможно терпеть.

Солдат, словно конь, что от нетерпения бьет копытом, ударил ногой несколько раз о землю. Он задел камень, на который положил оружие. Звякнул меч. Он привязал меч к поясу, а остальное оружие сложил в мешок и мешок этот плотно укрепил на спине.

Идти легче. Он шагал и думал, что нетерпение, как правильно говорят мудрые, сродни опрометчивости. Идти бы ему по Скиронской дороге! Пристал бы к какому-нибудь каравану и рассказывал бы купцам о способах, которыми он красил восточным властителям тонкие и запашистые одежды. Купцы смотрели бы на него с волнением, радовались бы, что у них такой защитник и попутчик, а вечером угостили бы его жирным и большим куском баранины. И в ночном мраке, у пламени костра, он бы чувствовал себя словно днем на площади.

А здесь и днем он чувствует тревогу, словно над ним повисла ночная дуга. Вот он вспоминает о красках, и ему приходит в голову: «Ну, какой же ты окрашиватель в пурпур?» Подходя к Коринфу, он не пожалел щепоточку драгоценного пурпура, три порошка которого купил на последние деньги. Он развел эту щепоточку и окрасил крошечный кусочек ткани, оторванный от четырехугольного наплечника, который носил на левом плече. Волосы на руках окрасились в кроваво-красный цвет, а ткань неожиданно превратилась в пемзово-серую. «Что же, не тот рецепт окраски дали ему мастера в Тире? Напрасно заплатил он им драхмы?..»

И перед ним встал подвал, где в широких и низких чанах прел пурпур, а вокруг чанов кружились веселые мастера с гладкими глазами и разгульными лицами. Возле дверей два раба, мерно раскачиваясь, месили ногами валяльную глину, и глина верещала у них между пальцами... Ах, обманули его тирские красители! Обман был в этом подвале — тот самый, что был и при дворе царя Кассандра, и всюду!

И вот идет он в Коринф, в Коринф, коварный и беспощадный город торгашей и мореплавателей, который лежит так близко — и так далеко! Что ждет его в Коринфе?

Дабы не меркли надежды и дабы скорее одолеть этот непонятный страх, он прибавил шаг. Ему казалось, что путь в конце концов все покроет забвением, и он с радостью глядел на большую скалу в виде обрубка дерева, громоздящуюся над ним, на серую скалу с фиолетовым подножием. Он быстро обогнул ее.

Открылась лощина, заросшая дубами. Глубоко внизу, там, где кончались дубы, начиналась россыпь, а под ней, в камнях, ревел зеленый поток, бросая вверх низки белой пены. Пепел жгучего солнца покрывал и дубы, и россыпи, и камни у зеленых вод.

Тропинка исчезла окончательно. Дубы проглотили ее.

Солдат вошел в их тень. Дубы стояли тесно, тень была густая, но чувствовал он

себя в ней по-прежнему плохо, будто на дне узкого и гнилого оврага. Ревел безжалостно и глухо поток. Во всю ширь неба лежали недвижно дубы, и нижняя часть их стволов была заполнена короткими, высохшими сучьями, которые хватили солдата за плащ, за меч, за ковровый мешок и флягу.

Торопливо шепча молитвы богам, солдат выбежал из дубовой рощи и, сутулясь, так как мешок сползал с плеч, а не было ни времени, ни желания поправить его, побежал на россыпь, за которой виднелась еще скала.

Тропинку он уже и не высматривал.

Он прыгал по камням, срывался, падал. Камни срывались и мчались вниз. Он ставил ногу в лунку, где только что покоились камни, а лунка плыла, и он отчаянно прыгал от нее. Руки он исцарапал. Ноги его были изранены. Подошвы, те подошвы, что переходили Евфрат в Зевгме, что выдержали путь от Эвксинского моря до крайних пределов Фиванды,— отскочили, и одну вскорости он потерял совсем.

Едкий, жгучий и кислый пот обузил кругозор. Обычная его наблюдательность исчезла, и он видел вперед не далее, как на длину десяти копий. Он двигался лишь благодаря привычному дарованию воина, которого Великий приучил идти вперед при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель — главная и всеединая цель человеческого существования и стремления богов.

Солнце, налюбовавшись покорностью скал, россыпей и дубов, а также редкой духовной красотой и настойчивостью солдата, убрало серый и злой жар, что подтачивает силы, как вода стёны, и впустило мягкие, влажные, фиолетовые тени. Солдат отпил глоток воды и воскликнул, ободряясь:

— Клянусь собакой и гусем, я найду эту исчезнувшую тропу!

И тут за скалой, которую ему как раз надо было обходить, он услышал звук очень необычный и странный для этих горных мест. Он услышал свистящий и жужжащий шум, выпускаемый диском при его метании. Солдат превосходно знал этот шум. Диск его учили метать не только для игры, но и для создания уверенности при метании камней в неприятеля.

Он прислонился к скале и прислушался.

Звук рос, ширился и вдруг, точно пробившись куда-то, замолк, исчез.

Дразнящая тишина воцарилась над скалами. Надо опять что-то угадывать в этой едкой, как кислота, тишине... И солдату захотелось ухаты, кричать мерным голосом с другими солдатами, как кричали они мерно для дружной тяги осадного орудия или в бою.

Он, набравшись решимости, обошел-таки скалу и увидел россыпь, такую же, каких он прошел много. Почудилось: ветер наскочил. Он вспомнил слова старика о сыне Эола и содрогнулся. Мысль эта прогремела над ним, будто огромная труба. Он присел на камни и долго и хрипло дышал.

Затем он обошел еще одну скалу и пересек еще одну россыпь. К скалам, которыми кончались россыпи, он уже подходил с опаской, держась за меч и вызывая к богам, и к Эолу в том числе. Выглядывал он из-за скал осторожно и однажды, перед тем как выглянуть, несколько подострил о камень свой меч.

И внезапно опять возник шум. Только теперь он уже не походил на шум бросаемого металлического диска, а его можно было бы сравнить с шумом морских волн, что, отлежавшись в глубине вод, идут, играя прибрежной галькой. Шум летел откуда-то сверху, хотя небо было по-прежнему безоблачно. Шум нарастал с такой быстротой и силой, что солдат отскочил от скалы. Шум пронесся за скалой, и от скалы отлетело несколько камней, как черенок отлетает от ножа, которым яростно взмахнули.

Солдат Полиандр боялся. Но он был солдат, и у него отлегло от сердца, когда он решил увидеть врага лицом к лицу. Качаясь от страха, еле двигая ослабевшими ногами, он обошел скалу.

Россыпи за скалой уже не было. Открылась небольшая долина. От гор отступал, поспешно пятась в эту долину, веселый ручеек. Дубы и плодовые деревья росли по его берегам. Подальше ручеек круто обрывался к реке, шум которой слабо доходил в эту долину.

Вдоль ручейка, в тени дубов, образующих здесь аллею, Полиандр увидел дорогу очень странной формы, какой он не видел никогда. Дорога эта, пробитая в камнях, цвета мокрой пробки, была в одну колею и скорее всего походила на желоб или на бесконечно длинное ложе, начинавшееся где-то высоко на горе и заканчивавшееся внизу, у края лощинки, в небольшом болотце, как будто истоптанном копытом огромного коня.

По этому ложу, мелькая среди дубов, тени которых ложились на широкую, мускулистую спину, волосатый, плечистый, перепоясанный шкурами великан катил вверх черную, отполированную до блеска морской гальки круглую глыбу камня величиною в добрых три человеческих роста. Великан медленно и тяжело дышал. Отвислый живот его, похожий на винную бочку, то падал на камень, то отрывался от него. Пальцы его ног впились в ложе потока, и с изумлением увидел Полиандр, что они выбили здесь себе ступени.

«Клянусь собакой и гусем! — дивясь на великана, воскликнул про себя Полиандр. — Много я видел чудес, но такое встречаю впервые. Кто бы мог быть этот могучий, что катит камень с силою морской бури?»

Между тем великан, услышав приближение Полиандра, повернул к нему огромную голову с рыжими усами и бородой и с усилием сказал:

— Слава богам, прохожий. Р-р-рад! Иди в хижину. Р-р-рад! Разведи огонь. Поставь бобы. И смешай вино. Р-р-рад! — он говорил слово «рад» каждый раз, когда ставил ногу в углубление в камнях, пробитое его пальцами, в такт слову толкая вперед камень.

— Кто ты, о диво? — спросил солдат Полнандр.

И великан ответил:

— Я сейчас вернусь. — И он прорычал: — Р-р-рад! За хужиной — колодец. Спусти. Сбоку — яма. Р-р-рад! В яме — снег. Примешай к вину. О, р-р-рад!

И он еще раз оглянулся на Полиандра. Теперь солдат смог рассмотреть его лицо. Оно было морщинистое, старое, но наполненное тем победным избытком дней, который встречается крайне редко и прежде всего указывает на необыкновенную силу и умелое и терпеливое расходование этой силы.

Полиандр, пятась, двинулся к хижине. Великан толкал камень, и камень, словно на стержне, быстро катился вверх, все уменьшаясь в величине и все увеличиваясь в блеске, так что потом казалось — великан несет к ярко-голубому небу отливку раскаленного оранжево-желтого металла.

Полиандр вошел в хижину, раздул в очаге дубовые угли под большим котлом, где уже лежали разопревшие бобы. Он подбросил дров в очаг, нашел возле хижины колодец и спустился туда, осторожно шагая по холодным и мокрым ступенькам.

Не доходя до воды, он увидел две ниши. В первой стояли глиняные кувшины с вином, вторая до краев была забита плотно слежавшимся снегом. Полиандр попробовал плечом ближайший кувшин. Кувшин тяжело отстал от пола и покачнулся вбок. Болтнулось. Пахнуло вином.

— Клянусь собакой и гусем, я от него не скоро отклеюсь! — воскликнул Полиандр, подразумевая добродушного великана.

С трудом он донес до хижины самый малый кувшин с вином, а затем уже обратился к снегу, в котором нашел завернутое в целебные травы мясо дикой козы. Он положил это мясо в бобы, а при смешении вина с водой и снегом добавил немного приностей, драгоценную горсть которых нес с Востока.

Едва лишь он смешал вино, как опять возле раздался ужасный шум, свистящий и жужжащий одновременно, подобно металлическому диску, брошенному гигантом. Полиандр выскочил из хижины. Ветви дуба бросали дрожащие тени у порога. Далеко внизу несясь, подпрыгивая, по своему ложу круглый камень. Легкая радужная пыль дрожала над ложем — дорогой вдоль потока. Каменный шар добежал до предназначенного ему конца и застрял в трясине, брызнув во все стороны травянисто-зеленой грязью.

Великан, поглядывая из-под большой руки на солнце, вразвалку спускался с горы. Приблизившись к хижине, он вытер руки о козышки, опоясывавшие его бедра, и неловко улыбнулся.

— Рад, путник? — спросил он хриплым басом. — Я р-рад!.. Р-рад. Откуда? Куда?

В хижине стало тесно и на сердце у Полиандра — тоже. Он ответил сдавленным голосом:

— Клянусь собакой и гусем, разве эта тропа не в Коринф?

— В Коринф?.. — с усилием спросил хозяин. — Р-рад! В Коринф.

Великан подал гостю воду для омовения. Он глядел, как солдат моет ноги, а затем руки, и большое, квадратное, как стол, лицо его, испещренное глубокими морщинами крестьянских забот и трудов, было наполнено мыслью. Казалось, он думал — что такое Коринф. И солдату пришлось в голову, что снискать у этого великана добродетельное понимание будет не так-то легко.

— В Коринф! Иду на родину! — воскликнул громко, как глухому, солдат.

— В Коринф? Р-рад! Садись. Ешь.

Они молча ели бобы. Затем хозяин руками, видимо, привыкшими к жару, достал из котла мясо дикой козы и положил его на доску. Он густо посыпал мясо солью, указал на вино.

— Соль? Р-рад!.. Будем много пить... — и он захохотал, держась руками за живот. Видно было, что он с трудом подбирает слова, и добытые эти слова доставляли ему большое удовольствие, и он пьянел от них, как от крепкого вина.

Они вычистили руки скатанным хлебным мякишем, и хозяин придвинул к себе сосуд с вином и снежной водой. Запах пряностей чрезвычайно был приятен ему, и это тоже указывало на то, что он давно не видал людей. Солдат ел жадно мясо, с хрустом раздробляя здоровенными своими зубами кости, и гордость, что великан увидал после долгого одиночества именно его, Полиандра, гордость укрепляла сердце солдата. Он воскликнул:

— Рад, клянусь собакой и гусем! Будем наслаждаться!

И он поднял деревянную чашу с вином. Некогда он пивал физасское, лесбосское, наксосское и славнейшее хиосское вино. Он-то знал толк в винах. Но это вино было лучше всех. И он выразил красивыми словами свое удовольствие хозяину.

— Р-рад!.. — пророкотал тот. — Р-рад. Пей. Р-рад!

И он добавил ему вина из кувшина.

Сам он пил мало, для него достаточно было наслаждения, что он видит человека. Солдат же желал за вином состязаться в споре, желал рассказать про то, что он приобрел, нажил и — разбросал. Он спросил:

— Разве здесь давно не проходил путник?

— Давно, — ответил, широко улыбаясь, хозяин. — Рад.

— А сам давно ли ты здесь?

— Давно, — ответил хозяин. — Сегодня — последний, последний день, да!

— Как последний? — спросил солдат. — Разве ты продал свою хижину, сад и ниву? Где же твой покупатель? И за дорого ли ты продал?

— Зевс, слава ему, освободил меня, — сказал хозяин, сияя темно-голубыми, небесного цвета, глазами. — Рад! Последний день.

— Слава Зевсу,— сказал привычным голосом солдат.— Но не Зевс же купил твою хижину, и сад, и ниву?

Тогда хозяин, сильно жестикулируя и стараясь, чтоб солдат понял его, сказал отдельно:

— Зевс поставил меня здесь. Зевс и освободил.

— А, жрецы? — сказал солдат, прихлебывая вино.— Они хотят поставить здесь храм? Место красивое.

— Не жрецы! Зевс,— настойчиво повторил хозяин.— Меня поставил здесь Зевс! Сам!

— Зевс? Кто же ты такой, если тебя поставил сюда сам Зевс? — спросил несколько насмешливо солдат.

— Я Сизиф, сын Эола.

Солдат захлопал глазами, и вино полилось ему густой струей на холодные колени.

— Клянусь собакой и гусем,— проговорил, заикаясь, солдат.— Ты — Сизиф?

И так как хозяин утвердительно закивал лохматой головой, прихлебывая вино из чаши, солдат спросил:

— Я слышал о Сизифе, сыне Эола, бога ветров. Я знаю, что он правил Коринфом, и это было давно, еще далеко до времен Гомера.

— Это я,— ответил хозяин с такой величественной простотой, что солдат совсем выпустил чашу и почувствовал, как толстые дубовые балки, на которых покоилась крыша хижины, пошатнулись перед его глазами.

— Клянусь собакой и гусем, это — ты.

— Это я, Сизиф,— ответил хозяин и опять прихлебнул из чаши.— Пей!

Солдат не мог пить, и хозяину пришлось пуститься в объяснения, как это ни трудно ему было.

— Я много грешил. Я убивал безвинных. Грабил. Зевс наказал меня. Мне — вечно вкатывать в гору обломок скалы. Обломок достигает вершины, и неведомая сила снова сбрасывает его вниз. Ты видел. И сегодня ты видел последний день. Я был послушен. Зевс вчера явился ко мне и сказал: «Последний день». Р-рад!

И хозяин захохотал.

Солдат вздрогнул от страшной мысли и спросил:

— Скажи мне, о почтенный Сизиф, сын Эола. Ты ведь наказан был уже тогда, когда попал в подземное царство мертвых, в царство Гадеса. Неужели и я тоже уже нахожусь в нем?

Сизиф ответил:

— Бесчисленное количество дней вкатывал я камень в гору в подземном царстве Гадеса. Повторяю, я был послушен и не гневил богов ропотом. Прощение Зевса в том именно и заключалось, что незаметно для себя я перешел из подземного царства сюда, к солнцу. Вот почему я рад, что вижу тебя, о путник!

Солдат спросил:

— Скажи мне, о Сизиф, сын Эола, каково собою подземное царство Гадеса? Ты умеешь кратко и сильно изображать свои мысли.

Сизиф ответил:

— Слякоть. Дождь. Сырость. Всегда.

— Клянусь собакой и гусем,— воскликнул солдат,— нельзя сильнее выразить свою благодарность богам за солнце и за вино!

— Пей,— сказал, смеясь, Сизиф.— Р-рад!

— Хвала мудрому Зевсу,— принимая чашу, полную мутного красного вина, проговорил солдат.— И долго ты был здесь, на вершине гор, один?

Хозяин ответил:

— Долго. Я вкатывал камень от восхода до заката. Я был послушен.

— А после заката ты копал огород, ловил зверей, собирал плоды.— Хозяин кивнул головой, и солдат продолжал перечислять трудности его жизни.— Тяжело в жару. А еще тяжелей в дожди, когда подходит зима. Тебе, наверное, мешала вода...

— О, целые потоки! — вскричал хозяин.— Навстречу — река! В грудь. Камень в воде. Руки скользят. Мокро. Иду против потока... Но я покорен богам. И вот Зевс простил меня!

— Хвала мудрому Зевсу,— сказал солдат.— Прошу тебя, налей мне еще вина. Прекрасное вино. Последний раз я пил нечто подобное в Иране.

— Ты был в плену?

— Я — в плену? У гнусных и трусливых персов? — сказал с презрением солдат.— Да ты разве не знаешь, что Александр Великий прошел Персию от начала до конца?

— Не знаю,— ответил Сизиф.— Я катал камень. Кто такой Александр?

— О боги! — воскликнул солдат Полиандр.— Он не знает, кто такой Александр, царь Македонский! Ты, значит, не знаешь о сражениях, им выигранных, о том, как он разбил царя Дария и разрушил индийское царство Пора, и как женился на прекрасной царевне Роксане, и как собрал множество других сокровищ?

— Ничего не знаю,— ответил Сизиф.— Камень был тяжелый, и мне было трудно оглядываться.

— Клянусь собакой и гусем! — вскричал солдат.— Я расскажу тебе все от начала до конца. Налей мне вина!

Хозяин наполнил ему снова чашу, и солдат стал говорить.

Спустилась ночь. Сквозь ветви дубов глядели звезды. Ветви были неподвижны, неподвижны были и горы за ними, и едва доносился сюда в хижину лепет ручья. Сизиф сидел, обхватив большими руками колени, и медно-красные лучи света из очага освещали его лицо и глаза, ставшие подлинно синими.

Солдат рассказывал о городах Востока. Города эти построены из кирпича, высушенного на солнце и крепко связанного между собой черной и липкой смолой, оригинальным и натуральным продуктом вавилонской почвы. Он говорил об оазисах, где растут высокие пальмовые деревья, дающие столько же полезных употреблений из ствола, ветвей, листьев, сока и плодов, сколько дней в году. Он говорил о плавучих плотках на пузырях из кожи, которые везут по многоводным рекам с высокими искусственными плотинами прекрасные дары земли — коней, пряности и женщин. Таковы Персия, Египет, Индия...

— А что с ними случилось? — спросил хозяин.

Солдат встал и поднял вверх чашу с вином:

— Хвала богам! — воскликнул он.— Мы переправились через Геллеспонт, принесли на развалинах, наверное, тебе известного Илиона, жертву предку нашему Ахиллесу, и направились к реке Гранику, где и победили персов. И мы пошли по их стране, зажигая города, разрушая плотины и рубя оазисы. Дороги, по которым мы проходили, были вымощены целыми рощами пальмовых деревьев. Мы все уничтожали и жгли! И мы дошли до того жаркого пояса, куда не могут доходить люди.— И, распаляясь от рассказа и вина, Полиандр пылко продолжал: — В этом пустом пространстве мы встретили только сатиров с пурпуровыми рогами и золотистыми раздвоенными копытами. Волосы их взъерошены, носы сплюснуты, на щеке желваки, ибо они постоянно предаются любви, музыке и вину. Мы убивали их. Мы убивали и сирен. Эти горячие, иссушающие существа сидят на лугах, покрытых цветами, а вокруг них лежат кости людей, погибших от любви к ним. Мы убивали центавров и пигмеев, индийских и эфиопских. Одним своим мечом,— ты видишь его, о Сизиф,— я уничтожил фалангу пигмеев, кавалерию их. Они каждую весну, верхом на козлах и баранах, в боевом порядке идут на добывание журавлиных яиц... Ха-ха-ха!..

— Р-р-рад! — закричал, поднимая чашу, хозяин, и рокотом отозвались на тяжелый голос его невидимые и тяжелые горы.

Солдат продолжал:

— Мы все это разрушали и предавали огню во имя Ахиллеса и славы его потомка — Александра, царя Македонского! Отсюда и разбогател Коринф. Отсюда и разбогател царь Кассандр, который со мной поступил неблагодарно...

Солдат пошатнулся от злобы, хмеля и внезапно посетившей его мысли. Он посмотрел на великана, недвижно сидевшего у очага, и сказал:

— Сизиф, сын Эола! Ты — царь Коринфа?

— Я был царем Коринфа, — ответил Сизиф.

— И ты будешь опять царем Коринфа! — воскликнул солдат. — И будешь царем всей Греции. Ты уничтожишь корыстного, жадного и падкого на стяжание, неблагодарного царя Кассандра. И ты воцаришься!

Солдату хотелось сказать, что воцарится малолетний сын Великого Александр Эг... Но как сказать это? Глаза у Сизифа блестят, ему самому, видимо, хочется приобрести, и неизвестно, посадит ли он к себе на плечи малолетнего Александра Эга. Солдат, чтоб окончательно подчинить себе Сизифа, вскричал:

— Ты наденешь пурпур и воцаришься! Ты — знаешь... Знаешь ли ты, о Сизифе, что я послан к тебе богами?

— Р-р-рад!

— И ты покинешь эти места и уйдешь со мной, знаешь?

— Р-р-рад!

— Мы будем грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища?

— Р-р-рад!.. — рычал хозяин, и рыкали, поддакивая ему, горы за дубами, а глубине ультрамариновой ночи.

Хозяин хохотал и покачивался от восторга. Огонь играл то на его широчайших плечах, то переходил на его круглые, как стог сена, колени. Солдат кричал и врал. Нет ничего прекраснее, когда горит подожженный город... Но на самом деле в подожженном городе страшно. Персы и индийцы стреляют из-за каждого угла, сокровища гибнут пол пламенем, гарь и едкий дым режет глаза, молодые женщины бросаются в огонь, а в добычу попадают лишь одни старухи, убивать которых очень неприятно: о сухожилия и кости их тупится меч. Вранье и самому ему не казалось очень убедительным, и, глядя на пунцовый пламень очага, он вспомнил о царственном пурпуре, в который обещал одеть Сизифа.

Солдат Полиандр сказал:

— Твои козьи шкуры, в которые ты облачен, о Сизиф, грязного бурого цвета. Давай мне их сюда...

— Зачем? — спросил Сизиф.

— Давай мне их сюда, и немедленно я превращу их в пурпур!

Он нашел еще один котел, наполнил его водой, быстро вскипятил ее и высыпал туда все свои порошки пурпура. Вода закружилась багровыми пятнами. Полиандр обмакнул в нее длинную козью шерсть, стараясь, чтобы влага не задела кожу, а затем на палках развесил шкуры возле очага. Он любовался алой шерстью, и ему грезился шумный Коринф, чествующий царя Сизифа, мертвая голова Кассандра у его ног, и сам он, Полиандр, — военачальник, стоящий рядом с Сизифом.

— Мы идем, о Сизиф! Идем к славе! — кричал он. — Что тебе эта жалкая долина? Спать тебе в ней не удавалось, так как ночью ты возделывал огород, полыл, поливал, ловил в сети рыб, а в капканы — диких зверей. Ты будешь спать на пуху, под песнопения красавиц, спать долго, до полдня.

— Я р-р-рад... спать... — рычал, разевая твердый, прямой рот Сизиф. — Р-р-рад...

— Ты — царь Греции, а я — твой соправитель... — И с этими словами солдат По-

лиандр лег на ложе и по привычке сунул под голову нагрудник и наспинник, а ноги прикрыл овальным своим щитом так, чтобы крючки и пряжки для прикрепления торчали наружу. Вдоль тела он положил свой короткий аргосский меч и, сделав все это, немедленно заснул.

Проснулся солдат от громкого шума сражения. Как всегда, он почувствовал холодный дрожащий страх в плюсне ноги, охвативший затем и лодыжки. Но, как и подобает солдату Великого, он немедленно поборол страх и вскочил, держа меч наклонно.

Было раннее свежее утро. Шум сражения утих. Солдат пошел на узкую полосу света, щурясь. Открылась дверь.

И с порога хижины солдат Полиандр увидел, что поднимается над алыми горами изжелта-красная заря, и внизу лощины, освещенной лучами этой зари, катится вверх, в гору, по своему ложу, огромный базальтовый черный шар.

И катит его Сизиф.

И тогда воскликнул Полиандр, дрожащим с похмелья и от изумления голосом:

— Клянусь собакой и гусем, я не верю своим глазам! Ты ли это, о Сизиф?! Разве мудрый Зевс не простил тебя? И разве ты не дал мне согласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедро, голени и ступни мои — стары. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда зачехну где-нибудь на Востоке, в жарком песке пустыни... А здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему — сыр. Что мне еще надо? Я привык. Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору.

И он, тяжело и с напряжением шагая, покатиł камень.



Рисунок Ю. Цишевского

И, перед тем как исчезнуть из глаз солдата, Сизиф прорычал про себя:

— Р-р-рад вор-рочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло...

Он отвык говорить такие длинные фразы и потому сказал невнятно, и солдат не расслышал, а если б и расслышал, то вряд ли понял бы.

Из дородного и могучего Сизиф, уходя, превращался в поджарого, а его камень — опять в раскаленный отливоч металл. Оба они быстро приближались к верху горы, откуда невидимая сила должна была сбросить камень обратно. Солдату не хотелось услышать снова отвратительный визжащий и дрожащий полет камня, и, поспешно схватив свои доспехи, он выбежал на тропу, явно обозначившуюся перед ним.

Он шагал по тропе, чувствуя в сердце жестокое колотье. Он предчувствовал, что Коринф встретит его не по-родственному, а сильно почерствевшим с исподу. Пожалуй, лучше совсем не показываться туда? Ну, а где ж тогда его родное место? Он — выпущенная стрела, и нет счастливого ветра, который бы отнес его в сторону. Кто будет рубище, отрепье и ветошь красить в пурпур?

И он еще раз оглянулся на Сизифа.

Сизиф был высоко, на острой вершине кряжа. Пурпуром отливали на раменах его козьи шкуры, которые вчера, сглупа, окрасил ему Полиандр. Истратил последний драгоценный пурпур, ах... И воспаленным голосом проговорил Полиандр:

— Клянусь собакой и гусем, о Сизиф! Недаром Гомер называл тебя корыстолюбивым, дурным и лукавым, о коварный сын Эола,— ты обманул меня. И неужели это — предзнаменование, что я всегда буду обманутым?..

Алексей Яшин

ИСКУШЕНИЕ СИЗИФА: МИРАЖИ СУДЬБЫ*



Сизиф, царь-труженик, вечный раб, духовный отец конвейера, жив и вечен, как вечен труд — удел и украшение человека. Поэтому вспомнить о нем не грешно лишний раз. Только покойник от вспоминания все переворачивается в гробу, а живому созданию любая память лестна. Сизиф — великий надомник древности и сегодняшнего дня.

Из раннего, тяжелой синевы рассвета выступили горы. В ближних деревнях заблеяли овцы, закричали голодные с ночи ослы. Волы, жирные, тупые и бесстрастные, глухо замычали. Не успела смолкнуть невеселая гармония нищих горных поселений, как подскочило и выпрыгнуло солнце: Гелиос начал дневной путь в своей золотой, слепящей смертным глаза колеснице, разгоняя первыми, длинными еще и косыми лучами утреннюю рябь моря, вызеления поросшие лесом до самых вершин, до облаков прибрежные горы.

Вползали из хижин пастухи, замерзшие, кутающиеся в рваные плащи, мало что соображающие от быстрого, неприятного до тошноты пробуждения. Позевывая, расчесывая под тряпьем искусанные клопами тела, то один, то другой выгоняли они из-за загорода скотину. С хриплой руганью, щелканьем бичей, лаем собак погнались они стада на обезлесенные предгорные поляны.

Архий, в этих местах старейший из пастухов, по привычке семидесяти лет пастырской жизни взглянул на дальнюю, до половины одетую облаком гору: все было как прежде. По тропинке, взбегавшей ввысь под облака, медленно-медленно вползала в гору серая, неразличимая отсюда фигурка человека.

— Боги-боги... тяжело ваше наказание. И умереть-то нельзя,— пробормотал старик, вздохнул и, отхлебнув из поясного меха глоток-другой тимьяновой болтушки-кикеона, с криком погнался своих овец.

На гору же взбирался несчастный царь Коринфа, злонаказанный богами Сизиф, не сумевший в лучшие свои времена удержать язык за зубами — порок, бичуемый равно в рабах и в царях.

Не первое тысячелетие вкатывал несчастнейший без отдыха, без злобы, понятно — и без особой радости, огромный камень на вершину горы и столько же раз достигал ее, сколько с проклятиями сбегал вниз, вслед за камнем, вновь и вновь сбрасываемым мстительными богами Олимпа.

Все же злоба на миг схватывала Сизифа, как холод пролитой на грудь декабрьской студеной воды, но привычка отверженного, привычка многих столетий кривила губы в усмешке презрения: к миру, к себе, к своему бессмысленному труду.

До песчинки, до малейшей трещины знакомы были Сизифу очертания проклято-

* Публикуется по изданию «Уральский следопыт», 1978, № 1. С. 26—28 (первоначальное название: «Сизиф»).

го камня, до ювелирной тонкости блеска отполированного его ладонями. Но очередной рассвет заставлял наказанного царя за каторжной работой; начинался день, и он, наваливаясь всем телом на камень так, что бугры мускулов растягивали кожу, как мякоть переспелого плода раздирает тонкую и нежную оболочку, вкатывал его в гору. И пот, обильный пот пропитывал, смешиваясь с утренней росой, тропу скорбного труда без смысла и конца.

Шли и проходили мимо памяти сотни, потом — тысячи лет, но ни разу мольба Сизифа не достигла Олимпа, не смогла умиловить оскорбленных богов.

Время шло, и события в мире текли сквозь время, как через редкое сито мелкий песок. Давно забыли полуодичавшие греки, пастухи здешних гор, богов-олимпийцев, приняли из Палестины нового единосущего бога, быть может, более доброго, а может, и слишком сурового. Но по-прежнему проклятие подгоняло и цепко сдержало в невидимой упряжи бывшего царя Коринфа.

А мимо в пыли раскаленных дорог проходили, сверкая золотыми победными значками, римские легионы — в Египет, Иудею, Дакию, и центурионы из грамотных всадников указывали на Сизифа, разъясняя солдатам: кто этот грек и за что наказан. Солдаты паскудно гоготали. После были генуэзцы, потом и османские турки с восточным безразличием смотрели на крохотную точку, карабкающуюся в гору изо дня в день, год за годом, десятилетиями, веками.

Рассмотрел Сизифа в подзорную трубу адмирал Ушаков, проходивший с эскадрой. Слышал о нем от горцев умирающий Байрон. Личность его давно стала расхожей в островах и ораторских сравнениях. В благородном же искусстве хроник, жизнеописаний и отвлеченных сочинений Сизиф поминался непрестанно, и чем дальше уходило время богов, тем чаще и пристальнее разгадывали душу и суть Сизифова труда: от краткого упоминания Апполодором, современником олимпийцев, до специальных исследований, предпринятых рядом знаменитых и беспокойных сочинителей 20-го века из французов и англичан.

Как песок через сито утекали события, оставляя голое прошлое время и тягостный, проклятый труд Сизифа.

Но случилось нечто: в один из несчетных дней в эту дикую местность пробрались три автомобиля. Номерные знаки их были написаны не греческими, а латинскими буквами. Джипы, приминая колесами осоку, подкатали по ложбине, поросшей густой травой, к горе. Вышли люди в хаки и с любопытством осмотрели гору, сверяясь с картой подробного масштаба. Уже когда они собрались уезжать, рассевшись по машинам, с горы сорвался большой гладкий валун, прогремел по склону и раскатился по траве до самой стоянки машин. Не успели пришельцы сообразить: камнепад это или провокация, как вслед за камнем сбежал с горы по протоптанной тропе дикого вида, заросший от век до кадыка бородой, оборванный грек в древнем хитоне, истлевшем от тысячелетней носки. Увидев джипы, людей в хаки, он остолбенел:

— Теосос (боги)! — только и вымолвил Сизиф.

— Здорово, парень! — по-английски, а затем на ломаном греческом обратились они к дикарю. Но тот молчал, с ужасом, почтением и с загоревшейся надеждой-любовью глядя на них. Они же пожали плечами, переглянулись, рассмеялись, сели в машины и уехали, оставив Сизифу пару жестянок с пивом и пачку жвачки: амулеты прощения, как понял Сизиф.

Это были не ленивые османы, проморгавшие свои европейские райи, не одиночка Байрон или стесненный инструкциями адмирал Ушаков. Уже со следующей недели у подножия горы начала скапливаться техника. Ходили и покрикивали люди в комбинезонах и кепи с длинными козырьками, как коровы, жующие бесконечную жвачку. А затем экскаваторы, бульдозеры и самоходные буровые установки полезли в гору. На пологую вершину садились и разгружались тяжелые транспортные вертолеты.

Поначалу Сизиф не мешал строительству: вкатывал и вкатывал понапрасну свой камень, чем немало веселил строителей, не имевших в горах других развлечений, но однажды булыжник коринфского царя чуть не раздавила десятника геодезистов Малкольма, и тот, взбешенный, приказал отогнать умалишенного грека подальше. Так и сделали. Когда Сизифа везли, как кота в мешке, в зашторенном лендровере — чтобы не запомнил дорогу назад — в сторону Коринфа, он плакал и благодарил богов за освобождение.

В предместье его высадили, а сердобольный конвоир, член Аламедского общества трезвости, шт. Калифорния, которому понравилось поведение Сизифа, отказавшегося от предложенного глотка виски и пива, всунул в его ладонь пять серебряных монет с вычеканенными орлами, очень похожими на голубей.

В городе его тоже сочли за тихого идиота, и приказчик магазина готового платья, куда по вывеске догадался зайти застенчивый своей оборванной одежды Сизиф, ловко выудил подаренные доллары, обменяв их по курсу на полторы сотни драхм, хотя рыночная цена была в несколько раз выше. И почти все бумажные драхмы он забрал у бедного царя в уплату за разнокалиберное бросовое тряпье.

Несчастный три дня бродил по городу, привыкая к новому звучанию греческой речи и ночуя на теплых, нагретых днем кладбищенских плитах, пока не проел оставшиеся деньжонки. Его, голодного, обросшего, дикого с виду, подобрал фальшивомонетчик Пироксолус и привел к себе в подвал, в мастерскую. На днях его компаньона отправили в случайной встрече с конкурентами на другой берег Стикса, и хитроумный Пироксолус измыслил взять дармового и неопасного в его тревожной профессии работника — объявившегося в городе юродивого, мужика с виду крепкого телосложения и молчаливого.

Он быстро научил Сизифа обращаться с машиной: заправлять бумагу и краски, прижимать и отжимать рычаги, сушить и искусственно старить ассигнации. Трудолюбивому царю не привыкать было к монотонной работе: ни днем, ни ночью он не оставлял печатный станок, неизменно приводя в восторг и хорошее расположение духа хозяина Пироксолуса.

А тот весь день отсутствовал: массу времени отнимала реализация фальшивых драхм. Приходил только под вечер, проверял работу и вновь уходил, на этот раз в ночной клуб. Но однажды Сизиф не дождался хозяина: ни вечером, ни на другой день, ни через неделю Пироксолус не заходил в подвал. Бедняга, он, наверное, отправился вслед за бывшим своим компаньоном, а скорее всего — в бессрочную каторгу. Сизиф вновь был один, пришлось ему изредка выходить из подземелья в город за пищей.

Навалились иные хлопоты, вскоре иссяк запас бумаги и красок, но великое чувство овладело к тому времени душою бывшего коринфского царя: напечатать как можно больше бумажных драхм и снова, купив на них город (Сизиф знал от Пироксолуса о нынешней силе денег), стать царем Коринфа, а может, если сообразовал к нему боги — и всей Эллады.

Сизиф, поборов стеснительность и нелюдимость, накопленные за тысячелетия одиночества в горах, начал, кроме еды, приносить в подвал рулоны хрусткой сетчатой бумаги и банки с красками, купленные на черном портовом рынке у дельцов из Афин и Пирея.

...И печатал, печатал без усталости радужные стодрахмовые бумажки, аккуратно перевязывая в десятитысячные пачки, последние же складывая в рогожные мешки. Тысячелетиями приобретенное трудолюбие, неутомимость — все чудесно утроилось в Сизифе.

Чтобы не ходить часто в город, вызывая подозрение и оставляя станок без работы, Сизиф закупил, расплатившись по-жульнически фальшивками, оптом десять тонн бумаги и шесть восьмидесятигалонных бочек краски, подогнал к подвалу два трайле-

ра с австралийской тушенкой и армейскими галетами. Теперь он мог работать без перерыва.

Как некогда потянулись годы... Сколько-то прошло времени, но запас материалов был переработан, консервы и галеты съедены, а в огромном, как конюшня Авгия, подвале оставался свободным от денежных мешков лишь узенький закуток, в котором с трудом помещался Сизиф и износившийся патентованный станок, купленный в свое время Пироксолусом у вождя африканского племени, пытавшегося наладить выпуск собственной валюты, стабильной и независимой, как гордый нумидийский лев...

В некий день, отмеченный впоследствии пересудами на городском рынке, Сизиф закончил свой труд, впервые в его жизни — вольный и целенаправленный. Для пробы он взял один мешок и выволок на улицу, тщательно заперев за собою подвал. Протащившись по городу с мешком на спине, вошел в операционный зал Коммерческого банка и высыпал перед изумленным кассиром груды в два миллиона драхм. Грязный и оборванный бродяга стоял перед кассой...

— Что ты... э-э, что вы? — воскликнул кассир. — Это ведь уже не деньги!

И кассир, увидев горе, отчаяние и непонимание на лице заросшего, нечесаного сельского простака, а может, и взбесившегося миллионера, вежливо, как только и разговаривают с больными, объяснил, что еще три года назад была проведена реформа обмена денежных знаков: в целях борьбы с инфляцией и фальшивомонетчиками, расплотившимися на земле великого Перикла и А. Ф. Македонского...

Сизиф до темноты просидел на ступеньках стилизованной под акропольскую банковской лестницы. Рядом, как сдохшая собака, скрючился рогожный мешок.

«Значит, то были... Проклятье мне!.. По-прежнему...» — горестно шевелились губы царя. Отчаяние и тупость мысли вновь обволокли его душу. Сизиф не знал, конечно, о Наполеоне, но даже и сознание, что не он один проигрывал в истории свое Ватерлоо, не утешило бы его. А он в нем не нуждался... К ночи Сизиф ушел из Коринфа, даже не заглянув в набитый отменными деньгами подвал.

С месяц бродил он по Акрокоринфским горам и отыскал небольшую, свободную от военных баз и легочных санаториев гору. Выкопал из земли мшистый обломок скалы, похожий на прежний, а с утра, тяжело вздохнув, напряг мышцы тела и со стоном, с проклятиями покатиł камень в гору.

Он почувствовал... освобождение; теперь и уже навсегда были выброшены из памяти недавние годы возродившегося древнего тщеславия царя Коринфа. Перерожденный вечным наказанием дух Сизифа отринул, пройдя весь путь ниспосланного богами соблазна, все желания избежать назначенной судьбы. Снова насмешка тронула его губы, не стало над ним повелителя: сто-рукого человеческого порока бунта.



Рисунок Л. Смирновой

ДОКУМЕНТЫ ЭПОХИ: ВЛАСТЬ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС И КУЛЬТУРА

От редакции: Начиная с этого номера «Приокских зорь», мы расширили постоянную рубрику журнала (см. № 1, 2007 и № 2, 2007 «ПЗ»), включив в нее и взаимоотношение власти с культурой. Понятно, что литература и культура в конкретном социуме, в конкретных политических, идеологических и экономических ситуациях идут, что называется, «рука об руку». Это четко прослеживается в программных заявлениях официальных властных структур или их представителей, выражающих точку зрения и тенденции власти в этих вопросах. Сказанное четко прослеживается в публикуемой ниже статье (речи) Н. И. Бухарина, которого не без некоторых оснований полагают автором окончательного текста Конституции СССР 1936-го года.

...И еще один момент. После публикации в предыдущих номерах журнала материалов данной рубрики, в редакцию обращаются читатели с вопросом: почему публикуются документы только советского периода истории страны? Ответ здесь прост. До Октябрьской революции власть не вмешивалась в тонкости развития литературы и искусства, предоставляя это профессиональным критикам, историографам, музыковедам и пр. Их имена хорошо знакомы читателям, хотя бы по советской школе: Чернышевский, Белинский, Добролюбов, Григорович, Стасов, Станкевич и многие другие. Другое дело, что власть оставляла за собой цензуру, порой очень жесткую. Но ведь цензорами служили и профессиональные писатели, например, Гончаров, которые могли оценить литературные достоинства цензурируемых произведений?

Иная картина в России в последние полтора десятка лет (или чуть поболее даже): вся культура, включая литературу и искусство, перешла от государства к СМИ, управляемым кем-то или чем-то сакральным. Отсюда и глубинный провал прежде всего литературы и искусства; объяснять не надо, всякому мыслящему человеку это видно и понятно. Нет и формальной, направляющей цензуры, но зато в действии весь арсенал управляемой СМИ массовой культуры: от практики умолчания до системы регулируемых грантов и премий. Опять же все понятно, а в последние годы возрождается и чисто советский феномен самоцензуры.

Таким образом, от времен «Повести о полку Игореве» и «Задонщины» и до современной эпохи Пелевина и Дарьи Донцовой можно вычленить только советский период, когда государство очень даже ревностно следило и направляло литературу, искусство, всю культуру в целом. Отсюда и определенное обилие документов эпохи. Плохо это или хорошо? На пользу ли это шло отечественной культуре? — Пусть каждый читатель решает это для себя сам, хотя бывший политпросвет уже сменился демпросветом, развернувшим все и вся на 180°. Заставить думать — вот сверхзадача настоящей рубрики журнала.

Н. И. Бухарин

**Ленинизм и проблема культурной революции
(Речь на траурном заседании памяти В. И. Ленина*)
21 января 1928 г.**

— Товарищи! На сегодняшнем траурном заседании я хотел бы взять одну лишь тему: *ленинизм и проблема культурной революции*. Я ее беру потому, что в настоящее время этот вопрос является одной из центральных одной из главнейших проблем, которые стоят перед Советской властью и перед нашей партией. Лучшим почитанием

* Доклад на Объединенном заседании ЦК, ЦКК, МК, МКК ВКП(б), ЦК и МК ВЛКСМ, Института Ленина, ЦИК СССР и ВЦИК, губисполкома, ВЦСПС, МГСПС и других рабочих организаций, посвященный 4-й годовщине смерти В. И. Ленина. *Ред.*

нашего великого учителя будет, если мы в день памяти о нем, от нас ушедшем, будем снова и снова приходить к нему для того, чтобы вновь и вновь почерпнуть силы из того учения, которое Владимир Ильич нам оставил. Ибо наша задача есть задача «изменения мира», задача, которая теоретически была сформулирована гениальным основоположником научного коммунизма — *Марксом*. Нам приходится сейчас бороться и преодолевать трудности совершенно исключительного порядка, нам приходится жить и бороться в капиталистическом окружении. Это — противник, который, по сути дела, объявил нам войну не на живот, а на смерть. Это — враг сильный, уже вооруженный до зубов и все более вооружающийся. Буржуазно-капиталистическая наука и техника, организация капиталистического труда в настоящее время растут. Серийное и стандартизированное производство, электрификация, целый ряд новейших технических изобретений, жидкий уголь, улучшенное производство и подача газа, выделка искусственного волокна, которая занимает все большее и большее место в капиталистическом производстве и которая может быть по мановению правительственного жезла превращена в изготовку взрывчатых веществ, наконец, крупнейшие военные изобретения, самоуправляющиеся моторы на земле, под водой, на воде и в воздухе — все это знаменует собою такое техническое «переоборудование» капитализма, при помощи которого наш капиталистический противник плотнее усаживается на свои трон. Военный и послевоенный кризис нанес ему глубокие кровоточащие раны; этот кризис еще не изжит; на горизонте вырисовываются буревестники новых катастроф. Но *пока что* в рамках еще не изжитого кризиса наш противник укрепляется в основных центрах своей силы и своего могущества. Нам нужно совершенно отчетливо понять, что мы переживаем время состязания с этим еще могучим империалистическим противником. Ни на одну минуту, ни на одну секунду мы не должны упускать этого из виду. Нам суждено еще долгое время жить в кольце империалистских мечей. Нам суждена длительная борьба с этим «Священным Союзом» буржуазной контрреволюции, который не хочет и не может оставить нас в покое, ибо наш покой, наше строительство, наш мирный труд, наш рост нарушают «покой» империалистических царств. Поэтому наше строительство и те задачи, которые мы решаем внутри страны, так тесно увязаны с вопросами «большой» международной политики и реально от этих вопросов неотделимы.

Наш противник борется с нами всеми родами оружия, наш противник борется с нами и на идеологическом фронте. Одним из важнейших орудий на этом последнем фронте является спекуляция на нашей технико-экономической отсталости, на нашей некультурности, на нашей еще не изжитой нищете. Все заправилы империализма и его певцы, все враги строящегося социализма, все ненавистники железа пролетарской диктатуры, все циники социал-демократии, все путаники мелкой буржуазии, все разъеденные сомнениями и скептицизмом и кукующие о нашей гибели, — все они спекулируют на нашей отсталости. На крайнем фланге стоят матерые вожди международного капитализма, а на другом конце этой цепочки — наши всевозможные «друго-враги», которые — увы! — нередко заимствуют свое оружие из идеологического арсенала открытых противников социализма. Часто можно наблюдать, как какой-нибудь прожженный делец и идеолог капитала не без фальшивого пафоса вещает, что большевизм — это «великая чума», великая азиатская болезнь, которая грозит хлынуть на Европу. Истошными голосами кликуш вопят о том, что большевизм несет с собой «гибель всей цивилизации и культуры». Некоторые из особенно ретивых, особенно усердных и особенно лицемерных империалистских крикунов, в первую очередь бывшие «властители дум» императорской России, перейдя все грани зоологического бешенства, договариваются до того, что считают Советскую власть воплощением царства «диавола», «сатанократией». Так, распаляясь контрреволюционной злобой, пишет трубадур аристократии г-н Бердяев. Наши *социал-демократиче-*

ские противники с усердием, достойным лучшей участи, распространяют злостную басню, будто мы в полуазиатской стране, издревле привыкшей к восточному типу деспотии, создали режим, который ни капельки не отличается от режима Хорти и Муссолини. (В скобках замечу: когда некоторые молодые люди из троцкистской оппозиции ругают нас фашистами, они заимствуют целиком это отравленное оружие у своих социал-демократических единомышленников.) Вся социал-демократия утверждает, что мы, большевики, взялись за утопическое дело построения социализма, предполагающего большую культурность масс, и поэтому все наши «затеи» заранее обречены на неизбежный крах, на неизбежную гибель, как бы мы ни суеились и какие бы прекрасные лозунги мы ни придумывали. В великой исторической книге судеб предначертана наша гибель, ибо мы-де пошли против железных законов истории. И отошедшие от нашей партии оппозиционные осколки точно так же идут по этой же линии, когда утверждают, что гибель наша, если только нас не спасет немедленный взрыв в Западной Европе и власть пролетариата там, почти «предрешена». Так, нажимая на различные клавиши, люди разыгрывают одну и ту же мелодию.

Характерным является тот факт, что довод об отсталости, о некультурности приводится не только против нас, большевиков СССР, когда наша революция делает один успех за другим и одерживает одну победу за другой. Чрезвычайно характерно то, что примерно этот же довод приводился очень и очень давно противниками рабочего коммунистического движения вообще, которые критиковали самую цель коммунизма, «доказывая», что не может осуществить ничего хорошего класс некультурный, класс придавленный, класс-парий, который способен только разрушать, разнуздывать дикую стихию и который неизбежно возвратит общество чуть ли не к доисторическим временам. Характерным является то, что даже полудрузья коммунистического движения не раз и не два, с самого зарождения коммунизма, в страхе отступали перед теми, которых они иногда сами же призывали в качестве спасителей от пороков современной капиталистической цивилизации. Такой крупный человек, такой великий поэт, как *Гейне*, человек, которого Маркс называл своим «другом» и который действительно находился в самых дружеских и интимно-близких отношениях с основоположником научного коммунизма, писал о коммунистах и коммунизме незадолго до своей смерти (в 1854 г.):

«Нет, меня одолевает внутренний страх художника и ученого, когда мы видим, что с победой коммунизма ставится под угрозу вся наша современная цивилизация, добытые с трудом завоевания столетий, плоды благороднейших трудов наших предшественников».

И в следующем, 1855 году этот друг Маркса, революционный поэт Германии, одна из самых радикальных фигур германской общественности, совсем на пороге своей личной смерти писал о коммунистах и коммунизме:

«Со страхом и ужасом думаю я о той поре, когда эти мрачные иконоборцы станут у власти. Своими мозолистыми руками они без сожаления разобьют мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу. Они уничтожат все те безделушки и мишуру искусства, которые были так милы поэту. Они вырубят мою лавровую рощу и на ее место посадят картофель. Лилии, которые не сеяли и не жали и все же были так же великолепно одеты, как царь Соломон во всем его блеске, будут повыдерганы из общественной почвы. Розы, праздничные невесты соловьев, подвергнутся той же участи. Соловьи, эти бесполезные певцы, будут разогнаны, и — увы! — из моей «Книги песен» лавочник наделает мешочков и будет в них развешивать кофе или табак для старушек будущего».

Интересно отметить, что такая крупная фигура нашей общественности, впоследствии ставший членом нашей партии, как *Валерий Брюсов*, в 1904—1905 годах написал очень красивое само по себе стихотворение, которое он назвал «Грядущие гун-

ны», взяв эпиграфом лозунг: «Топчи их рай, Атилла». «Атилла» — здесь псевдоним коммунизма; «рай» — буржуазный рай. Здесь мы читаем такие строфы:

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам.
На нас ордой опьянелой
Рухните с темных становий —
Оживить одряхлевшее тело
Волной пылающей крови.

.....
.....

Бесследно все сгинет, быть может.
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном.

Валерий Брюсов тех времен пел нам и нашему классу «приветственный гимн». Но оценивал наш класс как «грядущих гуннов».

Вот эти настроения были чрезвычайно характерны не только для мелкобуржуазных филистеров, но и для лучших голов буржуазно-капиталистического мира, даже для тех, которые, в силу своих исключительных личных свойств, пытались выпрыгнуть из сетки буржуазно-капиталистической идеологии. Даже те, кто в коммунистическом рабочем движении предчувствовал нечто новое, исторически великое, что должно «волной пылающей крови» оживить «одряхлевшее тело» буржуазной культуры и цивилизация, *даже* они видели в рабочем классе новых «гуннов», которые разнесут все в щепки, отдадут на слом все великолепные создания человеческого гения, засеют «элементарной» рожью новые поля, стерев предварительно с лица земли все наследие старой докапиталистической и капиталистической культуры.

С тех пор как это писалось, прошло довольно изрядное количество времени. Утекло много воды и, пожалуй, еще больше крови. Это время, однако, своим железным языком сказало нам целый ряд истин, которые вряд ли подлежат сейчас сомнению для всякого мало-мальски мыслящего человека.

Оказалось, что цивилизацию и культуру, все завоевания ее и все ее ценности, которые напластовались в течение веков, ставят под нож, ставят под топор, ставят под угрозу гибели не мрачные коммунистические «иконоборцы», не гунноподобные воители коммунистического рабочего движения, а очень изящно одетые, «блестящие» и «великолепные» лейтенанты и генералы империалистских армий, вооруженных всеми приобретениями этой же цивилизации; еще более изящно одетые и лощеные дипломатические деятели христианнейших государств, с их утонченным языком, с их лайковыми перчатками, с их «благородными» заботами о боге и культуре, с их «благочестивыми» мыслями об убиении коммунизма; тузы банка и биржи, со всеми своими нежными и одетыми, подобно царю Соломону, «лилиями» как женского, так и мужского пола, их ученые, которые изощряют свой ум, свои знания, свои таланты, чтобы изобретать на потребу капитала наиболее смертоносные орудия разрушения материальных и духовных ценностей современной цивилизации; священнослужители, художники, литераторы и певцы, которые всеми способами, на разных языках обслуживают истребительную политику империализма.

В стальных осколках, в ядовитых газах, во вшах, в человеческом кале и крови грозит задохнуться «благородная» культура капитализма, готовая пожрать самое себя. И не мы, «мрачные иконоборцы» (как это к нам подходит!), несем эту гибель. Мы

спасаем все, что есть ценного в этой культуре. Ее *ставят под удар* наши капиталистические противники. Это *против них* должен точить нож каждый честный человек, который способен размышлять над великими вопросами нашего времени.

Выяснилось и другое. Наша эпоха, наше время открыло всем и *другую* истину: выяснилось, что после периода временной разрухи мрачные «коммунистические иконоборцы» не только спасают все ценное, что остается от старого, но *самым быстрым образом*, быстрее, чем кто-либо, ведут огромную человеческую массу вперед по культурной дороге, создают великое массовое культурное движение, перепахивают трактором культуры вдоль и поперек огромную страну, вызывают к жизни не отдельные бриллиантовые ручеечки культуры, а громадный, широкий и глубокий поток массового культурного строительства.

И наконец, *третья истина* раскрылась в течение этого времени. Перед нами распахнулись широчайшие перспективы творческого, строительного труда, перспективы, которых не знал и не мог знать капиталистический мир. В области хозяйства, в области работы среди масс, в области научного творчества, в области культуры вообще мы стали уже на пороге задач грандиозного масштаба, из маленьких комнатух «камерной» культуры мы выходим на городские улицы и площади и шлем вестников культуры в села и деревни, во все медвежьи закоулки и уголки. Наша *наука* начинает все больше приводить в движение маховое колесо нашей практики. Она перестает быть занятием парочки кабинетных ученых; она уже непосредственно соприкасается с великими задачами хозяйственного строительства, от которого она — прямо или косвенно — получает свои теоретические задания. Рабочий класс лихорадочно быстро расширяет круг своей работы. Он поднимает к исторической жизни задавленные и замученные национальности, помогает братской рукой развитию их культуры, он ставит поэтому и перед наукой новые задачи. Он увязывает в одну огромную организованную систему хозяйственное строительство, объединяя все большую и большую часть народного хозяйства своим государственным планом и единством плановой цели. Эти задачи точно так же ставят перед наукой интереснейшие проблемы, совершенно неведомые для науки буржуазного мира. Рабочий класс, наконец, обращает сугубое внимание на самого человека, на его труд, на его здоровье. Это, в свою очередь, вызывает к жизни молодые побеги новых отраслей знания, ставит новые задачи, по новым направлениям сближает теорию и практику, науку и жизнь.

Так все более властно механика рабочей диктатуры вовлекает культуру в массовый всеобщий жизненный оборот, подчиняя обогащающуюся науку новым потребностям жизни и приводя в соответствие ритм ее развития с биением пульса всего великого исторического процесса. Все это весьма далеко от тех мрачных пророчеств, которыми занимались даже лучшие умы буржуазно-капиталистического мира, и от того унылого, соединенного о злорадством нытья, которым занимаются социал-демократствующие «критики», визгливыми голосками подлаивающие против пролетарской диктатуры. Правда, за период революционных битв очень много «лилий» было пообщипано. Но еще больше «лилий» было пообщипано и еще больше «соловьев» было разогнано под грохот пушек империалистической войны. Важно то, что если мы будем сравнивать разрушительную работу, которую обнаружил сам капитализм, с разрушительными сторонами революционного процесса, то мы можем с чистой совестью сказать, что мы с меньшими издержками творим дело, которое до конца подорвет возможность разрушительной работы лощеных варваров капиталистической цивилизации.

На первый план с точки зрения культурной работы рабочий класс и его партия поставили *массу*, — не отдельных жрецов, не отдельные экзотические тепличные растения. *Масса* стоит у нас в фокусе нашей культурной работы, и центр тяжести ее лежит именно здесь.

Как смешны, жалки и неумны обвинения, выдвигаемые против победоносного коммунизма, все эти «аргументы от культуры»!

Не кто иной, как Владимир Ильич, этот бешеный революционер, этот великий разрушитель, этот полководец рабочего класса, ведший его на штурм капиталистических крепостей, дворцов и особняков, в своих последних статьях самым резким образом поставил культурную проблему как центральную проблему нашей партийной и советской работы. Тов. *Ленин* с полным правом заявил, что после завоевания и укрепления рабочей диктатуры коренным образом изменяется наша точка зрения на социализм. Он писал:

«Эта коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т.д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную, «культурную» работу. Я готов сказать, что центр тяжести для нас переносится на культурничество, если бы не международные отношения, не обязанность бороться за нашу позицию в международном масштабе. Но если оставить это в стороне и ограничиться внутренними экономическими отношениями, то у нас действительно теперь центр тяжести работы сводится к культурничеству».

Эту мысль, во всей ее глубине и во всем ее историческом масштабе, должен понять каждый член нашей партии, каждый рабочий, который хочет ясно усвоить цели своего класса и его исторического движения. В основных чертах эта мысль была намечена еще Марксом.

Период рабочей диктатуры, период перехода от капиталистического строя к строю социалистическому и, далее, строю коммунистическому может быть рассматриваем с особой точки зрения, а именно с точки зрения *переделки самого руководящего класса, рабочего класса*. В самом деле, мы можем процесс рабочей диктатуры рассматривать с точки зрения укрепления рабочей власти, мы можем его рассматривать с точки зрения развития хозяйственного базиса социализма, т.е. с точки зрения роста нашей социалистической промышленности, транспорта, того, что мы называем пролетарскими «командными высотами» или «социалистическим сектором» нашего хозяйства. Мы можем, однако, весь этот процесс рассматривать с точки зрения изменения *природы рабочего класса*. Мы можем рассматривать, другими словами, весь этот огромный всемирно-исторический процесс с точки зрения *переделки масс*, изменения их природы и в первую очередь с точки зрения переделки самого пролетариата.

Маркс, как известно, писал, что в великих гражданских битвах, в битвах народов, наполняющих тот бурный период, который отделяет капиталистическое общество от коммунизма, рабочий класс переделывает свою собственную природу. Ленин, который ни на одну йоту не отступал никогда от марксистского учения, а лишь развивал и углублял его, рассматривал эту проблему «переделки масс» в качестве важнейшей, труднейшей и существеннейшей проблемы, которая стоит перед нашей партией.

Как ставил вопрос Владимир Ильич, когда он подходил к расшифровке понятия *культурной революции*?

Он говорил:

«Перед нами являются две главные задачи, составляющие эпоху. Это — *задача переделки нашего аппарата*, который ровно никуда не годится и который перенят нами целиком от прежней эпохи; переделать тут серьезно мы ничего за пять лет борьбы не успели и не могли успеть. *Вторая наша задача состоит в культурной работе для крестьянства*. А эта культурная работа в крестьянстве, как экономическая цель, *преследует именно кооперирование*. При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве. Но это условие полного кооперирования включает в себя такую культурность крестьянства (*именно крестьян-*

янства, как громадной массы), что это полное кооперирование невозможно без целой культурной революции».

Когда мы читаем снова и снова эти строки, то невольно прежде всего набегает мысль: куда же девался во всей этой установке тов. Ленина рабочий класс? Выдвинуты на целую эпоху (это нужно подчеркнуть: речь у Владимира Ильича идет именно об эпохе) две задачи: переделка *госаппарата* и поголовное кооперирование *крестьянства*. Для поверхностного «критика», всюду выискивающего «национальную ограниченность» и «крестьянский уклон», ничего бы не стоило объявить эти задачи эпохи выражением какого-нибудь «сползания». Как же решается, однако, вопрос по существу? Когда тов. Ленин говорит о переделке нашего государственного аппарата, то он этот вопрос берет в неразрывной связи с вопросом о культурном подъеме самого рабочего класса. Ибо что такое в самом деле государственный аппарат в СССР? Это — остов государственной власти. А что такое государственная власть в нашей стране? Это есть, говоря языком Маркса, рабочий класс, «конституированный как государственная власть». Государство у нас — это есть самая широкая организация рабочего класса. Следовательно, переделка государственного аппарата, задача, которую тов. Ленин устанавливал на эпоху, является одной — и важнейшей — стороной нашей работы среди рабочего класса. По какой линии надо переделывать наш государственный аппарат? По линии *борьбы с бюрократизмом*, по линии воспитания рабочих масс, по линии обучения рабочих масс искусству управления. Переделка госаппарата — это есть в огромной степени *культурная* проблема. В своей речи о программе партии (VIII съезд) тов. Ленин говорил:

«Мы отлично знаем, как эта некультурность принижает советскую власть и воссоздает бюрократию. Советский аппарат на словах доступен всем трудящимся, на деле же он далеко не всем им доступен. И вовсе не потому, чтобы этому мешали законы, как это было при буржуазии: наши законы, наоборот, этому помогают. Но одних законов тут мало, необходима масса воспитательной работы, — чего нельзя сделать быстро законом, что требует громадного длительного труда».

Лишь понемногу рабочий класс «вызревает» в культурном отношении; он «вызревает» не сразу; он «вызревает» не всеми своими пластами одинаково; он «вызревает», если так можно выразиться, «по частям»: *не все* рабочие проходят через рабфаки и вузы; *не все* рабочие становятся красными директорами или советскими администраторами; *не все* в одинаковой степени близки органам Советской власти, и т.д. и т.п. Но, хотя по частям, все же рабочий класс поднимается со ступеньки на ступеньку. Когда его подавляющая масса будет прочно сидеть у рычажков управления, тогда бюрократия и бюрократизм умрут естественной смертью. Повышение культурного уровня рабочих есть поэтому предпосылка действительного улучшения нашего госаппарата.

Итак, весь огромный план Владимира Ильича, который беглыми, но очень четкими штрихами намечен в цитируемой статье, распадается на две огромных проблемы: первая — кооперирование крестьянских масс, для чего нужна целая культурная революция; вторая — переделка нашего государственного аппарата и заполнение всех его пор культурно-выросшими рабочими. Смычка между поголовно кооперированным крестьянством и костяком государственной власти, избавленным от ее бюрократических зол, костяком, представляющим собою действительно «конституированный как государственная власть рабочий класс», это и есть великая организационно-культурная задача эпохи. Для Ленина в центре всего, повторяю, стоит *масса*. У нас много лет тому назад (и в самой нашей партии, и около партии) была целая полемика по поводу культурных задач. Владимир Ильич выступал тогда со всем своим темпераментом, со всей революционной страстью и со всеми тяжелыми булыжниками своей подавляющей логики против ошибок, намечавшихся в наших рядах. Мно-

гие после Октября сразу хотели взвиться на пролетарские небеса, слишком увлекались, яростно и горячо дебатировали вопросы пролетарской культуры, готовили немедленную революцию во всех сферах науки и техники; некоторые мечтали создать пролетарскую культуру чуть ли не опытно-лабораторным путем. Владимир Ильич громил всеми родами оружия такую постановку вопроса. Почему? Теперь это более чем ясно. Он поступал как дальновидный стратег. Он справедливо опасался, что люди увлекутся надуманными, лабораторно-узкими, тепличными проблемами, отвернутся от массовых, неизмеримо более элементарных, но абсолютно насущных в своей элементарности культурных нужд. Вот почему «болтовне», «фразам» о пролетарской культуре он противопоставлял борьбу с такими вещами, как взятки, комчванство, безграмотность. *Вот враг*, говорил он, нужно бить по *нему*, сосредоточить таран ваших усилий именно здесь, и *тогда* что-нибудь да выйдет. Если мы будем замыкаться, если мы будем отъединять рабочий класс от массы, или часть класса от всего класса, или какую-нибудь маленькую группировочку из пролетариата от ее социальной пуповины, то мы сделаем огромную и непростительную ошибку. Не в том дело, чтобы сразу же перевернуть все науки, а дело в том, чтобы взять на мушку элементарнейших врагов грамотности и культуры и их подвергнуть наиболее быстрому разгрому, эти задачи поставить на первый план, на *этом* концентрировать все внимание нашей партии и *этого* врага смертным боем бить.

В связи с этим Владимир Ильич ставил *вторую* задачу, а именно задачу взять все, что можно, от капитализма. Нельзя говорить «б», не сказав «а», нельзя переносить центр тяжести на революцию в области математики, биологии, физики, не решивши, хотя бы на известный процент, задач предварительных, элементарных, тех, которые вопиют к небу, тех, без решения которых можно *свалиться и погибнуть*. Вот почему Ленин с такой сокрушительной настойчивостью ставил задачу *взять от капитализма все, что можно взять*. На митинге в Ленинграде (в марте 1919 г.) Ленин говорил:

«Масса его (т.е. капитализм. — *Н.Б.*) раздавила; но от раздавленного капитализма сыт не будешь; нужно взять всю его культуру, которую капитализм оставил, и построить социализм; нужно взять всю технику, науку, знание, искусство, — без этого жизнь социалистического общества невозможно построить. А эта наука, техника, искусство в руках специалистов и в их головах».

Нужно вспомнить, что в то время значительная часть рабочих — да и членов нашей партии в том числе — не понимала всей необходимости этого, и нужна была железная воля и железная логика Ленина, чтобы не дать «левой фразе» заесть живое дело *правильной* революционной политики, через сложнейшие зигзаги исторического пути выводившей пролетариат из лабиринта величайших опасностей.

Однако было бы абсолютно неправильным изображать дело так, будто бы Ленин считал необходимым простой *перенос* буржуазной культуры к нам во всей ее целостности и неприкосновенности. *Такой* установки у него не было. Ленин неоднократно говорил, что надо заимствовать то, что *полезно* пролетариату, решительно отменяя все вредное. Достаточно известно его отношение к религии, философскому идеализму, буржуазной общественной науке и т. д. Он неоднократно выступал против людей, у которых весь их головной зарядный ящик начинен буржуазными традициями. В частности, есть даже его выступления, где он говорит, что в области *искусств* у нас оказалось много выходцев из буржуазного мира, которые под видом пролетарского искусства преподносят нам нечто «совершенно несуразное». Но Владимир Ильич, как гениальнейший полководец, умел распределять *силы* в зависимости от важности того или другого *участка* культурного фронта. А это есть одно из главнейших условий *правильной* политики вообще, культурной политики — в частности. Ибо, по Ленину, наша «мирно-организаторская», «культурническая» и прочая работа не есть

какая-то мирная идиллия, а есть особая форма *классовой борьбы* пролетариата за социализм. Даже тогда, когда Ленин говорил, что «коммунизм мы должны строить руками врагов» или что «хороший буржуазный специалист лучше десяти плохих коммунистов», он говорил не о чем другом, как об этой, *особыми* методами ведущейся, классовой борьбе.

С тех пор как Ленин писал свои последние статьи, прошло уже изрядное количество времени. Каждый грядущий год будет говорить нам со все возрастающей ясностью, что у Владимира Ильича по каждому отдельному случаю будет оказываться все менее готовых рецептов. Ленинизм, однако, заключается отнюдь не в этих готовых рецептах. Владимир Ильич требовал от нас изучения того, что *есть*, во всей его *конкретности*, во всех *особенностях*. Владимир Ильич был чрезвычайно далек от мысли, что можно лозунги и мероприятия, которые мы предпринимали 2, 3 и 4 года назад, переносить на любое время. И если мы хотим действовать в духе Владимира Ильича, то мы должны отдать себе отчет во всех изменениях, которые произошли с тех пор, мы должны учесть, часть каких задач мы уже выполнили, часть каких задач нужно еще выполнить, как эти задачи расставить по-другому, взять в иной пропорции, какие совершенно новые проблемы стали перед нами и т.д. Только так должны ставить вопрос ученики Ленина.

В цитировавшейся уже статье о кооперации тов. Ленин писал: «Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказаться *вполне социалистической страной*, но для нас эта культурная революция представляет неимоверные трудности и чисто культурного свойства (ибо мы безграмотны), и свойства материального (ибо для того, чтобы быть культурными, нужно известное развитие материальных средств производства, нужна известная материальная база)».

Верными остаются *эти* положения? Конечно, верными. Но кое-какие количественные изменения все-таки с тех пор произошли. Мы сейчас не переживаем периода голодовки; мы, несмотря на чрезвычайное напряжение нашего государственного бюджета и ряд крупнейших хозяйственных затруднений, все-таки всю массу экономики и весь наш бюджет безусловно перевели с тех пор на гораздо более высокую ступень. То, что тогда могло звучать в значительной мере как благое пожелание (увеличение материальных средств на культуру), сейчас становится для нас не только необходимостью, но и — в известной мере — такую необходимостью, которую мы, несмотря на целый ряд затруднений на других фронтах, все же должны удовлетворить. Если Владимир Ильич в одной из своих речей говорил о том, что нам нельзя скаредничать в деле просвещения, то это нужно повторить сейчас с *гораздо большим заострением*, ибо даже целый ряд вопросов хозяйственного строительства упирается сейчас в проблему культуры. Всем известно, например, что у нас есть целый ряд крупных недостатков в нашей работе по *капитальному строительству*: и просчетов, и халатности, и достаточного количества плохих проектов, и т.д. и т.п. В конечном счете это есть вопрос нашей культуры; мы страдаем даже по непосредственно-производственной линии от того, что мы ее всегда достаточно следим за западноевропейским и американским опытом; что мы желаем нередко открывать Америки, которые давным-давно уже открыты; что мы не научились еще достаточно хорошо *считать*, хотя это нам важнее, чем для капиталиста, потому что у нас хозяйство большего масштаба. Мы слишком *дорого* строим и потому, что у нас очень дорог материал, и потому, что мы применяем устарелые технические приемы, тогда как объективно возможна другая строительная техника. Но это только одна из очень многих сторон дела. Разве рационализация производства не упирается в проблему большей культурности нашего рабочего, нашего служащего, нашего инженера, нашего администратора? Разве плохая работа нашего аппарата и в городе, и в деревне не связана с этим? Разве мы не подняли бы темпа увеличения мелких сбережений при

более культурных привычках масс? Разве не шла бы успешнее борьба с бюрократизмом, который есть не только социальное зло, но и тормоз развития производительных сил нашего хозяйства? и т.д. и т.п. Словом, мы страдаем по непосредственной линии производства очень часто потому, что мы недостаточно еще культурны. Как-никак, однако, средства у нас в известном количестве теперь появились, и это есть очень крупное завоевание. Вспомните о том положении вещей, когда Владимир Ильич говорил, как о крупном успехе, о 20 млн., которые мы накопили. Теперь мы имеем дело с шестимиллиардным бюджетом. В этом отражается огромный прогресс, который совершило наше советское строительство.

Во-вторых, мы разбудили и подняли активность народа в высочайшей степени — и пролетариата и крестьянства. Мы подняли и культурные запросы масс. Наш крестьянин и наш рабочий это уже не крестьянин и не рабочий дореволюционного времени. Более того, мы даже за четыре последних года видим огромнейший рост культурности нашего рабочего класса, культурности нашего крестьянства, повышения культурных потребностей масс. Один из деятелей среди крестьян и педагог, теперь член нашей партии, тов. *Шацкий*, рассказывал мне, что даже в такой отсталой губернии, как Калужская, в деревнях у отдельных крестьян можно встретить свои библиотечки по 400—500 томов. Иногда «мужички» рассуждают о Толстом, Тургеневе и т.д. Разве было что-либо подобное до октябрьского пришествия коммунистических «гуннов»? Мы настолько расшевелили сейчас культурные потребности масс, что нам трудненько становится уже платить по векселям, которые мы выдали по этой линии. Поэтому совершенно естественно, что наша партия, актив рабочего класса, наиболее передовые слои крестьянства должны из всех сил *подтянуться*, чтобы этот растущий спрос широких масс удовлетворять.

Культурность масс поднялась и по линии элементарной грамотности. Культурность масс поднялась и потому, что страшно расширился кругозор масс вообще. Культурность масс небывало поднялась и по линии политического просвещения.

Если мы говорим о наших завоеваниях, то, я думаю, мы можем сказать, не погрешая против действительности, что в области *политической сознательности* — классовой сознательности такого пролетариата, как наш пролетариат, *нет во всем мире*. Пожалуй, даже можно сказать, что по *политическому* кругозору, который имеется и у нашего крестьянина, т. е. по степени его политической осведомленности в больших вопросах мировой политики, вряд ли он стоит ниже, чем гораздо более культурный, в смысле своего хозяйства и пр., западноевропейский крестьянин.

Если мы возьмем *эту* область культуры, то мы можем сказать, что великая переделка масс, которая произошла за время революции (отчасти стихийно, отчасти сознательно: через Красную Армию, нашу политпросветительную работу, через весь механизм рабочей диктатуры), поставила эти массы политически в авангарде всех трудящихся мира.

Огромнейшая работа проведена среди рабочего класса, среди крестьянства. Огромнейшая работа произведена среди народов, которые раньше считались «инородцами». Этой стороной дела ни в коем случае нельзя пренебрегать. Она имеет значение гораздо большее, чем мы обычно думаем. Мы провели также значительную воспитательную работу среди наиболее отсталых слоев трудящихся, в первую очередь среди женщин. Всего этого нельзя было бы ни в коем случае достигнуть без диктатуры рабочего класса. Предварительным условием успеха был тот язык железа и стали, которым говорила рабочая диктатура в период гражданской войны.

Следовательно, мы можем сказать, что мы сделали очень значительные завоевания в работе *среди масс*. Мы сделали, однако, значительные завоевания и в работе над *кадровым составом* наших работников. Мы приобрели большие организационные навыки; мы приобрели больше знания; мы приобрели большой опыт. Разве мы

теперь уже не выдвинули значительного количества наших собственных *военных* кадров? Выдвинули. Командный состав Красной Армии — это уже в значительной мере не старые специалисты, а квалифицированные силы, выдвинутые из социальных «низов». Костяк, скрепляющий, всю армию, состоит уже из *своего* социального материала, из элементов, обработанных той великой политической машиной, имя которой есть рабочая диктатура. Мы уже начинаем выдвигать кадр наших *техников*. Мы по всей стране имеем кадр наших, уже сравнительно опытных, *администраторов*, в первую голову из рабочих, прошедших суровую школу гражданской войны, борьбы с голодом, борьбы с нищетой. Эти люди сделаны из очень крепкого, очень добротного материала. Это — рабочие, кражистые передовики, в огне нашей революции получившие не только великолепную закалку «плеч и рук и голов», но и приобретшие огромный *опыт*, соединенный с известной теоретической выучкой. Они-то непосредственно и держат различные, большие и маленькие, рычажки нашего огромнейшего механизма: хозяйственного и политического, советского и партийного. Все они по своей административной культурности, по своему опыту, по своим знаниям, по своим навыкам, по своим культурным запросам весьма далеко стоят от тех очень революционных, но мало опытных людей, которыми они вошли в период гражданской войны. Так обстоит в общем дело с нашими *кадрами*.

Но за последнее время мы начали ставить (и решать) также и те задачи, которые отодвигались В.И. на неопределенное будущее, ибо в то время их действительно нельзя было ставить. Таковы задачи, которые суммарно можно было бы назвать задачами *научной революции*, революции в науке, в ее методе, в ее системе. Несколько лет назад этого еще не было и не могло быть. А теперь эта задача не только ставится, но уже частично решается. В целом ряде наук, не только общественных, где марксизм давно уже имеет свою прочную гегемонию, но и в области *естественных*, происходит глубокая переделка: марксизм нащупывает свои позиции и там, запускает и туда свои щупальца. Это чрезвычайно интересное явление, которое, к сожалению, чрезвычайно мало освещается в печати. У нас есть уже крупные биологи из старых ученых, которые с азартом обсуждают вопрос о марксистской диалектике в области биологии. Физика, химия, физиология — захвачены тем же потоком. То же нужно сказать о рефлексологии, психологии, педагогике. Есть даже общество математиков, которые обсуждают вопрос о методах марксизма в математике. Все это показывает, что наш культурный рост добирается до самых высоких областей культуры, что марксизм, который орудовал винтовкой, политической пропагандой, хозяйственной борьбой, развернул свою работу решительно по всему фронту культуры, забрался во все этажи культурного здания, проник до самых «святая святых» прежней культуры, переделывая ее по своему образу и подобию. То же самое происходит и в области *искусства*. Не моя задача перечислять все новые и новые завоевания в этой области, но всякому беспристрастному человеку ясно, что *новая литература*, очень близко к нам стоящая, у нас в значительной степени уже родилась. Все могут отметить также, что текущий год есть год решительного перелома в нашем *театре*. Такие постановки, как «Мятеж», «Бронепоезд», «Любовь Яровая», «Разлом», совсем не случайны.

Разумеется, все это имеет огромное практическое значение. Если искусство начинает говорить более или менее нашим языком, и притом не заикаясь, не сюсюкая и не оглядываясь по сторонам, — это означает, что значительные массы людей «заряжаются», «настраиваются» на революционный лад. Если естественные науки — не говоря уже об общественных — начинают переживать свою революцию — это значит, что они гораздо скорее станут орудием культурной и хозяйственной революции. Если широкие круги педагогов будут стоять на нашей точке зрения не «страха ради иудейска», а по убеждению, не формально, а по существу — это значит, что новое поколение смелее пойдет за нами и скорее будет расти к социализму.

Таковы наши успехи и наши завоевания
по линии *переделки масс*,
по линии *переделки и выработки кадров*,
по линии *революции в науке и искусстве*.

Выполнена ли тем самым наша «историческая миссия»? Конечно, нет. Мы сделали только первые шажки. Мы плаваем еще по горло в целом океане нищеты и бескультурия. И работы перед нами, работы бешеной и страстной, целые горы.

Правда, некоторые «культурные» наши враги, осененные всей благодатью старого мира, предвещают нам быстрый конец, за нашей, так сказать, «исторической ненадобностью». Так, напр., пресловутый профессор *Устрялов* считает, что мы победили потому, что мы были, по сравнению со всеми «белыми», людьми много более энергичными. Однако нам все же предстоит погибнуть по всем правилам устряловского гороскопа. Г-н Устрялов пишет про нас:

«Железные чудища, с чугунными сердцами, машинными душами, с канатами нервов... Куда же против них дяде Ване или трем сестрам?

Куда уж нашим «военным» фронтам против них, против их страшных рефлекторов, жгущих конденсированной энергией!

Разрушат культуру упадка, напоят землю новой волей и, миссию свою исполнив, погибнут от микробов своей опустошенности».

Г-н Устрялов предвидел, правда, кое-каких нытиков, начавших «внутренне опустошаться», в своей «опустошенности» начавших даже атаку против всего нашего дела. Но эти «микробы» были передвинуты на более северную зону. (*Смех, бурные аплодисменты.*)

Что же касается *нашей* «опустошенности», «опустошенности» нашей партии, то г-н Устрялов оказался пророком поистине никудышным. Партия, настолько «опустошилась», что рабочий класс на попытку «микробов» погостить в порах партийного организма ответил посылкой *армии в сто тысяч бойцов*, которые влились прямо от станка в коммунистические ряды. «Железные чудища» разгромили белых вовсе не потому, что Колчаки и Деникины были воплощением трех сестер (то, что они тоже кричали: «В Москву! В Москву!», делало их мало похожими на провинциальных барышень: профессиональные вешатели, они имели и пушки, и иностранное золото!). «Железные чудища» разгромили их потому, что вели за собою *массы*, что опирались на *пролетариат*. И эти «железные чудища» не только не собираются помирать от каких-то дрянных микробов, а смело и твердо строят и бьются, с еще более возросшей энергией, с полным сознанием своей творческой миссии, на всех фронтах культуры, ведя массы к новым и новым победам и преодолевая со зверским упорством отчаянные трудности на своем пути.

Если мы сейчас спросим себя, что же *нам нужно делать* и какие *главнейшие задачи на этом культурном фронте борьбы стоят в настоящее время перед нами*, то, мне кажется, на этот вопрос следовало ответить таким образом: в области культурного строительства нам нужно скорее изживать период, когда «старое» разбито, а «новое» еще не построено. Есть известная закономерность во всей нашей великой революции: и в области *хозяйства*, и в области *политики*, и в области *культуры*. Было время, когда мы разворотили старый хозяйственный аппарат, разбили его, когда старая дисциплина труда покачнулась. Мы разрушили эту старую дисциплину труда, но *не сразу* наладили новую. Мы разрушили старую систему хозяйства, старую систему управления, но *не сразу* построили новую. Так было и в области армии, в области *военного дела*. Старую армию мы разложили, и это нужно было сделать; нельзя ведь изготовить яичницу, не разбив яйца. Но *не сразу* мы добились организации Красной Армии.

Так было в области *государственного аппарата*. Так сейчас происходит, *еще*

происходит, в *области культуры*. Мы, например, буржуазно-мещанскую мораль уничтожили, мы ее по косточкам разложили, она сгнила у нас под руками, но сказать, что мы уже построили *собственные* нормы поведения, такие, которые бы соответствовали нашим задачам, еще нельзя. Многие с презрением относятся к старой морали (и это хорошо), но своих норм еще не имеют, болтаются в каком-то безвоздушном пространстве без узды. Это очень плохо, и от этого мы терпим величайший урон.

В области быта, в области норм, регулирующих отношения между людьми, в области искусства и в целом ряде других областей, которые, по существу дела, и составляют то, что называется «духовной культурой», мы еще не «построились», а в некоторых областях у нас нет еще и чернового чертежа постройки. Это имеет часто весьма крупное отрицательное значение. Всем известны соответствующие примеры из самых различных сфер быта и общественной жизни вообще: разрушенная (и поделом разрушенная) старая семейно-половая «мораль», но еще очень слабое воздействие вырабатывающихся новых норм поведения в этой области; отсюда, из такого промежуточного положения, вытекают некоторые уродливые и в высокой степени отрицательные черты нашего быта; разрушенная старая идеология «двадцатого числа» у служащих и чиновников, но отнюдь не вколотенная еще со всей необходимой силой идеология работы для трудящихся, уважения к «просителю», особого уважения к трудящемуся «просителю», бережливого отношения к государственным средствам и *т.д.* и *т.п.*; прежний «идеал» послушного начальству подданного мы разнесли в щепки, но сказать, чтобы в жизни — и в *массовом* масштабе — мы воспитали уже тип сознательного общественника, борца на всех фронтах строительства, преследующего и шкурника и подхалима,— этого сказать еще нельзя. Мы только *идем* к этому, но сделали лишь первые шаги. Вся проблема рационализации не только производства, но и быта стоит перед нами именно как проблема, как задача, которую еще только *нужно* решать или, вернее, *начать* решать. Здесь нам нужно подтянуться, идет ли речь о массах, или о кадровом составе, или даже о «верхушечных» руководителях. Здесь мы не только не доделали еще нашего дела: мы еще часто не заложили даже фундамента. Таким образом, если мы говорим о некоторых общих задачах, которые перед нами стоят в этой области, то мы можем сформулировать их так: мы должны скорее изживать остатки промежуточного положения, когда старое разрушено, а новое еще не построено. Исходя из этой установки, мы должны поставить перед собою целый ряд задач по отношению к *массе* — во-первых, по отношению к *кадровому составу*, который является передовым слоем этой массы, — во-вторых, даже по отношению к *самым квалифицированным* руководящим слоям — в-третьих. Если речь идет о *массе*, разумеется, перед нами стоит еще в качестве основной задачи задача возможно быстрее идти вперед по линии *элементарной грамотности*. В высокой степени неправильно — а это иногда бывает,— когда «сокращают» избы-читальни, библиотеки, даже школы. «Скаречничать» здесь *теперь* прямо недопустимо; воспитывать «цивилизованных кооператоров» без расширения сети образовательных учреждений нельзя. Возможно шире мы должны поставить и заботу о *здоровье* массы, в частности развернуть борьбу с алкоголизмом и сифилисом. Только безграмотные и действительно некультурные люди могут проходить мимо этих задач. Недавно я просматривал книгу одного немецкого профессора, Бумке, под названием «Культура и вырождение», появившуюся и на русском языке. Бумке целым рядом данных доказывает, что в послевоенный период особенно подрывает дееспособность масс именно алкоголь и сифилис, а у нас это особенно сильно чувствуется. Борьба с алкоголизмом, организация действительно разумных развлечений, надлежащая постановка кино и радио, всемерное развитие физкультуры — все это должно быть нашей задачей.

Нам необходимо, далее, из всех сил учить широкие народные массы — *рационализации хозяйства* и уметь правильно *считать*. Это годится не только для рабочего класса, но и для крестьянства. Тов. Шацкий провел, например, обследование целого ряда крестьянских дворов и пришел к совершенно неоспоримому выводу, что, несмотря на низкий уровень бюджета, можно было бы — даже в рамках этого бюджета — достигнуть много большего производственного эффекта. Приводились примеры точных обследований крестьянских бюджетов и соответствующих расчетов, которые были через школьников розданы крестьянам и произвели сильное впечатление. Эти расчеты наглядно показывают, как даже в рамках обычных бюджетов крестьянское хозяйство может прыгнуть на ряд ступенек выше. Далее, следовало бы подумать о целом ряде мероприятий, которые помогли бы крестьянину заботиться не только о *его* дворе, а, скажем, о целой волости, волостном бюджете, т.е. о хозяйстве «общественном». Мы ведь должны держать курс на то, чтобы эти волости превращались в составные части того, что Ленин называл «государство-коммуна». Вопрос о бюджете *рабочего*, о его семейном бюджете, вопрос об участии его в производстве, о более прочной заинтересованности в ходе производства, о более сознательном и социалистически-культурном отношении к этому производству есть один из крупнейших вопросов нашего хозяйства. Но нужно двинуть и дело рационализации *быта*. Нужно сказать, что мы еще в высокой степени некультурны, в особенности по сравнению с теми задачами, которые стоят перед нами. Мы иногда пальцем о палец не можем ударить, чтобы исправить мелочи, от которых многое зависит. Вопрос о развлечениях, клубах, радио, кино; вопрос о банях, прачечных, хлебопекарнях, школах и библиотеках; целый ряд других «житейских» «бытовых» вопросов нередко «решается» так что мы нарисуем хорошую картину общих «заданий», «планов», «установок», а приведение всех этих пожеланий «во исполнение» движется чрезвычайно медленно. Между тем еще Ленин отмечал, что наша пропаганда должна быть пропагандой *показа, примера*, делового *выполнения*, а не той «политической трескотней», которая в свое время была полезна, а теперь уже в значительной мере устарела. Есть целый ряд указаний на то, что наша работа весьма бы выиграла, если бы мы формы теперешних ревизий и бумажной отчетности заменили бы хорошим *инструктажем*. Реальная практическая помощь не разочаровывала бы ни крестьянина, ни рабочего, ни трудящегося человека вообще, тут чувствовалось бы настоящее, живое дело, а не бюрократическая волокита. Вот примерно главные задачи, которые стоят перед нами, поскольку речь идет о *массах*.

Эти задачи не могут быть, однако, решены, *если мы не подтянем наш кадровый состав*. Один крестьянин дал весьма выпуклую формулировку наших недостатков, когда сказал: «*Стремительных людей у вас, коммунистов, много, а делопроизводительных людей мало*». (Смех.) Это в значительной степени правильно. «Стремительность» заключается в том, что мы с большой быстротой что угодно «намечаем» и «планируем». Но *проверки исполнения* (а сколько раз эту задачу подчеркивал Владимир Ильич!) у нас еще нет. Между тем именно практическое *выполнение* принятых хороших решений есть наилучший способ пропаганды *примером*. Внимание к практическим вопросам хозяйства и культуры в деревне, помощь на практике даже в мельчайшем «вопросике» убедительнее, лучше, чем целые горы «политической трескотни». Вот этот вид пропаганды и этот вид работы необходимо выдвигать на первый план. Но есть также многие элементарнейшие «добродетели», которые нашему кадровому составу *практически* мало известны, очень мало еще ввелись в плоть и кровь. Весьма и весьма полезно напоминать те простые лозунги, которые Владимир Ильич ставил во главу угла для строительного периода: *знай счет деньгам, веи экономно хозяйство и т.д.* Этого в значительной мере у нас еще нет. Если бы эти необходимые свойства действительно были усвоены нашими кадрами, разве были бы

у нас такие просчеты, какие есть теперь? Их не было бы. «Будь аккуратен» — это тоже весьма и весьма элементарное правило. Но разве можно сказать, что наш кадровый состав усвоил себе это правило, что наш кадровый состав на сто процентов аккуратен? Этого сказать никак нельзя: еще до сих пор сидят в нас остатки истинно русской растяпистости. Нужно учиться еще большей быстроте ориентации, еще большей исполнительности, еще большей деловитости. Нужно воспитывать в себе *чувство массы, чувство связи* с массами, чувство постоянной и непрерывной заботы об этой массе, всюду и везде, сидишь ли ты в кабинете треста, синдиката, профсоюза, горсовета, губкома или укома. Необходимо воспитывать еще и еще. чувство *ответственности*: у нас нередко бывает, что в силу нашей организационной неразберихи совершенно неизвестно, кто и за что отвечает. Воспитание этого чувства ответственности, ответственности перед нашим классом, ответственности перед нашим государством, ответственности перед самим собой, — это тоже одна из культурных задач. В некоторых прослойках нашей партии имеются некоторые тенденции самодовольного почитания на лаврах: из голода, мол, вылезли, и слава богу! Это бюрократическое самодовольство нужно всячески громить, ибо психология самодовольства есть не большевистская, не коммунистическая психология. С ней мы далеко не уедем. Нужно со всей энергией поставить перед каждым работником, перед каждым настоящим, верным солдатом нашей партии этот вопрос. Пока мы живем — никакого успокоения, никакого душевного «жирка»!

Нам необходим, далее, подъем *специальных знаний* в нашем кадровом составе. Мы имеем тут целый ряд прорех. Например, у нас очень мало средних техников, наши новые инженеры недостаточно квалифицированы. Средних техников, средних агрономов — вот этого персонала у нас чрезвычайно мало. Очень часто наши партийные работники, которые не знакомы с целым рядом конкретных практических вопросов, требующих специальных знаний, не могут выполнять теперь и своих партийно-политических функций, ибо теперь ни крестьяне, ни рабочие не могут удовлетвориться такого рода политическим руководителем, который говорит о Чемберлене, но не понимает ничего ни в крестьянском хозяйстве, ни в агрономии, ни в технике. Члены нашей партии не только правят, но и управляют, не только намечают «линию», но и практически ее *проводят*, — они являются не только «политиками вообще», но и администраторами. Раз это так, то эти работники должны обладать с каждым годом все большими и большими *знаниями* по целому ряду вопросов. И здесь нужно, наряду с подъемом этих знаний, с возрастанием чувства ответственности перед массой, обратить особое внимание на так называемую проблему «мелочей».

Попробуем произвести такой опыт: вырезаем из отделов «рабочей жизни», из соответствующих корреспонденции с фабрики, заводов и т.д., корреспонденции, помещенных в «Экономической жизни», в «Труде», в «Гудке», в «Правде», в «Рабочей газете» и т.д., замечания относительно всяких недостатков и безобразий. Попробуйте теперь проанализировать эти различные недостатки, и вы придете к заключению, что 9/10 различных безобразий *не вытекают* из «объективных условий», а могут быть устранимы при внимательном отношении к делу. Если среди рабочей массы есть значительные остатки несознательного отношения к государственным интересам, то, с другой, стороны, мы имеем дело с некультурностью наших управляющих кадров, в том числе партийцев. Если у рабочего, который работает непосредственно на производстве, бывает иногда психология халатности, то у кадровиков частенько встречается желание «как-нибудь обойтись» («живали и хуже, как-нибудь проживем и теперь», «не так уж все плохо» и т.д.). Это *гнилая* психология. Каждый руководитель — и в первую голову *коммунист* — должен быть примером *пионера культуры*, самым внимательным образом вылавливающего все недостатки и решительным образом их ис-

правляющего. Ни одна мелочь не должна считаться мелочью, которая лежит вне сферы нашего влияния. Таких «мелочей» не должно быть. Из этих мелочей составляется «быт». Эти мелочи могут стать даже политическим фактором. Сонливое, обломовское отношение к этим «мелким» недостаткам есть *чума*, которую мы должны раздавить и уничтожить. Мы должны изо всех сил нажать на всех наших работников — профсоюзных, советских, партийных, которые имеют непосредственную связь с массами. Тот не коммунист, кто относится к этим вопросам «спустя рукава». Эта халатность, это невнимание к непосредственным нуждам масс, легко перерастает в гнусный бюрократизм, в самодовольство чиновника. Это есть варварство, которое мы должны уничтожить всеми средствами. Нужно сказать всем нашим работникам, что нельзя воспитывать массу, нельзя требовать от массы, чтобы она поднималась на все более и более высокую ступеньку трудовой культуры, если ты сам подаешь пример бюрократической самовлюбленности и самодовольства. Необходимо прислушиваться к каждому критическому замечанию со стороны массы, а не объявлять всякую критику антисоветским выступлением, как иногда делают злостные дураки или бюрократические самодуры.

Что касается еще более «высоких» *руководящих кадров*, то здесь нужно выдвинуть примерно такие вопросы: большее знакомство с опытом Запада и Америки, большее продумывание наших крупных хозяйственных и всяких иных планов и маневров, разработка целого ряда научных вопросов по специальным линиям, периодические объезды СССР. Мы говорили неоднократно, что задачей коммунистов является *революционность и деловитость*, революционность и американизм. Но что такое революционность? Революционность — это есть соподчинение каждого шага основной революционной идее, в наших условиях идее международной революции, с одной стороны, строительства социализма — с другой. Революционность предполагает не только такую умственную, интеллектуальную установку. Революционность предполагает и определенную *настроенность*, революционную страсть, революционный оптимизм. Революционность предполагает определенную веру в свое дело, революционность предполагает отрицание нытья, пессимизма, уныния и всякого гнилья. Это гнилье *в корне* противоречит всякой по-настоящему революционной установке. Класс восходящий не может сочувствовать или быть связанным так или иначе с гнилой и упадочнической психологией. Наш оптимизм нельзя, конечно, смешивать с *глупым* оптимизмом, который утверждает, что все на свете есть благо: у Вольтера был такой герой, Панглосс, который и в случае землетрясения, и в случае весьма неприятной болезни утверждал, что «все к лучшему в этом лучшем из миров». Мы не можем стать и на точку зрения какого-нибудь блаженного Августина, который утверждал, что господь бог создал «зло» только для того, чтобы лучше оттенять «добро». Мы — не Панглоссы и не блаженные Августины. Но мы должны решительно бороться со всякими проявлениями перерождения, упадка, разложения, проявляются ли они в литературе (есенинщина), в политике, в быту — где угодно. Естественно, что класс восходящий только тогда может выполнять стоящие перед ним задачи, творить свое великое дело, когда он полон веры в свои собственные силы и в то дело, которое он делает. Бывали в истории нашей революции очень тяжелые времена. Но наша партия потому и вышла победоносно из этих тяжелых времен, что она была неслышимой партией и никогда, ни при каких условиях не теряла веры в свое великое дело. В этом отношении ее вождь, Владимир Ильич, был образцом нового человека-борца. У одного из величайших поэтов, у бельгийского поэта Верхарна, есть замечательное стихотворение, которое называется «Трибун», где почти каждое слово может быть отнесено к Владимиру Ильичу, этому железному вождю пролетарских масс:

Что смерть ему? Свое предназначенье
Он выполнил — земное свершено...

.....

И, покидая жизненную сцену,
Он знает: кто-нибудь придет ему на смену.
Он юных духом вел с собой
Завесу поднимать над будущим счастливым.
Не он смутился временным отливом,
Всегда сменяющим стремительный прибой.
Его душа жила в грядущем так далеко,
Как только мог проникнуть взор
В его неведомый простор.
Не всем дано вместить крылатый жест пророка;
И все же мысль его оделась в кровь и плоть;
Он жизнь сумел согнуть и побороть.
Он выпрямил ее, в порыве к формам новым,
Открытым в первый раз умом его суровым.

Владимир Ильич «умом своим суровым» открыл «новые формы» нашего общественного бытия. Это закреплено в лозунге, ставшем лозунгом всемирной революции: *власть Советам!* Владимир Ильич поднял перед всеми нами завесу нашего будущего, и Владимир Ильич показал в то же время образец человека, который, не смотря ни на какие препятствия, ни на какую, даже самую тяжелую, обстановку, не опускал революционного знамени и, как вылитый из стали, шел к своей цели. Мы ясно видим, какие громадные всемирно-исторические перспективы раскрываются перед нами. Земля дрожит уже отдаленными гулами великих революций, которые превзойдут по своему размаху даже то, что мы пережили и почувствовали. Гигантские массы приходят в движение, все больше и больше в нашей стране распахиваются ворота к дальнейшему великому творчеству. Когда мы читаем глупые строки, продиктованные страхом перед «дикими гуннами», когда «цивилизованные» мясники международной буржуазии обвиняют нас, строителей новой жизни, в «варварстве», мы можем с полной совестью сказать: мы создаем и мы *создадим* такую цивилизацию, перед которой капиталистическая цивилизация будет выглядеть так же, как выглядит «собачий вальс» перед героическими симфониями Бетховена. (*Бурные, продолжительные аплодисменты*).

*Печатается по книге: Бухарин Н. Ленинизм
и проблема культурной революции:
Речь на траурном заседании памяти В. И. Ленина.
М.; Л.: Госиздат, 1928*

О НАС ПИШУТ

НА УРОВНЕ ИДЕЙ ЭПОХИ

Так получилось, что великий русский писатель и критик Добролюбов дал четкую формулировку относительно общественного значения литературы. И, становясь на рельсы осознанного восприятия всего окружающего, никто и не собирался опровергать утверждение критика, что «не жизнь идет по литературным нормам, а литература применяется сообразно направлениям жизни». То есть, по Добролюбову, литература должна служить обществу и давать народу ответы на самые острые вопросы современности.

Все было предельно ясно — отсюда и до горизонта, за которым кому-то вдруг тюкнуло в голову поменять привычные рельсы на коммерческие. И тут пошло-поехало, все вкривь да вкось! Писать стал всяк, кому не лень. Кто не разучился держать (хотелось бы сказать — перо в руках, но и это слово сейчас ушло в дебри жаргона) ручку. А точнее, не позабыл родного алфавита и с первого раза находит «Ф» и «Э» на клавиатуре. С чьей-то легкой подачи началась повальная «пиаризация» всей страны. При этом великий и могучий русский язык ломается и коверкается просто до неприличия, и это самое неприличие вынужденно впитывает в себя, и всякий мусор уже не фильтрует, а переваривает с любым соусом и терпит. Терпит, родной!

А тех, кому не лень,— да им пока конца-края не видно. И представляет сейчас собой наша бунинско-толстовская литература, перефразируя избитые слова, состав и маленькую тележку. Состав составом, он обязательно найдет свой тупик. Речь пойдет о другом. И не хочу, чтобы меня обвинили в пафосности, но не так давно, пару лет назад, на станции «Тула» появилось в той самой «маленькой тележке» одно замечательное издание, полностью соответствующее добролюбовским критериям.

Благодаря стараниям Тульской организации Союза писателей России и Тульского государственного университета творческая интеллигенция и просто ценители образного слова получили подарок — межрегиональный литературно-художественный и публицистический журнал «Приокские зори».

Держу в руках первый номер издания за этот год, и сознание переполняется лишь одной мыслью: солидно! И содержание, как говорится, соответствует форме.

Как верно заметил писатель Игорь Арясов, настоящая литература не может существовать как всякое подлинное проявление человеческого гения без обращения к теме детства. Вы не найдете в номере новомодного «человека-паука» или тупых, безнравственных диалогов «смешариков». Зато есть местечко для замечательной альтернативы: деревенских приключений мальчика Алеши, вышедших из-под пера Николая Макарова, и ненавязчивой философской вуали рассказов Сергея Ефанова.

И не пытайтесь здесь обнаружить гламурненькую Оксану Робски — беспринципные тошнотки собрались в отдельном вагоне. Зато вся палитра богатого духовного человеческого мира вылита на страницы Валентиной Российской и Ириной Пархоменко.

Помните: «где родился, там и пригодился»? И неважен размер вашего населенного пункта — гораздо важнее настоящая безвозмездная любовь к своей малой родине! Именно этим чувством пронизан историко-литературный обзор города Алексина от Людмилы Гайдуковой.

Но не «прозой единой» дышит издание. Излагать свои мысли правильно и красиво — хорошо, а когда ты вдобавок владеешь мастерством поэтического слога!.. Ведь именно стихи способны проникать глубоко в подсознание, в само сердце и оставаться там надолго. По-прежнему «ласковы майским ветром» стихи юбиляра (присоединяюсь с всем уже поступившим поздравлениям!) — ответственного секретаря Тульской писательской организации Союза писателей России Виктора Пахомова. Впрочем, стоит ли пересказывать содержание?..

Уверен, кто знает — найдет, кто познакомится — не разочаруется. Это не дежурный комплимент журналу. «Приокские зори» — та необходимая крупца, то зерно литературной нивы, которое обладает волшебной силой первозданного СЛОВА и поможет вернуться к истокам. Ведь мы всегда возвращаемся к ним...

С. Морозов

От редакции: Настоящая заметка перепечатана из газеты «Ярило (Культура — История — Промыслы)», № 8 (25), 2007.— С. 5. Газета на восьми полосах, в цвете издается Тульской палатой художественных промыслов (Главный редактор Елена Терновенко). Настоящей публикацией газета открывает рубрику «Тула литературная».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И АВТОРОВ ЖУРНАЛА

Уважаемые читатели и авторы!

В редакцию поступают обращения с просьбой разъяснить сложившуюся практику распространения журнала «Приокские зори», где его можно приобрести, почитать и пр. Имеют свои вопросы и авторы публикаций в журнале. Несомненно, нас радует о ободряет все нарастающее внимание читающей публики. Постараемся ответить на основные вопросы.

Как значится на второй странице журнала, «Приокские зори» распространяются преимущественно в библиотечной сети. На сегодняшний день журнал регулярно поступает в Тульскую областную универсальную научную библиотеку (абонемент и читальный зал периодики), Детскую областную библиотеку, библиотеки Тульского госуниверситета (абонемент художественной литературы и читальный зал), Тульского госпедуниверситета им. Л. Н. Толстого, Тульского артиллерийского инженерного института, Дома учителя, гарнизонного Дома офицеров, Культпросветчища (ныне — колледж), Лицея на Пушкинской, Областного об-ва «Мемориал», всех музеев Тулы и Тульской области, в редакциях общегородских газет «Тула» и «Новотульский металлург», в ИПО «Лев Толстой» и в редакциях альманахов «НЛЮ» (г. Новомосковск) и «Прикосновение» (Тула).

По системе городского библиотечного коллектора журнал регулярно доставляется во все городские библиотеки:

— Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого — абонемент и краеведческий отдел (ул. Болдина, 149/10);

— Библиотека № 1 (ул. Новомосковская, 9);

— Библиотека № 3 (ул. Октябрьская, 201);

— Библиотека № 4 (ул. Металлургов, 34);

— Библиотека № 5 (ул. Металлургов, 2«а»);

— Библиотека № 8 (Косая Гора, ул. Гагарина, 7);

— Библиотека № 18 (Скуратовский мкр-н, 1);

— Библиотека № 20 (ул. М. Горького, 20);

— Центральная городская детская библиотека (Красноармейский пр., 36).

По системе областного библиотечного коллектора (ТОУНБ) журнал регулярно поступает во все районные библиотеки Тульской области: Алексинскую, Арсеньевскую, Белевскую, Богородицкую, Веневскую, Воловскую, Дубенскую, Донскую, Ефремовскую, Заокскую, Каменскую, Кимовскую, Киреевскую, Куркинскую, Ленинскую, Новомосковскую, Одоевскую, Плавскую, Суворовскую, Тепло-Огаревскую, Узловскую, Чернскую, Щекинскую, Ясногорскую и в Новогуровскую поселковую библиотеку.

Как видно, любой житель города и области может ознакомиться с содержанием выходящих и прошлых номеров журнала в наиболее удобном для него «территориальном» варианте.

С начала этого года аудитория читателей потенциально многократно возросла, поскольку «Приокские зори» в полном объеме публикуются в электронной форме на сайте www.medsu.tula.ru интернета. То есть журнал стал доступен всем жителям России и знающим русский язык за рубежом.

Журнал имеет и приоритетную рассылку. Его получают лидеры ведущих фракций Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководители Тульской областной Думы, редакции ведущих литературно-публицистических газет России: «Литературной газеты» и «Завтра». Доставляется журнал и в Правление Союза писателей России. В рамках обмена содержимым «редакционных портфелей» «Приокские зори» получают Независимое литературное агентство «Московский Парнас», выпускающее одноименный альманах с ежемесячной периодичностью, и редакция старейшего литературно-художественного журнала «Подъем» (Воронеж).

Определенное число экземпляров (до двадцати) предназначается для организаций-учредителей журнала: Тульской писательской организации Союза писателей России и Тульского госуниверситета. Не остаются без внимания и члены редколлегии.

Библиотечная, а теперь и по сети интернет, форма распространения журнала полагается нами оптимальной для настоящего (начального) периода становления журнала, имея в виду относительно малый тираж его, хотя за прошедший год он увеличился втрое: от 100 до 500 экз.

В планах редколлегии на следующий год значится доведение тиража до 1000 экз., его регистрация в «Росхранкультуре», присвоение международного классификационного номера ISSN и включение в подписной каталог «Роспечати». Усилия к этому прилагаются серьезные, а итог просматривается вполне оптимистичным.

И еще одно обращение к руководителям библиотек школ и культпросветучреждений: если вы хотите регулярно получать (безвозмездно) наш журнал — сообщите об этом письменно главному редактору (адрес на второй странице журнала) с указанием своего телефона и/или e-mail. Начиная с предыдущего номера журнал уже доставляется в десять школ.

Редколлегия журнала

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Встретил свой 60-летний юбилей член редколлегии «Приокских зорь» Олег Владимирович Кочетков — один из ведущих русских поэтов современности, автор многих поэтических книг, изданных за последние 20 лет, член Союза писателей с 1980 года, лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция» Союза писателей России и Есенинской — Московской городской организации СП России. Почти десять лет Олег Кочетков являлся ответственным секретарем Творческого объединения поэтов этой организации. Мы тебя поздравляем, Олег. От души. Символично название его новой книги «Последний народ»... Да, пожалуй, мы последний народ на земле, еще не до конца ставший муравейником или разменной монетой в пучине надвигающегося глобализма.

*«Встану рано сегодня
И вокруг оглянусь:
Боже, это ведь — Родина!
Ах ты, мать моя — Русь!*

Беспросветная грусть...!»

* * *

Поздравляем члена редколлегии журнала Александра Азубечировича Хадарцева с опубликованием новой книги «Аромат прошлого. Стихи и проза» (Тула: «Инфра», 2007) и желаем дальнейших творческих успехов.

* * *

Редколлегия журнала поздравляет известных тульских поэтов, членов Союза писателей России, действующих и потенциальных авторов «Приокских зорь» с юбилеями:

Михаила Артемьевича Абрамова — с 80-летием;

Николая Ильича Боева — с 70-летием;

Валерия Георгиевича Ходулина — с 70-летием.

Дорогие друзья и коллеги! Пусть Ваша поэтическая муза и дальше радует и трогает сердца читателей. Здоровья вам, новых книг, новых свершений!

* * *

Библиотека журнала «Приокские зори» открыла свой счет!

Редколлегия журнала поздравляет дебютантов Библиотеки с изданием книг:

Дронов Н. Н. Ребята, давайте жить дружно! Сатира и юмор.— Тула: Гриф и К., 2007.— 56 с.

Залесский Е. С. Право слово. Книга стихотворений.— Тула, 2007.— 215 с. (В пер.).

Желаем нашему постоянному автору Николаю Наумовичу Дронову и поэту Евгению Сергеевичу Залесскому дальнейших успехов в творчестве, а также в пополнении Библиотеки своими новыми книгами.

В соответствии с положением о Библиотеке журнала «Приокские зори» (см. «ПЗ», № 1, 2007; рубрика «О нас пишут. Вниманию авторов журнала») в последующих номерах журнала будут опубликованы развернутые отзывы о вышедших книгах и отрывки из них. А от редакции Н. Н. Дронову и Е. С. Залесскому маленький презент: бесплатная годовая подписка на «Приокские зори» на 2008-й год.

Надеемся, продолжение Библиотеки не заставит себя долго ждать.